

Текст взят с психологического сайта <http://psylib.myword.ru>

*На данный момент в библиотеке MyWord.ru опубликовано более 2500 книг по психологии.*

*Библиотека постоянно пополняется. Учитесь учиться.*

*Удачи! Да и пребудет с Вами.... :)*

Сайт psylib.MyWord.ru является помещением библиотеки и, на основании Федерального закона Российской Федерации "Об авторском и смежных правах" (в ред. Федеральных законов от 19.07.1995 N 110-ФЗ, от 20.07.2004 N 72-ФЗ), копирование, сохранение на жестком диске или иной способ сохранения произведений размещенных в данной библиотеке, в архивированном виде, категорически запрещен.

Данный файл взят из открытых источников. Вы обязаны были получить разрешение на скачивание данного файла у правообладателей данного файла или их представителей. И, если вы не сделали этого, Вы несете всю ответственность, согласно действующему законодательству РФ. Администрация сайта не несет никакой ответственности за Ваши действия.

88.54  
Б43

Арон Белкин



**ВОЖДИ** или  
**ПРИЗРАКИ**

**ARON BELKIN**

# **LEADERS OR GHOSTS**

Moscow  
OLYMP  
2001

**АРОН БЕЛКИН**

**ВОЖДИ  
ИЛИ  
ПРИЗРАКИ**

Москва  
ОЛИМП  
2001

## **Belkin A. I.**

- Б43**      **Leaders or Ghosts / Translation from Russian by Ratnikova E.; Illustrations by N. Varicheva. — Moscow, «Olympus Publishers», 2001**

ISBN 5-8195-0601-4 («Olympus Publishers»)

«Leaders or Ghosts» by Aron Belkin is a science-journalistic book and another attempt of the author to analyse the events of our recent past. Psychological and psychoanalytical portraits of political leaders (from Lenin to Putin), their victories and blunders described by Professor Belkin show the invisible ties that bind the destinies of leaders and citizens of society as whole.

The book is addressed to the general public.

© *Belkin A. I., 2001*

© *«Olympus Publishers», 2001*

## **Белкин А. И.**

- Б43**      **Вожди или призраки / Художник Н. Варичева. — М.: «Издательство «Олимп», 2000. — 288 с.**

ISBN 5-8195-0601-4 («Издательство «Олимп»)

Глубокое понимание человеческой души, и знание психоанализа позволяют профессору Белкину успешно работать в трудном жанре научной публицистики. В новой книге «Вожди или призраки» под необычным углом зрения автор рассматривает события давнего и недавнего прошлого. Представляет психологические портреты российских вождей (от Ленина до Путина), исследует их политические взлеты и падения, показывая те невидимые нити, которые объединяют лидеров и народ.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

© *А. И. Белкин, 2001*

© *Оформление.*

© *«Издательство «Олимп», 2001*

## И ВОЖДИ, И ПРИЗРАКИ

Известный психиатр, доктор медицинских наук, профессор, президент Русского психоаналитического общества Арон Белкин написал еще одну интересную книгу.

Тема, как он сам ее определил, «виртуальная реальность политики». Ежели попроще — структура личности выдающихся политиков (тех, которые вожди или призраки), мотивы их поведения, принятия ими решений, их имиджи (образы, по-русски) и их рейтинги. А если совсем просто — «старюсь понять людей», признается автор. Судя по содержанию, он старался не зря. Так что теперь дело за читателем: понять то, что стало понятно автору.

Для описания политической личности использован практически полный набор психоаналитических понятий: бессознательное, либидо, Эдипов комплекс, Эрос, Танатос. На выходе — психоаналитические портреты, созданные как результат заочных сеансов психоанализа.

Самые интересные страницы книги о В. В. Жириновском и В. В. Путине. Эти два «В. В.» как бы закольцовывают череду прочих лидеров. Сначала психоаналитик работает со Сталиным и Хрущевым, затем в качестве как бы промежуточного звена появляется Брежнев, его сменяет пара Горбачев — Ельцин.

Уверен, что каждому, чей интерес к политике выходит за пределы «кремлевских интриг», будет полезно познакомиться с зарисовками Белкина. Особенно полезно это было бы сделать политикам. Правда, нынешняя генерация политиков предпочитает читать книжки другого плана, но вдруг... И, конечно, Путин Владимир Владимирович, наш президент. Он должен быть главным читателем, читателем номер один. Поскольку я видел Владимира Владимировича крестящимся в храме, скажу так: «Сам Бог велел ему прочитать эту книгу». Чтобы попытаться самому себе ответить на поистине гамлетовский вопрос: вождь или призрак?

Несколько замечаний в связи с портретами.

Жириновский, «человек-загадка», подан густо, красочно, со смыслом. Цитирую: «Жириновский первым показал нам, что такое публичная политика — все ее преимущества и опасности, чудодейственные возможности и фантастические ресурсы». И еще: Жириновский «на целую эпоху вперед продвинул политическую технологию», благодаря Жириновскому «произошел серьезный прорыв в общественных науках» (я присутст-

вовал на защите Жириновским докторской диссертации и могу подтвердить: «прорыв» действительно был). «Загадка» Жириновского становится еще загадочнее, если учесть, как сообщает Белкин, что и по делам своим, и по идеям Жириновский «оказался бесплоден» и что «его пребывание где-то в самых высоких сферах российской политики не оставило ни малейшего следа». А где же разгадка? Наверное, она не в самом Жириновском, а вне его, в состоянии российского общества.

В портрете Сталина чувствуется психоаналитический перекося: пропорции между сознательным и бессознательным смещены в пользу последнего. Сталин явно недополучил по части интеллекта и эрудиции.

Портрет Хрущева затемнен обилием малосущественных деталей. Возможно, было бы интересно исследовать устойчивый комплекс сверх-полноценности, сыгравший злую шутку с Хрущевым.

Брежнев. «Глупость», «серость», «заурядность» — таковы основные тона психоаналитического портрета. Настоящий Брежнев — не призрак, не фантом — был другим. Брежневу можно предъявить много претензий. Он не был интеллигентным человеком. Он не углублялся в Маркса. Он любил получать ордена. На его совести Чехословакия и Афганистан. Но надо было иметь мудрость и мужество, чтобы, преодолевая сопротивление значительной части партийной и военной верхушки, отказаться от создания полномасштабной противоракетной обороны и начать ограничение стратегических наступательных вооружений. Чтобы подписать Хельсинкский акт, согласно которому права человека перестали быть только «внутренним делом» Советского Союза. Чтобы сделать первый шаг на долгом пути нормализации советско-китайских отношений.

Пара Горбачев — Ельцин исполнена добротно, с переливами оттенков и полутонов, с умелым педалированием в нужных местах. Горбачев, читаем мы, «стал первым лидером, которому мы впервые осмелились открыто говорить «нет». А потом был Ельцин, и были «Куклы». И было скрипение зубами по их поводу. Но наследие Горбачева еще не было растрачено, и бунт эмоций был подавлен.

Судя по Белкину, Ельцин — человек-отгадка. Он как большевик: чтобы преодолеть трудности, создает их. И не просто трудности, а трудности безнадежные. Чтобы в преодолении их «испытать пьянящее чувство полной самореализации», получить импульс для «запредельной мобилизации внутренних ресурсов». Он понятен людям (не в смысле Зюганова). Они ощущают родство душ.

И наконец, Путин. Вернее, феномен Путина.

Каким путем Ельцин наткнулся на Путина, выделил его? Сам Ельцин пишет, что, наблюдая Путина вблизи, он угадал в нем задатки великого политика. Другая версия: Ельцин нашел человека, который гарантировал безопасность президентской семьи. Или еще: все решило за Ельцина «окружение», он лишь «озвучил» принятое не им решение.

Историк, рассуждает Белкин, был бы обязан выяснить, что же было на самом деле. А психоаналитик занимается другим. Он исследует виртуальную реальность, вмещающую в себя все варианты и версии. Неважно, какая версия, какой вариант соответствуют действительности. Важно понять, на какой почве они возникли, почему их отстаивают те или иные группы людей.

Разумеется, это важно. Но вопрос — что же было на самом деле? — остается. Остается и для психоаналитика. И автор конечно же лукавит, когда говорит, что ему неважно, безразлично, какая из версий соответ-

ствуется уже не виртуальной реальности. Кстати, на протяжении всей книги автор вполне профессионально играет роль историка.

Но вернемся к Путину. Используя фрейдовский инструментарий, Белкин пытается раскрыть тайну характера Путина, выяснить систему его симпатий и антипатий. И что же получается? «Обманчивая ясность» — вот визитная карточка президента. Он вроде бы прозрачен. Но начинаешь вглядываться, и прозрачность исчезает, мутнеет. Из этого следует, что пока даже самому Белкину неясно, каков наш президент. Во всяком случае, радуется нас автор, с Путиным скучно не будет. А разве нам когда-нибудь было скучно?

Успокаивает вечный и уместно упомянутый Щедрин: «От него крокодилнее ожидали, а он чижику съел».

Белкин — ученый. И он преподносит нам не эстрадный психоанализ, а научное исследование. Нечто объективное. Но поскольку он все-таки ученый, он сам предупреждает нас: моя объективность не свободна от «виртуальных деформаций», иначе говоря, окрашена в субъективные цвета. Вполне могут быть другие оттенки, другие подходы, другое «понимание личностей». И другие заблуждения. Я мог бы привести не одно место из книги, которые вызывают у меня сомнение или прямое несогласие. Но не делаю этого, не вдаюсь в детали, не хочется ограничивать самостоятельность читателя, лишая его удовольствия быть первооткрывателем.

*Александр Бовин,  
академик РАН*



## В ЦАРСТВЕ СНОВ И ТЕНЕЙ

*(Вместо предисловия)*

Окна моего рабочего кабинета выходят на Старый Арбат — удивительную улицу, которая сама себя назначила центром современного нонконформизма и вольнодумства. На всем лежит явственный отпечаток иронии — от добродушной насмешки до ядовитого гротеска.

По-своему отметил Старый Арбат и начало нового царствования. На лотках торговцев сувенирами изменился ассортимент. Главная арбатская достопримечательность — расписные деревянные куклы-матрешки с лицами руководителей государства. Мы уже успели привыкнуть к тому, что во главе шеренги стоит Борис Ельцин. Теперь он стал вторым, а на его место поставлен Владимир Путин. И заняла эта метаморфоза, по моим наблюдениям, не больше времени, чем потребовалось на замену портретов в высоких кабинетах госучреждений.

Матрешки подбираются в комплект по строгому хронологическому принципу. За Ельциным следует Горбачев, за Горбачевым — Брежнев, дальше, в порядке убывания, — Хрущев, Сталин и Ленин. Есть, правда, и другая разновидность этой же игрушки. Там все матрешки «сидят» внутри Карла Маркса, в том порядке, как они сменяли друг друга в реальной истории: Ленин, Сталин, Хрущев и т. д. В этом наборе тоже теперь присутствует Путин — замыкающим. Но вариант этот есть у небольшого числа торговцев. Видимо, он менее популярен.

Кстати, о популярности. Она заметно убывает со временем, но не исчезает. Покупательский спрос, говорят продавцы, неве-

лик, но достаточно устойчив. Не странно ли, что эти грубоватые поделки вызывают такой интерес? Практической пользы от них — ноль. Художественной ценности они не имеют. Несколько лет назад, когда их впервые стали выставлять на продажу, дух захватывало у людей от такой невиданной смелости: никто ведь и представить себе не мог, что высшая власть может стать объектом зубоскальства! Но теперь этот эффект — дерзости, неожиданности, новизны — несомненно, утрачен. И все же матрешки продолжают останавливать на себе взгляд.

В каждой шутке, говорят, есть доля правды. Смех вызывает именно это: зерно серьезного смысла в оболочке бессмыслицы. А в незатейливой деревянной игрушке таких зерен множество.

\* \* \*

Обычный человек воспринимает власть как нечто огромное, стоящее высоко над ним, требующее уважения и послушания. Она не занимается каждым из нас в отдельности, даже не различает наших лиц, хотя отлично понимает, что от нее напрямую зависит, как мы будем жить, как сложатся наши судьбы.

Власть давит. Если не буквально, то психологически. Сейчас она в нашу сторону не смотрит, но уже в следующую минуту может напрячь свой железный мускул. Мы не забываем об этом никогда. А психика требует хотя бы короткой передышки.

Дети, устав от постоянного диктата взрослых, затевают игру, в которой меняются местами с родителями и учителями. Теперь они имеют право командовать, а взрослые обязаны им подчиняться. Это очень эффективный прием психологической самозащиты, и мы продолжаем им пользоваться и тогда, когда детство остается далеко позади.

У этой игры есть множество разновидностей. Первое, что приходит в голову, — это анекдоты. Немалое душевное облегчение доставляют и художественно исполненные шаржи, пародии, карикатуры.

Порой власть чувствует себя задетой этими шутками, но она не права. Мы ее этим не унижаем — наоборот, подчеркиваем ее значительность, ее всеисилие. Ведь точно таким же способом мы защищаемся и от вечного давления судьбы.

В играх мы низводим власть даже не до своего, простых смертных, а до еще более низкого, совсем уже мизерабельного уровня, позволяем себе смотреть на нее сверху вниз, переходим с ней на «ты». Мы словно бы меняемся с ней местами — а мат-

решки особо хороши тем, что позволяют проделать это буквально. В противном случае не было бы никакого смысла выставлять эту безделушку на продажу.

Ельцина часто изображают с упавшим на лоб чубом — таким, как он запомнился на поворотном этапе своей судьбы. Он весь напряжен, нацелен на бунт, на сопротивление. Умрет, но не сдастся! Горбачев — совсем другой. В его облике проступает что-то елейное, благостное, умиротворенное. Таким он нередко становился на трибуне, когда его захватывал поток собственных речей. Эти две куклы стилистически тяготеют одна к другой. Они явно рассчитаны на то, чтобы их и рассматривали в паре: прямой намек на великое противостояние советского и российского лидеров, оказавшееся фатальным для страны. А одновременно дается и ненавязчивый комментарий — кто и почему вышел из борьбы победителем.

И к Ельцину, и к Горбачеву отношение скорее примирительное. Над ними посмеиваются, но без особого сарказма. Но затем тональность меняется. В портрете Брежнева две краски: спесь и глупость, и они замечательно оттеняют одна другую. Сталин же, если в него всмотреться, вообще смешан с пищей для воробьев. Грозный тиран, перед которым трепетали миллионы, напоминает пушкинского Черномора, лишенного бороды, а вместе с нею и всего своего всемогущества. Что это, издевка над нашим прошлым? Нет, скорее — искреннее недоумение: как мог этот кошмар воцариться, и как мы могли в нем жить? Тот самый вопрос, который не устают задавать мне мои внуки.

А теперь об одной загадке, которую я еще не сумел разгадать. Она касается образа нынешнего президента, точнее — отсутствия этого образа. Путин, и только он один, изображен абсолютно бесстрастно, словно бы один робот со всей компьютерной добросовестностью нарисовал портрет другого робота. Это выглядит настолько нарочитым, что невольно наводит на мысль о каком-то особом художественном приеме. Расшифровать его можно по-разному. Например, как признание: мы еще не разобрались, что это за президент, не определили для себя, как к нему следует относиться. А возможно, и как предупреждение: шутки в сторону, ребята, Путин — это вам не Ельцин!

Матрешки изготавливаются в комплекте. Каждая из них ценна не только сама по себе, но и как часть единого целого. И это целое тоже вызывает интересные ассоциации.

Если выстроить фигурки в ряд, по росту, у нас получится точная модель того этапа российской истории, который берет начало в 1917 году и по сей день не может считаться окончательно завершенным. Как всякий значительный временной массив, прошедший под одним общим знаком, он должен делиться изнутри на части, на периоды, имеющие начало и конец. По каким же признакам делается эта разбивка, что мы считаем главной приметой каждого отрезка? Эту роль чаще всего выполняет имя лидера страны. И означает это нечто значительно большее, чем простая хронологическая справка.

Имя носителя верховной власти вбирает в себя все, чем было это время наполнено, — все события, все достижения, все несчастья. Такую персонификацию исторического процесса нередко объявляют специфической особенностью России. Это, мол, наша национальная черта — всякое новое правление начинается с прямого отрицания предыдущего, с суровой критики его ошибок.

Характер власти — понятие двуединое. В него входит не только ее собственное самоощущение. Не менее важная составляющая — взгляд на власть снизу. Чего от нее ожидают люди, что считают для нее нормальным. Считается, что за последние годы этот взгляд сильно изменился. Народ больше не безмолвствует, он бурно выражает свое недовольство властью, протестует против ее самодержавных замашек. Но это вовсе не означает, что вековечное российское смирение полностью изжито.

Вспомним, в какой тональности обсуждалась тема возможного — а многие полагали, что прямо-таки неизбежного, — крутого ужесточения порядков при новом президенте. В этих разговорах сквозит глубочайшая тревога — а вместе тем обреченность. Не мы что будем делать, а с нами что будут делать, вот над чем упорно работает мысль.

Соединенные Штаты Америки, осень 2000 года, ночь после президентских выборов. Захлебывающийся под натиском многомиллионных посещений Интернет. Площади, запруженные многотысячными толпами. Как это понять? Я немало времени провел в этой стране и множество раз убеждался, что американцы к своему лидеру относятся с уважением, но без излишнего пиекета. Говорят о нем обычно не как о живом олицетворении нации, а скорее как о служащем наивысшего ранга, которого общество нанимает на строго определенный срок, для выполне-

ния четко очерченного круга обязанностей, по столь же четко обозначенным правилам. Не мы для власти, а она для нас — вот монолитная основа мироощущения американцев, и подкрепляется она тем, что на этой земле никогда не было иного политического устройства, кроме демократического, а значит, не было и проблемы изживания атакизмов в массовом сознании.

Может быть, все дело в том, что на этот раз на выборы вышли какие-то особенно популярные политики, вскружившие избирателям голову? Да нет же, все как раз наоборот. В опросах, прояснявших мотивы предпочтений, неприлично большая часть ответов звучала примерно так: «Я собираюсь проголосовать за Гора (или за Буша), потому что его конкурент нравится мне еще меньше».

Выборы — это турнир, участники которого используют любую возможность, чтобы продемонстрировать свои достоинства и недостатки противной стороны. Поэтому все различия между программами всячески раздуваются и муссируются. На деле же все прекрасно понимают, что кто бы ни стал новым хозяином Белого дома — никто не ждет от него особых чудес и никто при мысли о нем не замирает от страха.

Но настает час, и все эти трезвые соображения куда-то отлетают. Пусть на короткое время, но исход выборов в самом деле превращается в вопрос жизни! Финал на этот раз оказался смазанным. Подсчет голосов зашел в тупик. Имя нового президента осталось неназванным. Это вызвало страшное разочарование, которое тоже трудно объяснить со строго рациональных позиций. За страну — что она останется вообще без президента — никто, конечно, не волновался. Испорченным оказался только праздник, традиционный ритуал, к которому уже приготовились, уже включились в его атмосферу. Детское, по сути дела, огорчение. Но ответом стал тяжелейший эмоциональный шок.

Что потом? Новый глава государства в конце концов присягнет на верность народу. Не наоборот, заметьте: что касается общества, то оно не свяжет себя с президентом никакими клятвами. Оно оставит за собой полную свободу судить лидера нации по делам его, а за отдельными гражданами — такую же свободу расходиться в оценках и мнениях с другими, не видя в этом ничего опасного или предосудительного.

И в самом деле, нормальное общество никогда не будет единым в своих реакциях на происходящее, в том числе и на работу президента. Следовательно, и отношение народа к своему президенту никогда не будет однозначным. У него всегда будут и сто-

ронники, и противники, причем ни численность, ни состав этих категорий граждан на весь президентский срок не закрепятся.

Время от времени состояние, пережитое в ночь после голосования, будет возвращаться. Поводом может стать все, что угодно, — и нависшая над обществом опасность, и какое-то радостное событие, и какой-то неожиданный, очень удачный ход администрации, и даже просто широковещательное заявление президента о своих намерениях, если они внушают людям большие надежды. Вновь сердца забьются в унисон, их затопит волна горячей любви к этому человеку, лидеру страны, появится потребность оказаться рядом с ним, пожать ему руку, выразить в словах и криках свое восхищение, свою преданность...

Это самые настоящие, неподдельные, искренние чувства. Но где, интересно, они прячутся в обычные дни, когда эти же самые люди ругают последними словами этого же самого президента, а могут и на демонстрацию выйти перед Белым домом, чтобы он своими глазами увидел, как они им недовольны?

\* \* \*

Я специально привел этот пример, чтобы показать: сознавая свою необычность своей истории и своей ментальностью<sup>TM</sup>, мы не должны все же чересчур увлекаться переживанием собственной исключительности. Все люди устроены одинаково, только эту свою общую природу они проявляют по-разному. У одних народов существует, например, культ детей, другие относятся к детям более прохладно и рационально, но в целом любить детей и заботиться о них — свойство общечеловеческое.

Такие же универсальные закономерности действуют и в отношениях между супругами или между поколениями одной семьи. В этой точке земного шара разводы случаются реже, в той — чаще. Тут крепче родственная привязанность, чувство долга перед семьей, там оно слабее. Но это всегда — разные варианты одного и того же явления: неразрывности кровных уз, признания приоритетной важности связей, обусловленных происхождением.

Это очень древние чувства, они сопутствуют роду *homo sapiens* с тех самых пор, как началось его выделение из животного царства. Цивилизация их видоизменяет, придает им различную форму, но если хорошенько покопаться в человеческой душе, можно рано или поздно достичь того уровня, где, что называется, нет ни эллина, ни иудея. В повседневной жизни люди даже не подозревают, что в их душе могут звучать эти струны. Доступ туда

закрыт. Но в стрессовой ситуации, в состоянии сильного волнения завесы иногда приподнимаются, и человек начинает изумлять, а то и шокировать окружающих и самого себя неожиданными, совершенно нехарактерными для него словами и поступками.

В букет этих древнейших чувств входит и ощущение особой, личностной связи с лидером страны. Он мой человек, и я его люблю!

Это может показаться неправдоподобным. Мы ведь ясно различаем границу между общественной и личной жизнью, между своим интимным миром, включающим самых близких людей, и миром политики, куда и попасть-то нельзя без особого приглашения. Когда нас спрашивают о симпатиях к политикам, хотя бы и к президенту, о доверии ему, об одобрении его действий — это понятно. Это соответствует тому положению, в каком мы взаимно находимся. Но при чем же тут подлинный голос сердца, который мы приберегаем обычно для родных, для испытанных друзей?

Что можно на это сказать? Если бы законы человеческой психики начали формироваться сегодня, то очень может быть, что наше отношение к власти и ее самым высоким представителям сложилось бы как чисто функциональное, далекое от пронзительных эмоций. Какие грани нашей личности задевает машинист, благодаря которому мы совершаем путешествие по железной дороге? Или архитектор, спроектировавший наш дом? Или дантист, к которому мы явились с больным зубом? Мы благодарны ему, конечно, за хорошо выполненную работу, да и то благодарность эта — не безмерная, поскольку в глубине души мы твердо убеждены: если это не настоящий профессионал, то нечего ему и браться не за свое дело.

Но в том-то и проблема, что фундамент нашей душевной жизни был заложен в те незапамятные, не оставившие письменных следов времена, когда лидер, или вождь, представлялся людям стоящим гораздо ближе к богам, чем к ним самим. Объяснялось это по-разному — по верованиям одних племен, вождь состоял с божеством в прямом родстве, то есть сам был полубогом, другие племена считали, что вождь всего лишь уполномочен богами выполнять свою миссию, для чего они же и наделили его особой силой, прозорливостью, мудростью. Но во всех случаях он был наместником богов в земных делах, и вся власть, приписываемая божеству, сосредоточивалась в его фигуре.

И точно так же, как бог, вождь внушал нашим далеким предкам страх, трепет и неизбывную любовь. Если человек был жив

и хоть мало-мальски благополучен, то он никогда не забывал, что обязан он этим счастьем не только богам, но и ему, великому предводителю племени. Но помнил он всегда и о том, что в любую минуту у него может быть все отнято — включая и жизнь. Человек твердо знал свое место и все свое поведение строил с таким расчетом, чтобы грозный вождь был им доволен.

Когда в телехронике будут показывать очередной выход главы государства «в народ» — всмотритесь внимательно в лица, постарайтесь проникнуться запечатленным на них настроением. Наверняка вы уловите отблеск этих давнишних, архаических чувств. В русском языке для них есть точное название — «верноподданные». Оно нам не импонирует, кажется обидным, принижающим, поэтому употребляется сейчас только в ироническом смысле. Но никуда не денешься — в палитре наших эмоций такая краска есть. Мы не сами ее в себе выработали, она досталась нам по наследству, сознательному контролю практически не поддается, поэтому ответственности за нее мы не несем.

Вот какие давние, глубокие корни имеет этот странный психологический феномен — ощущать себя человеком не самостоятельным, самодостаточным, а состоящим «при» ком-то. Меняется это имя — и мы чувствуем, что и в нашей собственной жизни появляется новая точка отсчета. Словно одна часть биографии завершилась, а другая началась.

\* \* \*

Еще одну выразительную психологическую модель можно получить, собрав арбатскую матрешку как положено, — одна фигурка внутри другой. Перед нами остается только одно лицо. Остальных не видно. И вместе с тем они есть.

В реальной жизни смена власти — процесс радикальный и четко расписанный по порядку и срокам. Отсутствие преемника, появление второго претендента — любое нарушение правил, любая неопределенность приводят, как мы знаем по многочисленным историческим примерам, к потрясениям и смутам.

Даже в условиях монархии, где все совершается в рамках одной семьи, среди ближайших родственников, а власть передается из рук в руки, появление нового лица на троне всегда подвело черту под прежним царствованием и открывало новые горизонты.

А уж в демократической стране — и подавно. Вступающий в свою высокую должность президент ни формально, ни по существу не связан с предыдущим. Он вышел на выборы по своей



воле и со своей собственной программой, в которой изложил свои намерения: будет он продолжать и развивать начатое или же сменит курс. Народ за него проголосовал. И этим все сказано! Все, что было доньше, становится достоянием истории. Теперь часы показывают время новой главы государства, и за то, как он им распорядится, спрошено будет лично с него.

Как строятся отношения между главой государства и его предшественниками? Никаких правил на этот счет не существует. Контакты могут поддерживаться, иногда они даже используются как своего рода политический ресурс. Президенты делают экс-президентов своими советниками, консультантами, дают им важные поручения. В международной практике это широко принято — особенно в сложных коллизиях, требующих особой щепетильности. Но все решения на этот счет глава государства принимает по собственному усмотрению. Ельцин не хотел знаться с Горбачевым — и делал вид, что такого человека вовсе не существует. Путин предпочел иную линию поведения — и, насколько мне известно, уже не раз встречался с первым президентом СССР.

А в сфере массового сознания те же самые процессы и явления имеют совершенно другой вид.

Задолго до официального сложения полномочий действующий президент перестает служить для сограждан объектом пристального внимания. Его срок отмерен. Будущее ему не принадлежит. От всплеска общественной активности, связанного с выборами, ему не перепадает почти ничего — если, конечно, он не принимает в них участия. Но даже если он стремится сохранить свой пост, то и в этом случае он интересен всем вовсе не как первое лицо в государстве, а всего лишь как один из претендентов.

Зато и символическое венчание на царство нового лидера страны происходит задолго до назначенного законом момента, практически сразу же после оглашения результатов выборов. Он еще не имеет права принимать решения, его подпись еще ничего не значит, но в глазах народа он уже — первый. Что он сказал, с кем встретился, кого позвал в свою команду — это занимает всех куда больше, чем реальные, приводящие к самым конкретным последствиям шаги уходящей, но еще не ушедшей власти.

А уж чтобы пережить самые последние дни, вообще необходимо запастись огромным запасом мужества. Великие политики уходят со сцены точно так же, как самые заурядные, — как выражаются артисты, под стук собственных каблуков. Черная неблагодарность по отношению к человеку, который очень много

сделал для страны. Но это даже не осознается — настолько все увлечены предстоящим.

Однако жизнь лидера на этом вовсе не кончается. Нет, не в том смысле, что этот человек ищет и чаще всего находит себе применение на ином поприще, политическом или неполитическом, а в крайнем случае садится писать мемуары. Жизнь не кончается, потому что тень прежних властителей всегда незримо стоит рядом с тем, кто теперь занимает их место.

Присутствие этой тени лишь в редких случаях бывает нейтральным — не полезным и не вредным. Как правило, оно либо способствует укреплению нынешней власти, либо ее подрывает. И дело тут совсем не в том, какой реальный след оставил по себе этот исторический персонаж, поскольку выстраивать отношения с тенью можно по-всякому. Можно сделать ее своей союзницей, покровительницей — именно так поступил Сталин, сумевший в глазах миллионов людей стать «Лениным сегодня». А можно, наоборот, утвердить себя, разоблачая и развенчивая тень, — как Хрущев, представший перед народом в качестве «анти-Сталина».

Обожествляют тень или втоптывают ее в грязь — она всегда верой и правдой служит тому, кто сумел правильно определиться, как теперь модно говорить, позиционироваться во взаимодействии с ней, точно попав в резонанс с настроением общества.

В физическом мире тень — объект в высшей степени подвижный и изменчивый. Эти свойства она полностью сохраняет и в сфере психической. Может приближаться и удаляться, сгущаться или становиться почти неуловимой.

Советская пропаганда постоянно вызывала из небытия тень Николая Второго и делала все, чтобы придать ей отталкивающий вид. Ничтожный человек, мелкий, недалекий, во зло стране употребивший свою огромную власть. А потом этот Николай Кровавый исчез, тень последнего российского императора окружена теперь кротким сиянием, и приобщение к лику святых великомучеников стало не причиной, а скорее следствием этого превращения, поскольку решение церкви было принято постфактум.

Вот уже полвека мы наблюдаем за тем, как ведет себя тень Сталина. То она становится легкой и малозаметной, но затем внезапно уплотняется и начинает лезть в глаза. Кажется, еще немного — и она нависнет над нами, заслонив все небо.

Сейчас как раз такой момент. Прямых поводов для этого в политической жизни, строго говоря, нет. Но ведь на то она и тень, чтобы питаться не фактами, а мыслями, предчувствиями, надеждами и страхами. А в последнее время все это сильно активизировалось.

У тех, в ком тень Сталина вызывает ужас, пошатнулась уверенность, что это время ушло навсегда. А поклонники сталинской системы, мечтающие о ее реставрации, — они соответственно воспрями духом. В одном из недавних интерактивных опросов, проводимых телевидением, за немедленную материализацию тени Сталина высказался чуть ли не каждый четвертый.

А тени остальных советских вождей сейчас еле угадываются. Они явно не в фокусе внимания. Тень Петра Великого, отделенного от нас уже почти тремя веками, и то очерчивается более рельефно. Но это вовсе не значит, что так будет теперь всегда. Изменится обстановка в стране, повеют новые ветры — и тени могут воспрять. Они всегда наготове. Поэтому можно только удивляться, как точно простенькая деревянная игрушка, совершенно для этого не предназначенная, моделирует ведущий механизм исторической памяти.

\* \* \*

Нужны ли нам, однако, эти экскурсии в царство снов и теней?

Мне очень часто приходится беседовать с людьми, для которых политика — это конкретные шаги и распоряжения власти, а история — описание таких же конкретных событий, имевших место в прошлом. При таком восприятии жизни начатый мною разговор может показаться странным, чтобы не сказать больше. Заниматься нужно тем, что есть на самом деле, — реальными фактами, реальным поведением реальных политических деятелей. Все остальное — от лукавого.

Но что такое реальность?

Предлагаю рассмотреть простейший бытовой пример. Растет в семье приемный сын. Этот факт — что в раннем детстве он потерял родителей и был усыновлен — бесспорен. Но от мальчика его старательно скрывают. Люди, которые его воспитывают, — для него они родные, самые настоящие мать и отец. Ему известно, при каких обстоятельствах он родился, что происходило при этом вокруг него, — пришлось сочинить для него эти подробности, когда он приставал к родителям с расспросами. В жизни ничего подобного не было, но для него это — единственная и непреложная реальность.

Фантастическое преобразование мира свойственно не только индивидуальному, но и массовому сознанию. Больше того, только на этом уровне феномен иллюзии демонстрирует всю свою мощь.

Что составляло подлинную реальность сталинской системы?

ГУЛАГ, рабская зависимость от вампира — государства, жесткое подавление малейшей самостоятельности, в мыслях или в действиях, равенство в нищете. Но эта ужасающая правда была открыта лишь немногим. Миллионы людей с абсолютной убежденностью и полной самоотдачей подпевали знаменитой песне: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Они видели свою несчастную страну именно такой — свободной и счастливой. Это представление было чисто виртуальным, но оно определяло реальное поведение людей, оно само было фактом действительности.

Можно, я думаю, говорить об особой, виртуальной реальности. Человеку с нормальным чувством языка соседство этих двух слов должно нестерпимо резать слух. Скажите еще — жареный лед! Виртуальный — это мнимый, воображаемый, кажущийся. Прямая противоположность реальному — весомому, грубому, зримому. Одно полностью исключает другое. Очень убедительная позиция! Занимая ее, чувствуешь себя уверенно и комфортно. Это и называется — стоять на земле обеими ногами.

В спорных ситуациях, когда каждая из сторон отстаивает свое видение проблемы как единственно правильное, то есть соответствующее действительности, мы обычно уповаем на помощь третейских судей. Они люди посторонние, своего интереса в деле не имеют, следовательно, они будут объективны. Но что это такое — объективность, которую мы так высоко ценим? Существует ли она в природе? Все жизненные впечатления человек пропускает сквозь призму собственного «Я», и по-другому просто не бывает. Нажитый опыт и настроение минуты, убеждения и предубеждения, игра фантазии и стереотипы мышления — все это образует сложную систему светофильтров, и она преобразует всю поступающую извне информацию.

Об увлекательных, эмоциональных людях часто говорят, что все, от них услышанное, надо разделить на четыре (а то и на десять или пятнадцать). У менее пылких натур эти поправочные коэффициенты бывают не так велики, но без них никто не обходится. Отсюда, наверное, и ненасытная человеческая потребность в общении. Все, что нас занимает или волнует, хочется обсудить, то есть узнать чужие мнения и сопоставить их со своими. Без этого мы чувствуем себя неуверенно.

Даже наука, возводящая в культ объективность и беспристрастность, без которых она и в самом деле вроде бы теряет всякий смысл, — даже наука никогда не бывает полностью свободна от виртуальных деформаций. Когда знаменитый психиатр Чезаре Ломброзо выдвинул свою теорию врожденной преступ-

ности, он и его последователи были неколебимо убеждены, что это учение представляет собой безупречно точный слепок с реальности: ни убавить, ни прибавить.

Но наука о человеке на месте не стояла. Другими учеными были сделаны открытия, поставившие под сомнение теорию Ломброзо. Со всех сторон сыпались возражения, опровергавшие то одно положение теории, то другое, и в конце концов Ломброзо был полностью развенчан. Советская наука относилась к нему не просто отрицательно, а даже агрессивно. Когда я учился в медицинском институте, нам внушали, что взгляды этого ученого антигуманны и вредны.

Однако и эта версия оказалась не более чем виртуальной. С позиций сегодняшних представлений о природе человека огульное отрицание взглядов Ломброзо выглядит таким же несправедливым и ошибочным, как и безоговорочное их принятие.

В своей врачебной работе я постоянно убеждаюсь в этом. Есть у людей такие врожденные особенности, которые вполне можно истолковать «по Ломброзо», но весь фокус в том, что они далеко не универсальны. В этой системе представлений невозможно описать целиком даже того человека, который такими свойствами наделен, и уж подавно нельзя подверстать под эту систему все остальное человечество. А чтобы быть совсем уж точным, необходимо сделать оговорку, что все это я говорю от своего собственного имени, самое большее — от имени тех психиатров и психологов, с которыми мы придерживаемся одинаковых теоретических воззрений, что вовсе не для всех обязательно. Есть сколько угодно других концепций, с которыми наши почти не пересекаются. Но современная наука за всеми признает равные права на существование.

Виртуальная реальность, к которой нас насильственно приучила тоталитарная система, была одномерной и однозначной. Все существовало в единственном числе: одна вера, одна партия, одно идейное знамя. Из-под этого пресса мы вышли с ущербным сознанием, причем главные его дефекты были лишь во вторую очередь связаны с сущностью данной идеологии или партийности. Гораздо губительнее было глубоко укоренившееся понимание этой одномерности как абсолютной нормы.

Если я убежден в правильности своих взглядов, значит, все другие точки зрения — это заведомая чепуха, ересь. С ними нужно бороться. Их необходимо искоренять. Инакомыслящие не просто заблуждаются — это враги, не заслуживающие никакого снисхождения.

Почему такое огромное количество взрослых, здравомысля-

щих людей попались на удочку авантюристов, затеявших строительство финансовых пирамид типа «МММ»? Потому что мы были неопытны в делах такого рода? Но ведь известно, что в незнакомой ситуации нормальные люди ведут себя с удвоенной осторожностью. Так, может быть, их подвела алчность, сбила с толку обманчивая легкость мгновенного обогащения? Я знаком со многими обманутыми вкладчиками, и уж о них совершенно точно могу сказать — причина не в этом. Им подставило подножку привычное слепое доверие к печатному слову, которое они автоматически распространили и на рекламу. То, что написано в газете или произнесено с телеэкрана, не может быть ни ложью, ни даже частичной, относительной правдой!

Пытаясь передать свое тяжелое психологическое состояние, мои пациенты часто называют его утратой уверенности в завтрашнем дне. Раньше, объясняют они, у нас не было безработицы, и на пенсию можно было прожить, и лечили нас бесплатно. Теперь же государство бросило всех на произвол судьбы, лишило социальной защиты. Вот отсюда и происходит это тягостное чувство, что будущее темно и непредсказуемо. Поскольку материальные трудности, переживаемые сейчас многими людьми, очевидны, эта мысль превратилась в распространенное клише, не требующее перепроверки.

Но есть и другая, возможно даже более важная причина психологического кризиса, хотя обнаружить ее без специальных исследований гораздо сложнее. Это чисто виртуальный переход из одномерного, четко расчерченного мира в многомерный, где нет ничего устойчивого и определенного, где бесчисленное множество различных, порой взаимоисключающих суждений, взглядов, мнений и идей не ведут между собой борьбу на истребление, а мирно сосуществуют по чисто джентльменским правилам.

Принцип плюрализма, утвердившись в политике, распространился затем на все сферы общественной жизни. Иногда говорят, что жить в условиях неопределенности тяжело. Это верно, но лишь в том смысле, что такое существование требует особых психологических приспособлений. Я бы сравнил это с ходьбой по корабельной палубе: непривычных к качке пассажиров швыряет из стороны в сторону уже при легком волнении, а закаленные морские волки не испытывают ни малейшего дискомфорта даже в шторм.

Если вас не раздражают газетные обороты типа «согласно такой-то версии» или «по оценкам такого-то специалиста», это означает, что вы уже достаточно хорошо ориентируетесь в многомерной виртуальной реальности. Вы готовы с одинаковым инте-

ресом отнестись к разным оценкам и к разным версиям, и вас вовсе не смущает, что ни одна из них не дает вам стопроцентно точного отражения действительности.

\* \* \*

Тема этой книги — виртуальная реальность политики. Я занимаюсь ее изучением уже много лет, написал немало статей для газет и журналов, выпустил несколько книг. Если перечислить их сюжеты, может создаться впечатление, что я пытаюсь отбить хлеб у профессиональных историков и политологов. Но это не так, хотя, естественно, мы с ними работаем над одним и тем же материалом. Угол зрения у нас разный, потому и не возникает дублирования. Очень часто последняя, несущая в себе окончательный вывод строка их исследований становится тем ключевым вопросом, ответ на который предстоит найти мне.

Вот типичный пример. Проанализировав запутанную ситуацию, политологи приходят к заключению, что основное ее содержание — это борьба за власть. Дальше они могут проследить за развитием событий, чтобы увидеть, кто в этом столкновении одержит победу, могут попытаться заглянуть вперед, сделав свой прогноз, но в любом случае будут рассматривать борьбу за власть как некую определенную и общеизвестную данность. А для психолога эта констатация — общее место, пустая оболочка, которую нужно заполнить огромным объемом информации. Кто эти люди, которые участвуют в борьбе, какова структура их личности, какие глубинные мотивы ими движут — в данный момент и на протяжении всей их карьеры?

Один из самых жгучих нынешних вопросов — проблема устройства власти. И здесь мы с политологами тоже движемся параллельными путями. Для них важно взаимодействие ветвей власти, распределение полномочий, соотношения между разными институтами и уровнями. А я, как уже понял, вероятно, читатель, стараюсь понять людей — и вовлеченных во власть, и видящих ее стоящей над ними.

Сейчас, впрочем, в виртуальном политическом поле работают не только психологи. Вдумайтесь, например: что такое имидж политика? Или что такое его рейтинг? Мираж, фантом, сумма неуловимых, а порой и необъяснимых душевных движений. Переходя на этот язык, мы заведомо отказываемся от всяких попыток объективно оценить достоинства и недостатки этого деятеля, измерить результаты его работы. С реальной политической

фигуры взгляд переносится на ее отражение в массовом сознании.

Изменить себя, в человеческом или профессиональном смысле, — задача невероятно сложная, требующая колоссального внутреннего напряжения. Намного проще добиться того, чтобы изменилось отражение. К тому же тут уже необязательно полагаться только на свои собственные силы. Можно привлечь других людей, да что там — целые организации. Можно поставить процесс на индустриальную основу, использовать фантастические возможности современной техники.

Какое внимание уделяла советская власть пропаганде, напоминать не надо. Но главная цель у нее всегда была одна — донести до народа правду. Самое большее — разъяснить, разложить все по полочкам. Все механизмы психологического давления были тщательно укрыты от непосвященных.

А теперь вся эта «кухня» распахнута для всеобщего обозрения. Имиджмейкеры, пиарщики, политтехнологи не делают никакого секрета ни из факта своего существования, ни из приемов, которыми они пользуются в своем глубоко виртуальном деле. Иногда они ведут себя так, будто они и есть главные действующие лица в политической игре, а сами политики — это что-то вроде глины, позволяющей скульптору явить свое искусство. Я сам слышал от одного такого чудодея, что, если дать ему достаточно времени и очень много денег, он берется из любого, самого невзрачного клерка сделать лидера страны.

Каждый человек услышал бы в этом заявлении намек на важнейшее событие последнего этапа нашей истории — выборы второго президента России.

Конечно, назвать Владимира Путина незаметным клерком ни в коем случае нельзя. Совсем не таким было его положение, а бешеная скорость, с какой он несся вверх по карьерной лестнице, перепрыгивая не со ступеньки на ступеньку, а с пролета на пролет, предвещала, что в обозримом будущем остановки не будет. Но что правда, то правда — за пределами Кремля и прилегающих к нему территорий эта фигура не была ни популярной, ни даже просто узнаваемой. Виртуальное облако, автоматически создаваемое публичностью, полностью отсутствовало. Один голый протокол.

Как, наверное, и многие другие, я точно запомнил первый заметный выход Путина к телекамерам. Раскручивалась интрига,



связанная со снятием Генерального прокурора. Степашин, в тот момент еще не премьер, а министр внутренних дел, и Путин, недавно назначенный глава ФСБ, должны были авторитетом всезнания, всегда сопутствующего имиджу этих ведомств, подтвердить, что никакой фальсификации в деле Скуратова нет и скандальная видеозапись — подлинная.

О Степашине у меня было какое-то представление, о Путине — ровно никакого. Я только обратил внимание на то, что в этой крайне двусмысленной ситуации он держится несравненно лучше, чем его коллега. Степашин подчеркивал свою сдержанность и объективность настоящего эксперта, но при этом считал все же необходимым как-то просигнализировать нам о том, что в его душе все происходящее вызывает глубокую скорбь. Это были совершенно излишние хлопоты. Для тех, у кого эта история вызывала тошноту, Степашин в любом случае оставался ее активным участником, и с какими чувствами исполнял он свою роль, этих людей не трогало. Ради же остальных, не увидевших в развороте событий ничего ненормального или попросту равнодушных, стараться не было никакого смысла.

А Путин и мимикой, и интонациями, и выражением глаз идеально соответствовал сакраментальной формуле — «ничего личного». В нем было ровно столько же эмоциональной выразительности, сколько в компьютере, который отвечает на информационный запрос строго в заданном объеме.

Так мастерски решить непростую психологическую задачу и к тому же так изящно исполнить решение — признак незаурядного ума и развитой интуиции. И все же я погрешил бы против истины, сказав, что уже тогда у меня появились какие-то предчувствия относительно этого человека. Слишком мимолетным был этот эпизод и слишком недостойным повод, обусловивший первое появление Путина перед широкой публикой. Да и внимание, если вспомнить, было в тот период сосредоточено на другом. Примирится ли Ельцин с неизбежностью своего ухода? А если такое все же свершится, кому достанется российский престол? Степашин или Примаков? Примаков или Лужков? А может быть, все-таки Зюганов? Их рейтинги казались настолько монолитными, что по крайней мере за тот год, который оставался до президентских выборов, появление новых лиц в этой обойме было исключено.

Не всегда у меня есть время посмотреть новостные передачи по телевизору, но в тот день, когда Ельцин сообщил, что решил, наконец, и вопрос своего будущего, и вопрос будущего России, я оказался свободен. Поэтому информацию о решении президен-

та получил не из третьих рук, а прямо от него. Весь облик Ельцина говорил о том, как скверно он себя чувствует. Отечное лицо, болезненно оплывшая фигура, с трудом выговариваемые слова... Может быть, поэтому самая первая мысль, пронзившая меня, как только я понял, о чем идет речь, вылилась в привычную для меня форму диагноза: «Ребята, он сошел с ума!»

Явная нелепость: о своем преемнике он говорит так, словно он и вправду не президент, а монарх, да и монархи не всегда имели возможность самочинно устанавливать порядок престолонаследия.

Явное снижение критики: неужели Борис Николаевич совсем не понимает, во что превратилась бывшая всенародная любовь к нему? При таком отношении любая рекомендация может быть воспринята только с обратным знаком.

Явная неспособность просчитать на два шага вперед: ведь понятно, что ельцинский назначенец обречен. У всех, кто будет составлять ему конкуренцию, прочные репутации, списки конкретных достижений, огромный опыт общения с публикой, многочисленные сторонники, среди которых тоже немало ярких, «звездных» имен, способных увлечь за собой колеблющихся. Ничего этого у Путина нет и появиться за короткое время не может. Какая-то медвежья услуга получается: человек, может быть, и вправду способный, с большим потенциалом, но о каком же продолжении можно будет говорить после такого скандального провала!

Такое мнение сложилось не только у меня одного. Немцов назвал происходящее агонией режима. Иваненко, заместитель Явлинского в думской фракции, сказал: «Чего еще можно ждать от этого президента?» А Зюганов и вовсе высказался в одном со мной ключе: «Клиника!»

Известно, что мы все оказались не правы, причем настолько, что уже в марте, перед выборами, не верилось: ну как же можно было до такой степени попасть пальцем в небо? А вот чем объясняется феноменальный, поистине неправдоподобный успех Путина — на этот счет суждений в ходу великое множество, от глубоко мистических до самых циничных.

Ельцин в своей последней книге рисует эпическую картину: наблюдая Путина вблизи, он угадал в нем задатки великого политика, будущего отца нации, который сумеет довершить то, на что самому первому президенту не хватило времени. Поэтому ему оставалось только поставить своего наследника в такие условия, благодаря которым все это увидит и оценит народ.

А вот другая книга, написанная одним известным аналитиком. Тот же самый ход событий имеет в ней иную окраску. Ельцин действительно выбирал, но действовал он методом исключения, отбрасывая тех, кто не мог его устроить, и цель его была — найти человека, способного обеспечить безопасность ему самому и «Семье». Кроме Путина, никто по этому признаку не проходил, он оказался единственным. Что же касается преподнесения этого избранника обществу, то тут ставка была сделана не столько на демонстрацию исключительных качеств кандидата, сколько на устранение его соперников. В нынешней терминологии — на самый черный из черных пиаров.

Есть еще более примитивные версии, вплоть до того, что Ельцину вообще осталось всего лишь «озвучить» решение, принятое его ближайшим окружением, как и Путину — всего лишь сыграть роль, прописанную для него до мельчайших телодвижений и реплик.

Если бы я работал как историк, обязан был бы выяснить — как же все происходило на самом деле. Но я занимаюсь другим. Я исследую виртуальную реальность, вмещающую в себя все варианты и версии. Я не стараюсь выяснить, соответствуют ли эти мнения действительности. У меня совсем другая задача: понять, на какой почве они возникли и почему завладели немалым числом умов.

\* \* \*

Среди этого множества вопросов есть два самых для меня важных, которые я и держу в голове, начиная эту книгу.

Первый носит скорее теоретический характер. Он касается взаимосвязей между виртуальным и реальным миром. Образ лидера или, если угодно, вождя не может быть абсолютно тождественным личности человека, которому выпала эта историческая миссия. Всегда присутствует эффект преувеличения, идеализации. Мы говорим, что лидер консолидирует нацию, а это означает не только чисто механическое сплочение людей вокруг одного центра, но и переливание к этому центру огромных ресурсов психической энергии, многократно превышающих возможности одного человеческого существа.

Но что же требуется при этом от личности? Должна ли она и сама по себе обладать какими-то особыми, выдающимися свойствами? Или ловкий имитатор, поняв, по каким внутренним законам идет этот процесс, может и в самом деле запустить его на

пустом месте? За долгую жизнь у меня выработалась определенная позиция. Но обстоятельства заставляют подвергнуть ее строгой проверке.

И уж поскольку эти обстоятельства связаны в первую очередь с фигурой президента Путина, который представляется мне поразительно непохожим ни на одного из лидеров, «при которых» я жил, то второй вопрос, естественно, имеет отношение к нему. Это тот самый вопрос, который ознаменовал его появление в ипостаси главы государства, но до сих пор, по-моему, окончательно не разрешен: что он представляет собой как человек, как личность? Что обещает нам жизнь «при нем»?

Готового ответа у меня нет. За ним, как иногда говорят, придется опуститься на дно колодца...

## *Глава 1*

### **ВЛАСТЬ ОТ БОГА**

### **ТАЙНА ХАРИЗМЫ**

Предлагаю прислушаться к привычным оборотам речи.

Бороться за власть. Прийти к власти. Поделиться властью. Лишиться власти.

Власть — сумма важнейших прав и полномочий — предстает в этих словосочетаниях как нечто отдельное даже от самих людей, которые ею обладают. Чтобы воспользоваться тем, что она обеспечивает, власть нужно сначала получить. Но наступает момент, когда человек теряет власть — и у него не остается с ней ничего общего, кроме воспоминаний.

Все это, однако, относится к одной разновидности власти, к той, которая, как выражались наши предки, от людей. Чтобы реализовать власть такого рода, нужно кем-то стать. Власть в этом понимании неотъемлема от должности, поста, места в управленческой иерархии. Недаром тягчайшим преступлением считается превышение власти или присвоение властных функций, не свойственных данной управленческой роли.

Но есть и другой тип власти, и говорить мы сейчас будем только о ней. Власть над душами. Власть от Бога.

В этом психологическом феномене есть и вправду что-то мистическое. Один человек держит на себе напряженное внимание миллионов. Все, что он говорит, представляется всем необычайно значительным. Он пробуждает какое-то неправдоподобное доверие, не требующее никаких доказательств и подтверждений. Его противники вызывают острую неприязнь. Что это — гипноз? Во многом очень похоже. Однако никакими приемами из обшир-

ного арсенала кудесников-гипнотизеров этот человек не пользуется.

Первым отметил этот феномен и дал ему имя Макс Вебер. В его классификации, помимо власти, основанной на обычае, и власти разумно законной присутствует власть, имеющая преимущественно психологические опоры, основанная на особых магнетических свойствах личности властителя. Она может дополняться официальными полномочиями, но может и легко обходиться без них — лидеров такого склада мы находим среди народных трибунов, среди вождей оппозиции, стоящих вне правительственных структур и даже гонимых ими. И за каждым примером стоит яркая, неповторимая индивидуальность, которой практически невозможно подражать.

Для этого особого типа власти Вебер выбрал старое церковное понятие — харизма. Это греческое слово служило в теологии для обозначения высшей благодати, ниспосланной Святым Духом тем избранным, которые благодаря ей наделяются непрерываемым авторитетом и властью над людьми. В сущности, и мы говорим о том же, только не представляем себе так конкретно ту высшую силу, от которой все идет. С легкой руки Вебера этот термин прочно прижился во всех политических науках.

С появлением в России публичной политики о харизме и ее носителях стали много говорить и у нас. Я часто сталкивался с тем, что всех стремящихся к власти делят на харизматических и прочих. Даже словечко появилось — «харизматики». Подобный подход мне представляется не совсем правильным. Ведь для серьезного политического деятеля одного харизматического обаяния недостаточно. Необходим еще целый набор важных интеллектуальных и душевных качеств, иначе получается эффект мыльного пузыря: нечто большое, но очень недолговечное и не оставляющее после себя следов. Но в то же время человеку, лишенному этого волшебного дара, нечего делать в тех областях политики, которые требуют постоянных, интенсивных контактов с избирателями, с многомиллионной аудиторией средств массовой информации, с партийными массами. Он может быть как угодно умен, образован, полон блестящих идей, но все это так и останется при нем. Самый наглядный пример — Егор Гайдар. Многие в нашей стране пошло бы совсем по-другому, если бы на его месте оказался политик, способный заражать и заряжать человеческую массу своими мыслями, своей волей.

Попадая в поле харизматической личности, мы приходим в особое эмоциональное состояние, на чем, собственно, и держится ее власть. И окружающий мир, и самих себя, но, прежде

всего — этого человека начинаем видеть измененным сознанием. Он представляется огромным, мудрым, всесильным, от него исходит свет и добро. Как показывает история XX века, этот грандиозный самообман — сон наяву — может охватить целую нацию и длиться годами, заставляя следующие поколения мучиться тяжким недоумением: как мог этот призрак приобрести такую власть над отцами и дедами?

Все чаще, впрочем, приходится разговаривать с деловыми молодыми людьми, которые не усматривают в этом ничего таинственного. Они готовы даже поставить изготовление вождей-призраков «на поток».

В одном из номеров журнала «Коммерсантъ-Власть», вышедшего в свет в короткий промежуток между парламентскими и президентскими выборами 2000 года, была сделана попытка раскрыть перед читателями смысл этого загадочного, странно волнующего слова — харизма. По названию «Курс молодого вождя» я решил было, что это то ли фельетон, то ли пародия. Вдобавок в кратком введении прочел, что существует, оказывается, специальная программа «Харизматического тренинга», позволяющая каждому, кто не пожалеет времени (а также, по всей видимости, и денег), стать обладателем этого дара. Но затем, вчитавшись в текст, понял, что шутить со мной никто не собирается.

Харизма — слово греческое. Первоначальный смысл его — милость, благодать, ниспосланная человеку высшими силами. В политическом словаре термин толкуется более приземленно. Им обозначается специфический дар некоторых людей, обеспечивающий колоссальное влияние на любую аудиторию, подобное массовому гипнозу. Каждая мысль, высказываемая таким необычным человеком, представляется сверхзначительной, несущей в себе какую-то высшую правду. Харизматическая личность вызывает безграничное доверие, за ней люди готовы идти в огонь и в воду. Иногда приходит в голову, что спасением для человечества нужно считать то, что харизма — феномен достаточно редкий. Если бы великие учителя и пророки являлись часто, увлекая за собой возбужденные толпы, никакая созидательная, размеренная жизнь была бы попросту невозможна.

И вот теперь меня хотят убедить в том, что ларчик открывается просто. Нет ничего особенного, необычайного в личности политиков, излучающих обаяние харизмы. Есть своего рода ремесло, владение приемами психологического воздействия на публику. И как каждый человек может научиться водить автомобиль, так и искусством духовного руководства людскими толпами может овладеть каждый. К тому же дело это совсем не хитрое.

Нужно знать и точно исполнять всего-навсего шесть правил, которые в данном случае уместнее было бы назвать фокусами.

Первое правило: харизматическая личность должна явиться неожиданно и со стороны. Нельзя ассоциироваться с привычной, давно сложившейся политической элитой. Достаточно хотя бы принадлежать к другой национальности, как корсиканец Бонапарт во Франции или грузин Джугашвили в России.

В самом облике этой новоявленной фигуры должно быть что-то бросающееся в глаза. Пусть даже непривлекательное, уродливое. Важно проявить исключительность, поразить воображение, мгновенно запомниться. Характерные черты, свойственные природе человека, полезно дополнить реквизитом, который начинает восприниматься как неотъемлемая часть данного персонажа. Примеры: трубка Сталина, сигара Черчилля, кепка Лужкова. Это правило номер два.

Третье — посложнее. Магия харизматической личности зиждется во многом на осознании великой цели, к которой она нас увлекает. Это наша общая сокровенная цель, но мы воспринимаем ее через человека, «открывшего нам глаза». Поэтому нужно проникнуться его судьбой, его переживаниями. Короче — нужна легенда, рисующая его жизненный путь. Начинаться эта легенда может самыми разными жизненными фактами, но в ней непременно должен присутствовать момент озарения. Как, когда, в связи с чем пришло это понимание своей великой миссии? Изымите из ленинского мифа казнь старшего брата и знаменитую фразу: «Мы пойдем другим путем» — и сразу почувствуете, что утрачено что-то чрезвычайно существенное.

Неотъемлемая часть харизмы — новизна. Это четвертый постулат. Если даже ничего оригинального харизматическая личность не предлагает, то хотя бы за счет форм подачи и непривычных ракурсов все, исходящее от нее, должно казаться доселе неслыханным. Проще сказать, в эйфорические переживания, сопутствующие всем контактам такой личности с обществом, должен быть добавлен мощный интеллектуальный компонент.

Сплочению людей вокруг лидера способствуют символы, ритуалы. Отсюда пятое правило: придумать ритуал. Бесценная сокровищница опыта в этом смысле — наша собственная память. Если вы и не застали время знаменитых военных парадов и демонстраций, то наверняка видели их в кинохронике.

И наконец, последний, шестой пункт. Он тоже имеет отношение к идее исполнения великой миссии. Чем величественнее цель, тем яростнее должна быть или хотя бы выглядеть борьба за ее достижение. В этой борьбе лидер должен наглядно проявить



свою силу и умение добиваться победы. Враг должен быть силен и коварен, его сокрушение должно носить характер чуда, избавления от невиданной опасности.

Вот и вся наука.

Что ж, ни один из этих советов я не могу назвать пустым или ничемным, и путь завоевания человеческих душ прослежен в общих чертах верно. Я даже не в обиде, как профессионал, за то, что сложнейшие психологические явления обрисованы здесь так примитивно, чтобы не сказать вульгарно. Всему свое место, тонкий массовый журналчик не обязан заниматься серьезной популяризацией науки. Спасибо ему и за то, что он напоминает: все, что происходит на политической сцене и за ее кулисами, регулируется в первую очередь законами психологии.

Великие носители харизмы — это гении особого рода. Их на свете немного, да и заявляют они о себе лишь в особые моменты истории — поворотные, кризисные, когда люди начинают метаться, неудовлетворенные происходящим или напуганные будущим. А в отсутствие гениев жизнь выталкивает на политическое поприще людей тоже, возможно, одаренных, заряженных этим особым магнетизмом, но в более слабой степени. Чтобы добиться успеха, они берут на вооружение отдельные психологические приемы выдающихся «харизматиков». Все пиаровские технологии только на таком подражании и построены. Ничего зазорного в этом нет.

Но отсюда вовсе не следует, что харизма как таковая — это фикция, выдумка для наивных простаков, доверчиво заглатывающих пропагандистские крючки. За гениями всегда следует сонм подражателей, подхватывающих их открытия, но это не ставит под сомнение само существование гениев. К тому же всегда есть предел, выше которого идущие следом заведомо подняться не могут.

Решить конкретную задачу (например, победить на выборах) искусственно раздутая харизма помогает. А дальше? Через год люди могут и не вспомнить, за кого они голосовали. Личность же, наделенная подлинной харизмой, существует в ином измерении. Преданность ей становится частью духовного мира целых поколений, ее судьба — частью истории, память о ней переживает века.

А теперь о самом главном. Феномен харизмы заключает в себе двойную загадку. Человек, сказали мы, обладает способностью подчинять своему влиянию, втягивать в свое поле целые народы. Это удивительное свойство. Но разве менее удивительна способность подчиняться этому влиянию?

Чем шире круг, тем больше встречается в нем разных людей, ничем не похожих друг на друга. Они отличаются по возрасту, по темпераменту, по восприятию, у всех свои потребности и вкусы. Эффект взаимного притяжения, от легкой симпатии до непреодолимого влечения, возникает в человеческом общении на каждом шагу, но обычно такое воздействие бывает избирательным. Кому-то мы внушаем уважение, кому-то — нет. Женщина кажется своим поклонникам неотразимой, а другие при этом недоумевают: ну что в ней нашли? Ни в чем индивидуальность не проявляется так ярко, как в причудливой игре межличностных отношений.

И вдруг все различия стираются. Общий порыв увлекает всех, спаивает в единое существо. Между людьми, даже незнакомыми между собой, возникает ощущение братства, полного взаимопонимания, абсолютного доверия.

Чем же объяснить поразительную синхронность, общность переживаний, царящую вокруг харизматической личности? Мы знаем, что корни ее лежат очень глубоко. Склад души каждого человека не только нарабатывается его неповторимым жизненным опытом, начиная с колыбели. Но есть и такие личные особенности, которые закладываются еще до рождения. Многое привносит и жизнь в материнской утробе, и полученная от родителей наследственность. Что, казалось бы, может дать более прочную гарантию уникальности, неповторимости каждого человека? Но вот видим же мы, что этим сугубо личным, индивидуальным содержанием нашего «Я» не исчерпывается. Значит, есть что-то еще, есть какие-то потаенные элементы, которые у всех представителей человеческого рода одинаковы. Повседневная жизнь не позволяет им заявить о себе. И только магия харизмы производит в душе переворот, выводя на первый план именно эту самую глубинную часть нашего внутреннего мира.

Здесь мы вступаем в самую сложную и наименее освоенную область психоанализа. Поэтому мне не хочется ограничиваться изложением выводов великого Фрейда. Попробуем хотя бы конспективно повторить путь, которым шла его мысль.

## **МАЛЕНЬКИЙ ТОММИ, 28-Й ПРЕЗИДЕНТ США**

Жгучий интерес, который Фрейд питал к людям могучего таланта, чьи неординарные судьбы стали вехой в истории человечества, кажется абсолютно естественным. Пробираясь к первоосновам человеческой психики, психоанализ не мог пройти мимо

одной из величайших ее тайн, не сделать попытку проникнуть в духовный мир гения.

Фрейд неподражаем в искусстве реконструкции личности. Но трудно объяснить, почему он так скудно пользовался этим своим даром. Исследования Фрейда, посвященные Леонардо да Винчи и Достоевскому, — это классика психоанализа. Но работ такого плана в наследии Фрейда поразительно мало. Правда, как свидетельствуют некоторые его биографы, Фрейд без восторга отзывался об этих своих произведениях. Надо полагать, он не мог развернуться в полную силу, поскольку вынужден был оперировать крайне скудным материалом. Если бы Фрейд захотел создать психоаналитический портрет кого-нибудь из близких ему великих современников, таких препятствий не возникло бы. Альберт Эйнштейн, Ромен Роллан, Томас Манн, Стефан Цвейг, Сальвадор Дали — я упоминаю только тех, с кем он был хорошо знаком хотя бы по переписке, к кому питал глубокое уважение и симпатию. Но почему-то открывавшиеся в связи с этим возможности так и не были реализованы.

И при этом основатель психоанализа не пожалел ни времени, ни сил на самое подробное исследование личности человека, который волею судьбы оказался на месте вождя, не обладая даже малейшими признаками подобной личности.

И Томас Вудро Вильсон, 28-й президент США, уже через пару десятилетий после окончания своего президентского срока и последовавшей вскоре за тем смерти, полностью утонул в массе посредственных политиков, с которыми даже их собственные народы не связывают памятных событий своего прошлого — героических или трагических. Их «проходят» в процессе изучения истории, «сдают» на экзаменах и сразу забывают.

Что же заставило Фрейда приняться за эту работу? Вот какое объяснение дает его друг, известный американский политик и дипломат Уильям Буллит.

Толчком послужила случайная встреча в Берлине. Буллит приехал по делам в Берлин, там же находился в эти дни Фрейд в связи с «небольшой операцией», которую ему должны были сделать немецкие врачи. Старые друзья воспользовались этим совпадением, чтобы повидаться. В ответ на естественный вопрос о том, чем он теперь занимается, Буллит сказал, что работает над книгой о Версальском договоре, завершившем Первую мировую войну. В этой книге, сказал он, будет дано исследование деятельности лидеров стран, участвовавших в войне и после четырех с половиной тяжелейших лет согласившихся ее прекратить. Бул-

лит, непосредственный участник этих событий, знал их всех: и Клемансо, и Орландо, и Ллойд Джорджа, и Ленина, а с президентом Вильсоном вообще был достаточно близок, поэтому его книга обещала стать очень интересной.

Услышав это, Фрейд, как пишет Буллит, внезапно оживился («глаза его загорелись»). Он сказал, что хотел бы принять участие в написании главы о Вильсоне. Буллит рассмешила идея Фрейда: соединить психоанализ с анализом политическим — срastутся ли швы, не развалится ли на куски такая странная книга? Но оказалось, что Вильсон небезразличен Фрейду давно, с тех пор, как Фрейд узнал, что они одногодки (оба родились в 1856 году). Кроме того, было сказано и о давнем желании Фрейда поработать с обширной аналитической базой. В этом смысле Буллит был настоящим кладом информации, он работал с Вильсоном, знал всех его друзей и знакомых...

Через несколько дней друзья нашли соломоново решение. Книга Буллита выходит такой, какой она была задумана, а сверх того будет проведено совместное исследование судьбы и личности американского президента, и в этой работе каждый из соавторов выступит в свойственной ему роли.

В этом рассказе, как кажется, нет ничего, что казалось бы удивительным. Фрейду уже за 60 лет. При всей своей феноменальной работоспособности он мог уже устать, впасть в апатию. И вдруг — случайная встреча, несколько фраз, и старый, изработавшийся человек испытывает прилив азарта, который я бы не постеснялся назвать охотничьим. И тогда не столь уж важно, каким будет предмет этого исследования, — важно, что депрессия преодолена.

Есть только одна подробность, о которой Буллит упоминает настолько вскользь, что несведущий читатель должен о ней напроць забыть: «Небольшая операция». Маленький житейский пустячок, так сказать. А на самом деле у Фрейда был рак. Ежедневно требовались процедуры, причинявшие невыносимую боль. Единственным человеком, у которого хватило сил быть в тот период рядом с Фрейдом, была его младшая дочь Анна — самая любящая и, наверное, самая любимая, самая близкая отцу душевно и духовно.

У врачей, лечивших Фрейда и преклонявшихся перед его стойкостью, не укладывалось в голове: почему он упорно отказывался от обезболивающих средств? В 20-е годы медицина была уже не безоружна, и Фрейду это было известно лучше, чем кому-либо другому, — он был первооткрывателем анестезирующих

свойств кокаина, выполненные им исследования облегчили участь бесчисленного множества страдальцев. Он как бы предвосхитил собственное трагическое будущее, заранее позаботился о защите. И он же оказался одним из немногих, если не единственным, кто по собственной воле ее отверг.

Почему? Что его останавливало? Только одно. Фрейд знал, что любое болеутоляющее средство затормозит умственную деятельность, а прекратить мучения такой ценой он не мог. Искусшение оставалось всегда, я уверен, что шприц с наркотиком неизменно был у Анны под рукой. Болезнь длилась долго — 13 лет, и каждый день Фрейд должен был заново делать этот выбор: поддаться или сохранить себя для работы. И он всегда выбирал работу.

Поэтому я никак не могу принять то объяснение, которое предлагает Буллит. Фрейд не мог увлечься какой-то безделицей, тем более подписаться на то, что отныне она займет важнейшее место в его занятиях. Если у него загорелись глаза и он начал, несколько даже неуклюже, набиваться своему другу в соавторы (а это, чувствую, именно так и было), то здесь следует искать совсем иной мотив, несравненно более сложный и глубокий.

Вильсон, который был самым заурядным государственным деятелем, разве что жил в необычайное, переломное время и в силу своего положения многое в нем определил, — он, Вильсон, как видно, открывал в глазах Фрейда выход на чрезвычайно для него важную, волнующую тему. Работа над его психологическим портретом обещала открытия, ради которых можно было принести любые жертвы.

Фрейд видел, как развивались события в послевоенной Европе. Теперь мы точно знаем, что именно условия Версальского мирного договора спровоцировали фашистское перерождение Германии и сделали неизбежной новую, еще более чудовищную войну. Но мы крепки задним умом, а Фрейд смотрел в будущее. «Я ожидаю страшных вещей в Германии», — писал он своему другу Шандору Ференци сразу же после подписания договора. И ответственным за это он считал именно Вильсона. Америка вступила в войну лишь на завершающем этапе. У нее не было ни территориальных, ни каких-либо других собственных претензий, которые сталкивали бы ее с Германией или с любой другой европейской страной. Это автоматически выдвигало ее на позицию третейского судьи при заключении мира, а экономическая мощь, войной практически не подорванная, добавляла особую весомость этому судейству.

Вильсон, несомненно, хорошо это понимал. Он широковещательно объявлял, что намерен обеспечить настоящий мир, справедливый и прочный, который исключит возможность новых конфликтов. А реально поставил свою подпись под совершенно другим документом, позволившим одним хищникам поживиться за счет другого, побежденного, унижить его до беспредельности. Это и превратило хваленый вильсоновский мир в перемирие с заведомо запрограммированным финалом.

Нечасто бывает в истории, что в таких масштабных событиях, втягивающих в свою орбиту множество действующих лиц, все так отчетливо зависит от решения одного человека. Но лидер на этот раз оказался несостоятельным, он не оправдал даже своих собственных ожиданий. «Этот Вильсон неизлечимый романтик... Он не уловил, что век рыцарства окончился вместе с Дон Кихотом» — такой диагноз, уничтожающий человека, стоящего во главе нации, поставил Вильсону Фрейд в том же письме Шандору Ференци.

Но «романтик» — пустое слово, если рассматривать человеческие качества с позиций психоанализа. Каковы глубинные основы этого романтизма, как они сформировались, какой путь развития прошла эта личность, начиная прямо с колыбели? Вот приблизительный круг вопросов, стоящих перед психоаналитиком. А поскольку эти психологические особенности не помешали, возможно, даже помогли «этому Вильсону» заслужить максимальное доверие миллионов избирателей в стране, национальный дух которой предельно далек от романтизма, возникает еще один ряд вопросов. Какие глубинные мотивы толкнули романтика на политическое поприще? Что помогло ему выдвинуться, добиться первенства, удержать эти позиции в жестокой конкурентной борьбе?

Во всем, что было известно о Вильсоне, Фрейд усматривал цепь глубочайших, неразрешимых парадоксов. Американский президент представлялся Фрейду фанатиком, живущим в плену самых сумасбродных иллюзий и даже словно бы гордящимся этим. Чего стоила хотя бы его знаменитая фраза, к которой он часто прибегал в спорах: «Голые факты не имеют для меня никакого значения»! Вильсон утверждал, что для него важны не действия людей, а их мотивы и побуждения. Насколько они чисты, насколько моральны? Если намерения благородны, то никакого значения не имеет, к каким результатам они привели. Эти же критерии он распространял и на самого себя. «Когда он пересек океан для того, чтобы принести раздираемой войной Европе

справедливый и прочный мир, он оказался в плачевном положении благодетеля, который хочет восстановить пациенту зрение, но не знает строения глаза и не умеет оперировать», — горько иронизировал Фрейд, понимавший, что ему вместе со всеми европейцами эта метафора отводит место такого несчастного пациента.

Вильсон с каким-то поистине средневековым пылом объявлял себя проводником всеблаготворной воли Всевышнего. Вблизи же он поражал неискренностью, ненадежностью и «тенденцией отрицать правду» — лживостью, если выразиться проще. Привычка больше доверять делам, чем словам, подталкивает к выводу, что и заявления о верности христианским добродетелям тоже были сознательной ложью — маской, помогавшей этому крупному политику добиваться своих целей. Чутье, однако, подталкивало Фрейда к другому, не столь примитивному толкованию этого парадокса. Его источником, видимо, было какое-то особое устройство личности, делавшее в глазах Вильсона ложь непреложной правдой и, более того, гипнотически действовавшее на окружающих. Ничего не было легче, чем ткнуть Вильсона носом в его неблагоприятные дела, в его вопиющую непоследовательность. Но все вокруг словно ослепли, в том числе, к слову сказать, и сам Уильям Буллит, который долгое время работал под руководством президента и был ему предан «со всем энтузиазмом молодости». Какая-то грандиозная мистификация, поработившая сознание миллионов трезвых, рационально мыслящих людей!

Эти предварительные рассуждения подсказывают, с какими мыслями Фрейд приступал к работе. 28-й президент США интересовал его как своеобразная, несколько даже экзотическая индивидуальность. Но еще больше привлекала возможность исследовать на этом частном случае яркий и во многом загадочный человеческий тип — политического «призрака». Все говорит о том, что Фрейд рассматривал Вильсона как несомненного носителя харизмы, демонстрирующего самую опасную грань этого феномена — всемогущество популизма в его крайних формах, настолько близких к абсурду, что и сам вождь, и его последователи начинают казаться невменяемыми.

Тема эта с каждым часом становилась все более актуальной. Мир уже узнал Гитлера. Главное оставалось впереди: уличный крикун и демагог только начинал свое превращение в фюрера, бога всех немцев, упавших перед ним ниц. Но Фрейд не мог не видеть, что уже сбывается его пророчество о страшном будущем, ожидающем Германию, а следом и всю Европу...

Как видим, значение всех этих проблем не ограничивается ни рамками одной человеческой личности, ни обстоятельствами одной исторической эпохи. И я решил, что не стоит расхолаживать себя скептическими соображениями типа «кому он нужен сегодня, этот Вильсон?». И принять с благодарностью то, что открывает нам уникальное фрейдовское исследование.

\* \* \*

Детство Вильсона было безоблачным. Он был у своих родителей третьим ребенком, но первым мальчиком, долгожданным, а потому особенно любимым. Слабое здоровье сына заставляло относиться к нему с особой бережностью и предупредительностью. До 9 лет Томми не знал даже букв и только в 13 лет сел за парту. До школы с ним занимался отец, вкладывавший в сына всю душу.

Семья была очень набожной. Отец — пастор-пресвитерианец, экстраординарный профессор риторики. Его призвание — нести людям слово Божье, облакая его в звучные, выразительные формы. Он проповедовал не только на кафедре, но и дома. По всякому поводу цитируя Писание, выискивал в любой житейской мелочи высший, угодный Богу смысл, и эти речи глубоко западали в душу сына. При этом отец Томми вовсе не был мрачным, давящим человеком. Наоборот, он так и лучился весельем и жизнерадостностью, шутил, а когда затевал с сыном возню, то сам словно превращался в маленького мальчика. Священником был и дед Томми по матери, воспитавший дочь покорной, молчаливой, с чрезмерно развитым чувством долга. Пять раз в день отец молился Богу, а все домашние, замерев в почтительном молчании, ловили каждое слово. Дважды в день все собирались вокруг отца, чтобы послушать Библию. Вечером он руководил маленьким семейным хором.

Конфликты, размолвки, взаимные претензии — ничему подобному не было места в атмосфере этого дома. Родители видели в Томми маленького ангела — и таким он был на самом деле. Он боготворил отца, горячо любил мать. Как мог бы он решиться хоть чем-нибудь их огорчить? Хилый, робкий мальчик, обреченный ходить в очках, Томми сторонился озорных сверстников, предпочитая играть с сестрами и другими благовоспитанными девочками. Ему никогда не приходилось защищаться или отстаивать свои права с помощью кулаков, семья зорко следила за тем, чтобы он никогда не попадал в такие ситуации. Слово отца было



для Томми законом. До 40 лет сохранилась у него привычка не принимать никаких решений, не посоветовавшись с отцом.

И только однажды эта прочнейшая, освященная традицией и взаимной любовью система отношений дала сбой, притом в самом неожиданном месте. Отец надеялся, что сын продолжит дело его жизни, став служителем церкви. Это должно было отвечать и желаниям Томми. Его самой пылкой мечтой с раннего детства было походить на своего «несравненного отца». Он так страдал, видя, что ни в чем не похож на него — сильного, здорового, красивого и самоуверенного. Однако переделать свою природу мальчик не мог, карьера была единственным способом уподобиться Вильсону-старшему. И в 17 лет Томми повесил над своей партой портрет британского премьер-министра Гладстона — «христианина и государственного деятеля» — и объявил, что построит свою жизнь по этому образцу.

Отец был озадачен, но при всем своем громадном авторитете он не смог повлиять на решение Томми. На бытовом уровне это выглядело бы обычным упрямством. Но у Вильсона эта черта имела глубочайшие корни. «До своей кончины он верил, что находится в непосредственной связи с Богом. Он считал, что Бог избрал его для великой работы, что им «руководила разумная сила вне его»... Он никогда не сомневался в справедливости своих действий. Все, что он делал, было правильным, так как его направлял Бог».

Нет сейчас нужды проследивать всю жизнь Вильсона. Скажу только, что внешне она выглядела вполне успешной, и когда в 1913 году 56 лет от роду он вошел «хозяином» в Белый дом, у него была репутация серьезного политика, человека большого ума и высоких принципов. Порой его подводило здоровье, что вредило карьере, но испортить ее не могло. Судьба подарила ему 29 лет счастливого брака с женщиной, казавшейся ему идеалом преданной, любящей жены. Когда ее не стало, Вильсон хотел последовать за ней в могилу, однако не умер, и не прошло и полутора лет, как он вновь женился, и второй брак оказался не менее удачным.

Поддерживать свой профессиональный имидж Вильсону помогали многочисленные печатные, но еще больше — устные выступления. Здесь он был неподражаем: первоклассный оратор, мгновенно вступающий в эмоциональный контакт с аудиторией, из кого бы она ни состояла. И он не просто любил выступать — в этом, по свидетельству Буллита, для него и состояла суть «государственной деятельности». Не так уж далеко, оказывается,

ушел Вильсон от тех занятий, которые были предназначены ему семейным воспитанием и волей отца.

Как и любой из нас, одним людям Вильсон внушал симпатию, другие относились к нему неприязненно или даже враждебно — но никто не насторожился, не заподозрил в нем личность ущербную, патологическую. С чего, помилуйте? Его поведение всегда выглядело адекватным, он был настойчив и упорен в достижении целей. Менял привязанности, порывал отношения с давними друзьями? Но этому всегда находились объективные причины. Вечные проблемы со здоровьем служили убедительным объяснением для частых приступов плохого настроения. Обычный человек со своим характером, со своими маленькими слабостями...

А между тем психика того, кого мир воспринимал как Томаса Вудро Вильсона, могущественного лидера великой страны, была деформирована. Чтобы разобраться в этой главной психологической проблеме Вильсона, необходимо хотя бы бегло коснуться важных положений психоанализа.

Как все в живой природе, психическая жизнь нуждается в энергии. Эту энергию, эту активную силу, действующую с момента рождения человека, Фрейд называл либидо — энергией Эроса, любви. Первая энергетическая «емкость», в которой накапливается либидо, — это любовь к себе, нарциссизм. В младенческом возрасте она остается и единственной: все источники удовольствия маленький ребенок находит в самом себе, в актах и продуктах своего тела. У большинства из нас часть либидо, по мере взросления, направляется на другие, внешние объекты, хотя элементы нарциссизма полностью ни у кого не исчезают.

Человек — существо бисексуальное. Это вторая из основополагающих аксиом психоанализа. В мире нет «стопроцентных» мужчин и женщин: в каждом присутствует и то и другое начало, только в разных пропорциях. Женственность для Фрейда ассоциировалась с пассивностью, мужественность — с активностью. Мать и отец — два человека, которых ребенок первыми учится различать в огромном мире, и они первыми становятся объектами его любви. Сначала в отношениях с ними ребенок пассивен, соответственно и разрядка его либидо происходит в момент, когда его нянчат, ласкают, наказывают, короче, когда им управляют. Затем наступает период, когда ребенку самому хочется стать активной стороной: ласкать, командовать, сводить счеты. Это открывает новые выходы для либидо.

Все, что было сказано до сих пор, относится ко всем детям без исключения. Но дальше речь пойдет только о мальчиках:

взросление будущих женщин происходит по несколько иным моделям.

Труднее всего мальчику дается разрешение противоречия между активностью по отношению к матери и пассивностью по отношению к отцу. Одна часть его души рвется к единоборству с отцом как с главным соперником, стоящим между ним и матерью. Это порождает яростный протест, отчаянные взрывы негативизма. Но в то же время не менее сильная потребность подчиняться отцу доходит до желания стать женщиной, своей собственной матерью, занять принадлежащее ей место около отца. Это отождествление своего «Я» с матерью становится в дальнейшем постоянным ингридиентом в поведении уже выросшего мужчины.

Но одновременно мальчик отождествляет себя и с отцом. Это — универсальный способ решения основной дилеммы эдипова комплекса, к нему, утверждает Фрейд, прибегают «все лица мужского пола». Отождествление с отцом удовлетворяет оба взаимоисключающие желания — нежное и враждебное. Мальчик выражает и любовь к отцу, восхищение им, и устраняет отца, включив его в себя. Образ отца становится той самой повелевающей психической силой, которую психоанализ определяет термином Сверх-Я.

Наиболее внятно приказы, поступающие из этой инстанции, звучат в тех случаях, когда мы воспринимаем их как голос совести. Это он, как реальный отец когда-то, накладывает запрет на плохие поступки, на исполнение греховных желаний и наказывает заслушание. Но еще более важной, хоть и менее заметной, Фрейд считал другую функцию Сверх-Я — позитивную, созидательную. Сверх-Я играет первую скрипку в том, как строит человек программу своей жизни, какие цели избирает, каким правилам заставляет себя следовать, чтобы их достичь.

У каждого ребенка, пишет Фрейд, имеется преувеличенное представление о величии и мощи отца. Во многих случаях это преувеличение столь велико, что тот отец, с которым маленький мальчик отождествляет себя, превращается в самого всемогущего Отца — Бога. И тогда Сверх-Я начинает требовать от человека невозможного. «Ты можешь! — твердит оно неумолчно. — Ты являешься любимым сыном Отца! Ты сам являешься Отцом! Ты — Бог!»

Круг людей, наделенный таким грандиозным деспотическим Сверх-Я, широк и очень своеобразен. Великие люди, гении, вожди соседствуют с психотиками, невротиками, несчастными обитателями сумасшедших домов. Но есть и принципиальная разница между ними. Это способность трезво оценивать факты

действительной жизни и примиряться с миром реальности. В большей или меньшей степени она присуща состоявшимся, реализовавшимся гениям. Они действительно совершают невозможное, и их ненасытное Сверх-Я хотя бы эпизодически оставляет их в покое. Если же нет такого умения «смотреть в лицо» фактам, в том числе и в самооценке, целостность личности разрушается.

Как подсказывают факты биографии Томаса Вудро Вильсона, решающее значение для этого человека имело отношение к отцу, сложившееся очень своеобразно. Отец был великой фигурой его детства. Может даже сложиться впечатление, что Вильсон каким-то образом избежал всеобщей участи, пройдя в своем психическом развитии мимо эдипова комплекса: ни в детстве, ни во взрослом состоянии к этой восторженной любви не примешивалось даже тени агрессивности и враждебности. Но Вильсон был человеком, и этим все сказано: он должен был пройти тот же путь становления, что и все другие люди одного с ним пола. Его пассивность по отношению к отцу была и впрямь огромной, но уже в силу этого немалый либидоизный заряд должен был сосредоточиться и в другом «аккумуляторе», питающем агрессивность к отцу. И если эта агрессия не находила выхода ни в мыслях, ни в действиях сына на протяжении всех 68 лет его жизни, то объяснение может быть только одно: она нашла для себя иные, косвенные, кривые, если так можно выразиться, пути, которыми изобилует бессознательная жизнь человека.

Эта особенность глубинных детских переживаний наложила сильнейший отпечаток на всю последующую жизнь Вильсона. Комфортно он чувствовал себя только в окружении женщин или мужчин, стоящих ниже его по интеллекту и общественному положению. С теми же людьми, на которых он должен был смотреть снизу вверх — как на отца, — ему было трудно поддерживать дружеские отношения. Более того, среди людей, с которыми ему приходилось взаимодействовать, он всегда находил себе врага, к которому привязывался надолго нерушимыми узами ненависти. Вся жизнь подчинялась единственной цели — борьбе с этим заместителем отца, в которой необходимо было достичь абсолютного торжества. Все силы поработанного рассудка уходили на то, чтобы дать этой борьбе приемлемое для здравомыслящих людей объяснение.

Своеобразие отношений маленького Томми с отцом сформировало у него крайне могущественное и возвышенное Сверх-Я. Под его воздействием физически слабый, болезненный юноша поставил перед собой цель, для него на первый взгляд нереаль-

ную, — стать государственным деятелем, и только мощь бессознательных стимулов, скрытых в Сверх-Я, позволила ему этой цели достигнуть. Но той единственной награды, которой могут быть по достоинству увенчаны такие сверхчеловеческие усилия — счастья победы, гордости за себя самого, — несчастный Вильсон так и не получил. Сверх-Я, построенное на образе Бога (а в данном случае так, несомненно, и было), никогда не может быть удовлетворено. Минимальная радость — максимум того, что довелось испытать Вильсону, хотя в его судьбе было немало поистине триумфальных эпизодов. Но всегда уже на второй минуте его начинало глотать мучительное недовольство собой.

Еще один тяжелый, но закономерный результат бессознательного самоотождествления с Богом — это неспособность смотреть критически на себя и на свои поступки. Заблуждение — самое большее, в чем был способен упрекнуть себя Вильсон. Но и то заблуждение невольное, постигшее его по чьей-то вине. Ведь Бог не может быть неправым! Отсюда — несовместимая с моралью склонность Вильсона ко лжи, которая, по существу, не была ложью, а означала уход от мира реальности в мир воображаемых фактов, удовлетворяющих требованиям Сверх-Я.

Была и еще одна глубокая психологическая причина, обусловившая опасное для любого человека, а уж тем более для крупного политика, отношение Вильсона к фактам. Счастливые минуты в небогатой положительными эмоциями жизни были связаны для него с публичными выступлениями. В эти моменты он переживал всю полноту отождествления себя с отцом, произносящим свою проповедь. Вильсон старался следовать тем образцам ярких и образных обобщений, какие так восхищали его в речах отца, профессора риторики, и если эти обобщения не имели ничего общего с действительностью, то тем хуже было для действительности. Факты, как известно, вещь неудобная. Придавая им значение, Вильсон не мог бы с таким упоением отдаваться своей страсти... Поэтому, полагает Фрейд, нет ничего удивительного в том, что он развил в себе привычку забывать факты, которые ему «не подходили». Реальному миру пришлось очень дорого заплатить за ту чрезмерную любовь, которую возбудил преподобный Джозеф Раглес Вильсон в своем сыне.

«На протяжении человеческой истории много невротиков внезапно приходили к власти, — резюмирует Фрейд, и это один из тех отрывков в книге, где его единоличное авторство угадывается безошибочно. — Нередко в жизни требуются в большей степени те качества, которыми обладает невротик, нежели те качества, которыми обладают здоровые люди. Поэтому с точки зре-

ния достижения «успеха в жизни» психическое расстройство в действительности может быть преимуществом. Более того, невротический характер Вильсона очень хорошо удовлетворял требованиям того времени. Америка, а затем и весь мир нуждались в пророке. И мы не должны забывать, что Вильсон обладал этими качествами вследствие своих дефектов... Если его бессознательная уверенность в том, что он — Бог, поднимала его над реальностью, то она же порождала могучую уверенность в себе; если нарциссизм делал его сосредоточенным на своей особе, что помогало поддерживать небольшой запас физической энергии и использовать все то, что у него было, для собственного продвижения; если его громадный интерес к публичным выступлениям был до некоторой степени смешным, то он же породил способность влиять на толпу словом; если Сверх-Я терзало его, требуя, чтобы он совершил невозможное, то оно же привело его к значительным свершениям».

Но невроз является непрочной основой для выстраивания жизни. Рано или поздно перед невротиком встает задача, непосильная для его душевного устройства. Так случилось и с Вильсоном. «Те качества, которыми обладал он вследствие своих недостатков, привели его к власти; но те дефекты, которые сопутствовали этим качествам, привели его в конечном счете к огромному фиаско».

В 1918 году, собираясь в Европу на конференцию союзников, Вильсон чувствовал себя посланцем Бога, избравшим его, чтобы принести на Землю великий мир. Он объехал несколько европейских столиц. Везде его приветствовали толпы, с которыми он обменивался воздушными поцелуями, отчего бредовое состояние толпы и его собственное состояние переходили в экстаз. Но к предстоящим сложнейшим переговорам Вильсон был подготовлен очень слабо. Он смутно представлял себе ситуацию на континенте, а собрать, как сказали бы мы теперь, сильную команду из крепких экспертов посчитал излишним. Даже личного секретаря с собой не взял. И все, что должен был бы выполнять технический аппарат, делал сам, отчего голова его, в которой и без того царила ужасающая неразбериха, все время была переполнена тысячью второстепенных дел.

Военные действия еще не были прекращены, когда Вильсон уже сформулировал позицию США, по сути, свою позицию — какими должны быть условия прочного и справедливого мира. Как представляло болезненное сознание Вильсона, осталось одно — высказать слово Божье. Как только государственные де-

ятели, собравшиеся в Париже, его услышат, красота и величие сказанного тут же покорит их сердца.

Неподражаемая ирония судьбы заключалась в том, что эти условия, в проработке которых участвовало немало светлых умов, и в самом деле давали Европе шанс. Но ни Англию, ни Францию предложения Вильсона не устраивали. Они чувствовали себя победителями и хотели сполна получить все, ради чего война ими и затевалась. Красноречие Вильсона нисколько не трогало его партнеров по переговорам — Клемансо и Ллойд Джорджа. Заставить их принять разумный план можно было только за счет жесткого давления. Обстоятельства складывались так, что президент США имел реальные возможности подчинить ход конференции своей воле...

Но все это, по мнению Фрейда, требовало длительной борьбы. А глубокая женская основа натуры Вильсона не позволяла ему пустить в ход силу. Как всегда бывало у этого человека, раскусок находился в услужении у бессознательных влечений, избранных хитроумные теории, доказывающие неприемлемость жестких методов давления. Если он окажется слишком неуступчив, конференция провалится — снова начнется война. В Европе вспыхнет революция. Европа попадет под власть большевизма... В этих рассуждениях Вильсон представал мудрым, дальновидным политиком. Но Буллит приводил прямое доказательство, что эти соображения были не более чем защитной реакцией психики, скрывавшей от самой себя неудобоваримые факты. Стратег, стремившийся обезопасить мир от революции, должен был обеими руками схватиться за предложение советского правительства. Ленин был готов заплатить за мир отказом от Финляндии, Польши, Крыма, Кавказа, Урала, Сибири и т. д. — проще сказать, какая территория осталась бы у советской республики, а территория эта была бы лишь немногим больше, чем в эпоху Московского княжества. Выражалась также и готовность принять на себя долги царской России. Естественно, для большевиков это было всего лишь тактическим отступлением, чтобы выжить. Но оно открывало для противников большевизма возможности, которые ни в коем случае нельзя было упускать. Вильсон же его попросту проигнорировал.

«Редко в человеческой истории будущий ход мировых событий зависел от одного человека так, как он зависел в то время от Вильсона», — и редко, напрашивается добавление, этот человек оказывался настолько несостоятельным в осуществлении своих собственных намерений.

Маленький, робкий Томми Вильсон, заключенный в телес-

ную оболочку зрелого мужчины, президента США, отступил под напором своих оппонентов, лидеров Франции и Англии. Эти политики, Клемансо и Ллойд Джордж, не были дальновидными стратегами, прозревающими будущность Европы и мира, да они и не ставили перед собой таких задач. Их усилия были сосредоточены на одном: выжать максимум для своей страны из сложившейся ситуации, общипать, как только возможно, Германию, раз уж такой шанс им представился. А при этом они-то по своей внутренней сути были мужчинами, ничем особенно не выделяющимися, но хорошо умеющими пользоваться приемами мужской борьбы.

Когда силы настолько не равны, нет даже нужды наносить слабейшему сопернику чувствительные удары. Достаточно встать в воинственную позу и выразительно взмахнуть здоровенным кулаком, что и было, в сущности, проделано. Не Вильсон давил, а Ллойд Джордж и Клемансо на него давили, угрожали, шантажировали. Переговоры длились несколько месяцев: стороны демонстрировали неуступчивость, в том числе и Вильсон, постоянно твердивший о том, что США ни за что не откажутся от своего мирного плана. Но это была уже призрачная видимость.

Исследуя отдельные реплики американского президента, промелькнувшие в его письмах слова, Фрейд и Буллит приходят к выводу, что Вильсон капитулировал значительно раньше, чем это стало свершившимся фактом. С того дня вся его душевная энергия шла не на отстаивание провозглашенной позиции, а на сокрытие от всех, и от себя первого, позора неизбежной развязки.

Несоответствие Версальского договора первоначальным намерениям Вильсона было таким разительным, таким вопиющим, что не заметить его мог разве что слепой. И Вильсон ослеп. Зрения, как способности воспринимать и систематизировать жизненные факты, этот человек лишился окончательно. У него всегда были нелады с объективной реальностью, но теперь они приняли характер настоящего бегства от действительности. Невроз, которым Вильсон страдал всю жизнь, на глазах перерастал в психоз.

После возвращения из Европы Вильсону, естественно, пришлось много выступать, рассказывая о ходе мирной конференции, ее результатах. И в каждой новой речи он забирал все выше, рисуя чудеса, которых он жаждал, но так и не сумел совершить. Самоуверенность Вильсона зашла так далеко, что он стал утверждать, будто ведомые им великие державы отказались от всяческих территориальных претензий, хотя текст договора отчетливо говорил об обратном исходе.



Такой грандиозный самообман требует для своего поддержания не менее грандиозных психических ресурсов, какими Вильсон не обладал, поэтому для него все закончилось полным крахом. Через три месяца после подписания Версальского договора Вильсона разбил паралич. Он прожил еще четыре с небольшим года, но уже страдая от тяжелой болезни мозга. Он стал, как пишут Фрейд и Буллит, «патетическим инвалидом, ворчливым стариком, полным ярости, слез, ненависти и жалости к себе».

Президентский срок Вильсона не истек. Номинально еще целых 18 месяцев после удара он оставался главным должностным лицом США, но это была уже фикция. Государственная машина крутилась сама по себе, а решения, которые никто не вправе был принимать, кроме президента, исходили от ближайших помощников. Среди них выделялась миссис Вильсон, хотя она не имела никакого официального статуса, и хуже того — ее интеллектуальных возможностей хватало разве что для распоряжения собственной кухней...

Чем меньше оставалось у Вильсона жизненных сил, тем больше он приближался к маленькому Томми, первооснове своей личности, а под конец даже совсем как будто забыл о времени своего президентства и обо всем, что было с ним связано. Актуальными остались только воспоминания детства и ранней юности, истории, главным персонажем которых был «несравненный отец».

\* \* \*

Итак, перед нами человек, нелепый и беспомощный, не способный управлять самим собой, не осознающий своих мотивов, имеющий самые превратные представления о собственном характере, воспринимающий с огромными искажениями других людей и вообще все то, что зовется жизнью.

Постойте, но ведь все, к чему пришел Вильсон, относится к признакам душевного расстройства. Получается, крупнейший государственный деятель, заправлявший судьбами всего мира, был попросту психически болен? Фрейд понимал, что такой вопрос неизбежно возникнет у читателя, и постарался заранее дать на него подробный ответ. «Для суждения о психических явлениях категория «нормальный — ненормальный» является такой же неадекватной, как и предшествующая ей всеохватывающая категория «хороший — плохой». Лишь в подавляющем меньшинстве случаев психические расстройства могут быть прослежены до воспалительных процессов или до выявления токсических веществ в организме. В большинстве случаев количественные фак-

торы вызывают лавину патологических результатов: такие факторы, как чрезмерно сильные стимулы, воздействующие на определенную часть аппарата психики, большая или меньшая выработка тех внутренних секретов, которые незаменимы для функционирования нервной системы, временные расстройства — раннее или запоздалое развитие психической жизни».

В этом замечании о стимулах, которые в зависимости от силы и настоятельности способны порождать добро и зло, нормально функционирующую личность и личность патологическую — суть психоаналитического подхода к явлениям психической жизни. В тех глубинах душевного естества, в которые позволяет заглянуть психоанализ, нет различий между людьми, у которых «с головой все в порядке», и странными, чужаковатыми субъектами, вызывающими у окружающих недоумение.

Маленький Томми потому и остался до седых волос ребенком, что не сумел выработать в себе важнейшего качества, которое Фрейд называет коротко — умение смотреть в лицо фактам. Реализм восприятия — свойство крайне обременительное. Правда редко бывает удобной и приятной. Она заставляет терзаться угрызениями совести, сознанием собственного несовершенства, досадой по поводу совершенных ошибок. Но это не напрасные жертвы. Взамен человек обретает то, за что не жалко заплатить никаким душевным комфортом, — стойкость и бесстрашие перед лицом судьбы.

«Те факты, которым Вильсону приходилось «смотреть в лицо», были, конечно, крайне неприятными: он призывал своих соотечественников следовать за ним в крестовом походе за мир. И они последовали за ним храбро и самоотверженно. Он обещал как им, так и врагу, да и всему человечеству, заключить абсолютно справедливый мир. Он выступал как пророк, готовый пойти на смерть ради своих принципов. И убежал от борьбы. Если (хотя бы очень робко) вместо успокаивающих рационализаций Вильсон сказал бы себе: «Я нарушил свои обещания, так как опасаясь борьбы», он бы не распался душевно как личность, что с ним произошло после апреля 1919 года...»

Таков лаконичный, но исчерпывающе точный диагноз. Согласно выводу Фрейда Вильсон был психически болен. Причиной стала чудовищная травма, и даже не сама ее тяжесть, а неспособность правильно на нее отреагировать. Не будь этого, Вильсон мог до конца оставаться тем, кем он был всегда, то есть неврастеником, а попросту — человеком с необычным, странным, трудным характером. Но в точном смысле слова — не больным.

Если бы Вильсон умел смотреть в лицо фактам... Парадоксально, но именно политическая деятельность укрепила эту пагубную привычку. Сфера политики, особенно в том виде, какой она приняла в XX веке, — идеальное место для того, чтобы бессознательные комплексы могли расцветать самым пышным цветом, встречая при этом минимум преград. Никакой другой вид деятельности не дает таких безграничных возможностей для того, чтобы человек мог считать своей личной заслугой все положительное, что достигается трудом великого множества людей, а вину за все неудачи и несчастья взваливать на кого-то другого или на слепое стечение обстоятельств.

Самое время вспомнить сейчас, что Вильсон был не просто высоким должностным лицом, наделенным огромной властью. Он был демократически избранным президентом, причем народ дважды подтвердил свое доверие этому человеку. Сказать: «он обманул ожидания народа» или «народ обманулся в своих ожиданиях» — по смыслу одно и то же, но акценты явственно сдвигаются. Пророк на поверку оказался «призраком», но люди-то этого не знали, и их поведение было вполне адекватным той ситуации, которую они считали реальной. Они восприняли призыв своего политического вождя и последовали за ним «храбро и самоотверженно» — в духе заявленной им самой отваги и готовности к тяжким испытаниям. То, что Вильсон был слишком слаб для принятой им на себя миссии, открылось значительно позже — и то не всем.

Он и в самом деле был политиком от Бога, со всей своей неадекватностью, со всеми комплексами. Сымитировать можно многое: честность, щедрость, даже ум, но нельзя притвориться пророком, духовным лидером народа, когда нет в природе человека соответствующих качеств. Вильсон же, по всей видимости, ими обладал.

Так что же такое — призвание политика?

Если исходить из обыденных представлений о психической норме, политическая деятельность, как никакая другая, должна быть ограждена от проникновения несовершенных в этом плане персонажей. Но это требование никогда не соблюдалось, да и едва ли окажется исполнимым.

«Великие достижения столь часто совершаются людьми с психическими отклонениями, что невольно испытываешь искушение предполагать, что они неотделимы друг от друга», — констатирует Фрейд. Он был далек от максимализма своих коллег, принадлежавших к школе Ломброзо, считавших безумие непременным спутником гениальности. Но элементарные подсчеты

показывают, что доля «великих людей, удовлетворяющих требованиям нормальности», во все времена была подозрительно мала. Впрочем, она охватывала гениев, прославившихся в науке, литературе или искусстве. Что же касается вождей, политических или духовных, то они в этом кругу практически не встречаются.

Вильсон — никто по сравнению с Гитлером, хотя, если верить Фрейду и Буллиту, не будь одного, не было бы и другого. А разве не просматривается между ними глубокое внутреннее родство, хотя бы в том, что личность каждого из них дает богатейший материал не только историку, но и психиатру? Над всеми, кто писал о Гитлере, фатально повисала необходимость сказать нечто определенное о том, был ли этот человек психически болен или его бьющая в глаза необычность не являлась следствием патологии. И точка в этой бесконечной дискуссии так и не была поставлена, как, к слову сказать, и в таком же долгом споре о том, был ли безумен Иосиф Сталин.

Завершая реконструкцию личности 28-го президента США, Фрейд ставит своего героя в длинный ряд глупцов, мечтателей, поработанных иллюзиями, но играющих громадную роль в истории человечества. Обычно они сеяли хаос, но не всегда. Такие лица оказывали далеко идущее воздействие на настоящее и будущее, они способствовали многим важным движениям культуры и совершали великие открытия. Сколько бы ни восставал против этого наш разум, получается так, что гармоничная личность с нормально функционирующей психикой не может обладать этой феноменальной внутренней силой, если угодно — харизмой. Не появляется у такой личности ощущения собственной высокой миссии, не дано ей властвовать над коллективным бессознательным. Какой бы ни была причинно-следственная связь между политическим призванием и психической патологией, но по историческому пути они следуют рука об руку, и потому, наверное, перечень выдающихся злодеев выглядит более внушительным, чем список великих благодетелей человечества.

## **ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА**

### **Тот, кого никто не любит**

Кто он? Ловкач, ведущий абсолютно точную и тонкую игру? Или, наоборот, не имеющий собственного лица инструмент грандиозной мистификации, расчищающий дорогу для своих тайных хозяев? Или просто недалекий, психически не уравновешенный человек, случайно вознесенный на недостижимую высоту

силой, лично к нему отношения не имеющей, — злобой и яростью потерявших терпение людей?

Появление Жириновского перед публикой вызвало дружный смех. Шут, паяц, клоун! «Я спасу Россию! Я накормлю Россию! Я верну России утраченное величие!» Сама эта бутафорски-горделивая поза, это безудержное хвастовство вызывали смех. И уж тем более — способы, какими он намеревался все это исполнить. Откуда, например, возьмется продуктовое изобилие? «Очень просто: введу войска в бывшую ГДР, полтора миллиона человек, побряцаю оружием, в том числе и ядерным, — и все будет».

Бог ты мой, да у нас в любой очереди за водкой — а это как раз было время жесточайшего дефицита, и у винных магазинов скапливались тысячные толпы — можно было таких спасителей отечества набрать не меньше десятка! С ним даже невозможно было спорить. Можно было только упражнять на нем свое остроумие. Или недоумевать: как мог попасть этот, трудно даже сформулировать кто, в среду, где вершится судьба страны?

Но не успели оглянуться — и все изменилось. Шут стал государственным деятелем первой величины. Его влияние несомненно. Он управляет нами. Он не спасает, не кормит Россию и былую славу ей не возвращает. Но осуществление самых серьезных государственных проектов часто напрямую зависит от его воли.

А мировая политика? В течение нескольких лет все ведущие стратегии постоянно держали в уме «фактор Жириновского» и включали его в самые важные расчеты.

Жириновский стартовал с самого низкого для человека с высшим образованием и специальностью уровня. Он никогда никем не руководил и ничем не управлял, поэтому когда он говорил: «Я могу быть президентом», за этими словами ничего не было. Нечего взять в руки. Нечего обсуждать.

Партия Жириновского? Она также представляла собой нечто эфемерное.

В силу профессии круг моего общения безграничен. Больные и родственники больных, коллеги и больные коллег и тоже со своим окружением, к тому же я руковожу медицинским центром, а значит, должен повседневно соприкасаться с самыми неожиданными организациями и людьми — от городского начальства до мафии, контролирующей наш квартал на Арбате. Но мне не приходилось встречать живого члена ЛДПР!

Была, правда, обнародована программа этой партии. Но к высказываниям Жириновского она никакого отношения не

имела, как и они к ней. Да и в каком страшном сне вообще может совместиться такое: демократ, который говорит, что его целью является диктатура? Либерал, обещающий: когда приду к власти, одних демократов расстреляю, остальных посажу?

О Жириновском в общей сложности написаны сотни томов. Но чем больше о нем говорилось, тем меньше было ясности. Предмет обсуждения ускользал, как призрак, который можно видеть, чувствовать, но нельзя потрогать руками.

Итак, что-то огромное, невероятно объемное, не имеющее реального веса. Пустота, обладающая видимыми признаками физического тела. Больше всего похоже на гигантскую надувную фигуру из тех, что в некоторых странах любят запускать в небо во время карнавалов.

Но к смеху примешивался все возраставший страх. Мне несвойственно впадать в панику. Но я не мог спокойно смотреть на руки Жириновского, беспокоило, безостановочно двигающиеся, живущие словно бы отдельно от него. А не зажата ли в них судьба — моя, моей семьи, всех нас? Пустота приобрела огромный и абсолютно реальный вес благодаря миллионам голосов на выборах.

Никогда не забуду появления Жириновского в Кремле, откуда 12 декабря 1993 года, в день первых выборов в Государственную Думу, транслировалось грандиозное шоу под многозначительным названием «Встреча Нового политического года». Страна должна была путем голосования подтвердить, что «Выбор России» — это и есть без кавычек выбор России. Но вместо этого она ясно показала, что всем демократам и реформаторам предпочитает Жириновского.

Он вступил в зал как триумфатор. Его окружала свита, состоящая из подтянутых молодых людей. Они излучали ту же несокрушимую энергию, но — в соответствии со своими функциями и местом — как бы несколькими тонами ниже. Он сел за стол и первые сведения о своих успехах встретил сидя. Мальчики его кричали, как болельщики на стадионе, а он величаво поводил головой и улыбался, театрально аплодируя — не то себе, не то народу. Впервые я видел на его лице улыбку: широко раздвинутые губы и холодный, не ищущий других глаз взгляд.

Потом он встал, заходил по залу — энергичной, хозяйской походкой, как бы инспектируя свои новые владения. Мы видели, как он подходил к своим противникам. С той же улыбкой, в которой никакого участия не принимали глаза, тыкал чуть ли не в лицо им пальцем. Мы слышали, как одних он обещал немедленно уничтожить («ты у меня первым в списке на расстрел»),

других — сгноить в тюрьме или на каторге. Но и этого в конце концов оказалось мало для выплеска переполнявших его чувств. Он пустил в ход кулаки.

«Вы хотели встретить Новый год? — словно бы говорил Жириновский всем, кто приник к экранам. — Ну что ж, встречайте!»

В этот момент я окончательно понял, что главные загадки Жириновского не в том, есть ли у него тайные покровители, не в том, кто поддерживает его финансами: Саддам Хусейн? Германские неонацисты? Наш родимый военно-промышленный комплекс? Главные его загадки лежат не в области фактов, событий, действий. Перед нами редкостный, искусно зашифрованный психологический феномен. Пожалуй, только с помощью психологического анализа можно попытаться его понять.

Картина рождения Владимира Жириновского вырастает до символа. Мать не поехала вовремя в родильный дом, словно бы до последней минуты отказывалась признавать беременность. Вызвали врача домой, но он опоздал. Мальчик родился сам — вопреки всему и всем назло...

Я хорошо помню то время. Война только что кончилась, но по тяжести начало мирной жизни ей не уступало. В годы войны в Алма-Ату хлынул поток эвакуированных, и даже отдельные квартиры превратились в коммунальные. Мать Жириновского поселила у себя родственников, которые повели себя хуже, чем чужие. Она даже кухней не могла пользоваться, стряпала в коридоре на примусе. Продукты и все необходимое распределялось по карточкам, пайки были мизерные. С появлением младенца — пятого ребенка в семье — трудности должны были резко возрасти. Даже если предположить, что он был желанным, трудно представить, что хотя бы периодически на измученную женщину не накатывали приступы страха и отчаяния, заставлявшие ее проклинать беременность. Передаются ли такие импульсы малышу в утробе непосредственно или воздействуют окольными путями, в точности неизвестно. Но в силе и неотвратимости материнского проклятия я убеждался не раз.

По словам Жириновского, первое из осознанных им ощущений — «для меня нет места в этом мире». В самых бедных семьях младшим детям выгораживают хотя бы подобие своего уголка, колыбели, кровати. Маленький Вова не имел ничего. Ему стелили на ночь на диване, которым днем пользовались все, и место освобождали неохотно. Засыпал ребенок поздно, при включенном свете, под шум голосов. В самых бедных семьях заботятся,

чтобы маленькие дети были сыты. Жириновский не помнит момента, когда бы он не был голоден.

Квартира была плотно заселена. Все мешали друг другу. Несколько раз Жириновский упоминает об отвратительном зловонии, исходившем из перегруженного, не успевавшего проветриться туалета: очевидно, ребенка с его обостренным обонянием этот запах терзал не меньше, чем постоянно сосущий голод. В его описании этот натуралистический штрих читается как главный опознавательный знак родительского дома.

Что значит быть среди себе подобных самым маленьким и слабым? Есть человеческий закон: чем тяжелее условия, тем более зримо проявляются привилегии, установленные для детей. К такому пониманию человечество пришло сравнительно недавно, на достаточно высоких ступенях эволюции. Если этот закон не срабатывает, в силу вступает более ранний, соответствующий более низкой стадии очеловечивания: я сильнее, я прав, я уже кое-что, а ты пока никто, и что из тебя получится, еще не известно. В такой ситуации дети становятся козлами отпущения, попадая в фокус общего негодования и ненависти.

В два года мальчика отдали в детский сад, где дети жили всю неделю, и только на выходные их забирали домой. Еще одна серьезная психологическая травма. Мне не встречались люди, для которых бесследно прошло бы это отчуждение от матери в возрасте, когда на ней замыкается весь мир.

Обычно даже самое неласковое детство оставляет в памяти отрадные штрихи, — на то оно и детство. В рассказе Жириновского даже вскользь не мелькает ничего подобного: ни одного светлого пятна, ни одного доброго лица, обращенного к ребенку, имевшему все основания сказать о себе словами лермонтовского Демона: «Я тот, кого никто не любит».

Проанализируем систему образов, встающих в рассказе. В центре — рассказчик. Это естественно. Рядом с ним — мать. Жириновский пишет о ней так, словно бы еще тогда, крошкой, видел ее глазами взрослого, умудренного опытом человека. Ей чудовищно не везло. Выполняя материнский долг, она заботилась, чтобы мальчик выжил. Но на большее — тепло, ласку, внимание — ее просто не хватало.

Дважды овдовев, мать привела в дом молодого негодяя — студента-недоучку, много моложе себя. Этот ничтожный субъект издевался над обоими, пропивая последние деньги. Из столовой, где она работала, мать приносила еду — подкормить сына. Вкус сухих, как подметка, котлет запомнился на всю жизнь, но это



была еда, спасение от голода. Когда же появился этот молодой как бы муж, котлеты стали доставаться ему.

Обида была так сильна, что за много лет не успела остыть. Но не мать виновата перед мальчиком, чей голос звучит в рассказе. Виноват он, тот парень. И вся ненависть обращена против него одного. Мать же — в таком точно страдательном положении, что и сын. Рассказчик жалеет себя и ее совершенно одинаково.

Но пойдем дальше. Кто еще, кроме матери, составляет окружение мальчика? Братья и сестры? О них ничего не сказано. Соседи — это злобные «они», отнявшие у нас «нашу квартиру».

Важную роль в детских воспоминаниях часто играют друзья. Но их, говорит Жириновский, сам тому удивляясь, у него не было. Со сверстниками он не сходилась.

И любимых учителей у него не было.

Итак, от рождения — один. Один среди врагов или равнодушных.

А где же отец? Это особая история.

Когда Жириновский уже испытывал свои силы в Государственной Думе, произошло событие. В архивах алма-атинского загса были обнаружены документы, проливающие свет на происхождение Жириновского.

Оказывается, человека по имени Вольф Андреевич Жириновский никогда не существовало в природе. Был другой — Вольф Исаакович Эйдельштейн. Именно он вступил в брак с Александрой Павловной Жириновской, носившей фамилию своего умершего мужа, а затем был зарегистрирован при рождении ее сына Владимира как его отец. Даты на свидетельствах показывают, что, выходя замуж, Александра Павловна уже была беременна. Это может не значить ничего, но может скрывать за собой очень многое.

Все воспоминания детства Жириновского: его отверженность, отъединенность от других детей, аффективность старших родственников, даже этот немислимый, постоянно терзающий его голод — все в этом случае приобретает дополнительную, обостренно драматическую окраску.

До совершеннолетия мальчик, как и положено, носил фамилию родного отца — Эйдельштейн. Затем он в установленном законом порядке сменил ее на фамилию матери и стал Жириновским, но при этом с отчеством Вольфович. Получается, что он как бы поменял и отца, офекшись от настоящего, но не полностью. Это еще больше усилило промежуточное, неопределенное положение полукровки, в которое наш герой был поставлен самим фактом своего рождения.

Когда Жириновский впервые услышал слово «еврей»? Каким образом дано было ему понять, что оно имеет прямое отношение к нему? Через какие реалии, доступные детскому восприятию, до него донеслось, что быть евреем — плохо, постыдно и крайне невыгодно? Не забудем, дело происходило на рубеже 40-х и 50-х годов, когда антисемитизм занимал крепнущие с каждым месяцем позиции в государственной политике, вынашивалась программа «окончательного решения еврейского вопроса» в сталинском варианте, от гитлеровского отличавшемся разве что более кустарным техническим обеспечением.

Если бы Жириновский идентифицировал себя с отцом-евреем, живым или покойным, это обрекло бы его на многочисленные трудности, практические и психологические. Но это было бы не худшим для него вариантом. Не стоит приbedняться зря. «Мы — евреи» несет в себе не только искушение для преследователей, но и совсем не слабую психологическую защиту для преследуемого. Есть на что опереться в испытаниях, есть на чем укрепить готовый пошатнуться дух.

Жириновский эту возможность отверг. Он решил отменить или, по крайней мере, сделать как можно менее заметным свое еврейство. Так поступали очень многие. Облегчало ли это судьбу? Не уверен. Те, кому ведать надлежало, все равно знали, кто есть кто, и если куда-то положено было евреев не пропускать, то Михаил Григорьевич получал от ворот поворот точно так же, как Мендель Гиршевич. И наоборот: спокойное достоинство евреев, не желавших «перекрашиваться», внушало уважение даже записным антисемитам.

Но даже если отречение приносило какие-то бытовые выгоды, они никак не могли уравновесить тяжелейших психологических последствий.

Одним из важнейших психологических механизмов, формирующих личность, Фрейд считал идентификацию. Из всех, с кем ребенок сталкивается, он бессознательно отбирает тех, кто имеет для него особое значение, и как бы помещает их внутрь своего духовного мира, уподобляясь им и перенимая их черты.

Человек может не улавливать эти процессы, но они настолько важны, что даже когда идентификация устаревает и становится неактуальной, ее объект запечатлевается в памяти. В том особом состоянии души, в которое мы погружаемся, сосредоточившись на прошлом, первыми обычно оживают именно эти наши бывлые кумиры.

В книге Жириновского, мы видим, это место остается пус-

тым. Но может ли быть, чтобы человеческое существо сформировалось, минуя этот важнейший этап психического созревания?

Мой опыт заставляет ответить на этот вопрос утвердительно. Да, это ненормально, неестественно, но так бывает — и чаще всего у нелюбимых, эмоционально отверженных детей. Точнее сказать, идентификация все равно налицо, но как бы с обратным знаком. Интимный мир «Я» складывается не по принципу уподобления, а, напротив, на пике отмежевания. Не «я такой же», а наоборот — «я не такой». Я назвал этот механизм дистинкцией (от латинского *distinction* — различие, различение, отмежевание).

В обстоятельствах раннего детства у Жириновского было все, что необходимо и достаточно для вызревания такой натуры. И тогда проясняется, почему так своеобразно обрисовано в книге его окружение. В нем ярче всего — и строго «по правилам» — прорисованы именно те, кто вызывал в мальчике нелюбовь, отвращение, страх, кого, вполне допустимо, в своих детских фантазиях он мечтал уничтожить.

Я долго размышлял над одним поразительным признанием. Жириновский говорит, что ничего не знал о Сталине до того, как услышал, что тот тяжело болен и умирает. Поверить в это невозможно. Детская память Жириновского феноменальна. Он помнит себя двухлетним в детском саду, помнит комнату, в которой там жил, помнит девочку, которую при нем высаживали на горшок. «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» — из памяти выскользнуло?

Когда я при первом чтении наткнулся на это место, то даже начал прикидывать, с какой целью автор так откровенно и простодушно меня обманывает, на какую реакцию провоцирует. Но потом, продвинувшись чуть дальше в понимании этого характера, понял: возможно, это правда — и именно следствие механизма дистинкции.

Все советские дети были «детьми Сталина». В отличие от реального, биологического отца, в котором даже робкий детский взгляд часто улавливает слабости и несовершенства, тот, символический, был воплощением безупречности и всемогущества. Он не мог ошибаться. Если две любви — к реальному отцу и к социальному — вступали (конечно, уже не в детсадовском возрасте) в конфликт, первая должна была уступить, чем бы это ни обернулось в действительности: отдалением от родного отца, отречением от него или даже осуждением его на смерть. Однако у мальчика с дистинктной природой психики этот нажим вполне мог — даже должен был, пожалуй, вызвать парадоксальную реакцию

абсолютного отрицания: «Я не только его не люблю — он просто для меня не существует!»

Сталина постигла та же судьба, что и родного отца. Он был символически уничтожен — забыт.

Однако тут возникает затруднение. Перебирая мысленно людей с дистинктными характерами, никак не могу поставить в их ряд Жириновского. Те проходят свой жизненный путь в крошечном одиночестве, не способные даже к поверхностным контактам. Все, кто с ними сталкивается, испытывают к ним острую, часто инстинктивную антипатию. Никакое дело не дается им в руки, потому что любая работа требует установления социальных связей, а они могут только отталкиваться. Доходит до фактической, а часто и формальной инвалидности — невозможности элементарно прокормиться.

Жириновский тоже фантастически одинок. Как признался он с некоторым даже недоумением, у него никогда не было друзей. Он ничего не имел бы против, если бы они у него появились: все люди с кем-то дружат, и это хорошо. Но так уж складывалось — жизнь сталкивала со многими, но сближения ни с кем не получалось.

Особая тема и в реальной жизни, и в попытках реконструкции личности — любовь. Отношение к женщинам, поскольку речь идет о мужчине. Здесь тоже вырисовывается странная картина.

Никто бы не заметил, если бы в знаменитой книге «Последний бросок на Юг» Жириновский обошел молчанием этот пласт своей жизни. Книга ведь явно не исповедь, не попытка разобраться в самом себе. Но тема эта для автора очень актуальна, она его не отпускает. Живое воображение Жириновского легко выдает на поверхность все впечатления его жизни — начиная с самого раннего детства, когда мальчиков еще не считали необходимым даже в самые интимные моменты отделять от девочек. Жириновский, как уже сказано, помнит, как ночью в детском саду их высаживали на горшок — и что он при этом чувствовал. Не все могут и не все решаются так точно назвать момент пробуждения сверххранней детской сексуальности. Но когда ей пришлось время развиться, взять на себя управление поступками, обнаружилась какая-то удивительная вялость.

Он смотрел на сверстниц, они смотрели на него... Но что-то не срабатывало. Ни юношескими платоническими романами, ни первыми, пусть робкими попытками дать волю чувственности эти переглядывания не разрешались.

Сорокалетний Жириновский, оглядываясь назад, пытается найти этому объяснение: таким было воспитание, так крепко

вколачивались в голову молодежи заповеди и запреты. Но здесь он явно грешит против правды. В те годы в молодежной среде буквально навязывались ранние и смелые эксперименты в сфере любви. Очевидно, другие какие-то действовали тормоза. И не только в юности. Словно пожимая плечами при виде себя самого, Жириновский описывает свою личную жизнь. Вроде бы все, как у людей: есть жена, сын, но это как бы между прочим. Могло быть, могло не быть.

Некогда аналогичным вопросом задавался Фрейд, пытаясь проникнуть в тайны духовной жизни великого Леонардо да Винчи. Почему гениальный художник, способный, как никто, прочувствовать женскую красоту и окруженный множеством женщин, ни к одной из них не смог проникнуться любовью? Есть свидетельства, что интерес Фрейда к этой теме не был отвлеченным: в Леонардо Фрейд угадывал себя. Будучи внешне вполне благополучным мужем и отцом, Фрейд понимал, что у него все это не так, как у других людей, проходивших перед ним в таком множестве. Он не мог сказать про себя, что холоден и бесстрастен, но не женщина, не любовь к ней стояли в центре его переживаний. Разгадка, предложенная Фрейдом, слишком глубока, чтобы упрощать ее коротким пересказом, но общий смысл сводится к тому, что не у всех людей либидо находит выход в сексуальности. В иных случаях происходит его сублимация («очищение», «возвышение»), и весь этот могучий душевный заряд устремляется в иные психические инстанции, питая творчество, как у Леонардо, или жажду познания, как у самого Фрейда.

Этот вывод, полагаю, был бы справедлив и в отношении Гитлера, и в отношении Жириновского. Для обоих характерна необычайно высокая энергетическая заряженность. В ней, прежде всего, объяснение свойственного обоим магнетизма, способности подчинять своему влиянию огромные массы людей. И у обоих энергия сублимируется, оставляя как бы обесточенными центры, ведающие любовью. Но есть и огромное принципиальное отличие от феномена, распознанного Фрейдом. Для него сублимация была механизмом творчества, созидания в их наивысшем выражении. Похоже, Фрейд был настолько уверен, что только под знаком Эроса, инстинкта жизни могут происходить подобные метаморфозы, что даже не сделал по этому поводу специальных оговорок. Человечеству нужно было еще пройти через цепь трагических испытаний, чтобы разум мог заглянуть в самые черные бездны психической природы.

Это идеально вписывается в модель дистинкции. Но во всем,

что касается деятельности, социального существования, эта модель кажется неприменимой.

Для семей, подобных семье Жириновского, — бедных, прозябающих в непосредственной близости от социального дна, — сама нацеленность на диплом, на высшее образование была достаточно вызывающей, а поступление в какой-нибудь педагогический или сельскохозяйственный институт там же, в Алма-Ате, вполне могло показаться пределом мечтаний. Но нет, юный Жириновский сразу намечает себе цель, обещающую в дальнейшем грандиозное возвышение. Можно представить себе, что он мечтает когда-нибудь вернуться в ореоле неправдоподобных успехов и вогнать в страх и трепет всех, кто его обижал и унижал. Цель почти недостижима: у него нет поддержки, нет денег, он один в огромном незнакомом городе, его знаний недостаточно для успешной сдачи экзаменов, у него нет даже необходимых документов, чтобы быть к ним допущенным. Жизнь как бы говорит ему: уймись, ты тянешь руку к тому, что тебе не положено. Нет, отвечает всеми своими действиями молодой человек, неправда, это мое, я должен, я буду.

В институте, пишет Жириновский — да это и без его уточнений очень легко понять, — его окружает столичная «золотая молодежь». Плохо одетый, никогда не евший досыта и не имевший гроша за душой парень, явившийся в придачу из глухой провинции, но высказывающий какие-то претензии (чуть не на втором курсе Жириновский подал куда-то наверх свой проект кардинальной перестройки всей системы высшего образования), должен был, «по определению», возбудить в сотоварищах бешеный охотничий азарт. Юность бывает дьявольски изобретательна в выражении своей нелюбви. Но юность бывает и беспредельно ранима, реагируя на знаки отвержения, незаметные взрослому взгляду. Знаю немало случаев, когда в подобной ситуации ребята срывались в дикий, бессмысленный бунт, спивались, заболели, даже кончали собой. Внутренний стержень у Жириновского оказался достаточно прочен, чтобы вынести все это.

Но увы — все было понапрасну. Почему не состоялась карьера, представляется делом темным. Но факт, что годы шли, а он оставался тем же, кем был, — маленьким незаметным человеком. Двухкомнатная квартира, двухсотрублевое жалованье... Похоже, что к этой стороне жизни Жириновский достаточно равнодушен, но дело не в комфорте и богатстве как таковых. В нашей системе измерений всегда материальные блага имели еще и особенный, символический, знаковый смысл: сколько ты имеешь, столько

ты и стоишь. Жириновский не стоил почти ничего. Но и это его не сокрушило!

Все это позволяет предположить, что последствия дистинкции оказались перекрытыми действием других, еще более мощных бессознательных механизмов.

В начальной стадии формирования личности, как я уже говорил, либидо (половое влечение) накапливается в любви к себе — нарциссизме. И только взрослея, ребенок переносит любовь и на другие объекты, но это не происходит автоматически. Любовь рождается в ответ на любовь — и как душевное состояние, и как формы поведения, в которых оно себя проявляет.

Нелюбимый ребенок пропускает важнейшую фазу духовного становления, когда его либидо с самого себя должно перенестись на другие объекты. Физически он растет, другие элементы его психического аппарата совершенствуются, этот же остается в начальной, младенческой стадии. Нарциссизм, который у большинства из нас дополняет сложную гамму чувств, направленных вовне, становится всепоглощающим. Нарциссическое «Я» любит себя за всех: за маму, за папу, за всех родственников и друзей, вместе взятых.

Догадываюсь, что при виде своих фотографий Жириновский испытывает то же сладкое блаженство, которое охватывает вас, когда вы берете в руки портрет любимого существа. Звучание собственного имени должно казаться ему восхитительной музыкой. Вот, наверное, откуда эти его «Соколы Жириновского» и «Правда Жириновского», где с каждой страницы смотрит его лицо.

Взрослые люди, даже очень довольные собой, редко позволяют себе открыто и простодушно проявлять свою самовлюбленность. Жириновский же в неудержимом хвастовстве не знает границ. Во всех его речах звучит одно: я, только я, никто, кроме меня, я единственный вижу и понимаю, знаю, что делать, и способен справиться. В риторических конструкциях, которые выстраивают политики, всегда присутствуют некие высшие авторитеты: философы или писатели, герои прошлого, кумиры настоящего. Жириновский в подобной опоре не нуждается. Все, что он производит, бесспорно уже потому, что родилось в его голове.

Это сложная и действительно редко встречающаяся комбинация — дистинктность в сочетании с высокоразвитой нарциссичностью. Когда-то, очевидно, она сыграла роль крепости, внутри которой ребенок мог существовать, не страдая от отсутствия внешней защиты.

Мир не хотел его принимать. И он не стал спорить, терять силы в бесплодной борьбе. В ответ он начал строить свой собственный мир.

## Фантом

Пусть покажется этот переход странным, но я хочу напомнить читателям любимую многими поколениями сказку Корнея Чуковского «Тараканище». Вернее, две ипостаси, в которых предстает ее герой. Он — маленький, ничтожный, воробью на один глоток. И он же — страшное, непобедимое чудовище, гроза всего звериного царства.

Существует версия, согласно которой в форме невинной детской сказки Чуковский высказал вслух свое отношение к Сталину и свое понимание сталинской диктатуры. Так это или нет, я не знаю, но поверить могу. «Тараканище» очень точно передает главный психологический феномен тоталитарной системы.

Можно спорить о том, что представляли собой Гитлер и Сталин, так сказать, в натуральную величину, были они гениями политики или заурядными, ничем не блиставшими людьми, вознесшимися на вершину власти благодаря своеобразию эпохи и искусно сплетенной цепи интриг. Но одно представляется бесспорным: и Сталин, и Гитлер были в своем реальном человеческом измерении и меньше, и мельче, чем носившие их имена грандиозные фигуры, жившие в воображении миллионов. Они казались воплощением абсолютной силы, правоты и непобедимости, ставящих их в один ряд не с людьми, но с богами.

Многих Жириновский заставлял вспомнить о Гитлере. Эта тема обсуждалась постоянно, с самых первых его публичных выступлений. И правда, совпадений было множество. Состояние общества: крах вековой империи. Социальная база: отчаявшиеся, лишенные привычных опор и надежд, разочарованные люди. Пафос выступлений: открытая воинственность, национализм, обещание реванша. Склонность к демагогии, способность опьяняться своими речами перед большой аудиторией и опьянять толпу. И даже путь восхождения: с улицы — туда, где вершатся судьбы, от горстки последователей — к большим массам людей.

Поначалу мне эти параллели казались надуманными. И не только мне. Эмоциональная реакция, которую по сей день вызывает само имя Гитлера, слишком остра, она создает своего рода защитный барьер. Но после 1993 года, после выборов в Государственную думу возражения поутихли. Больше того: я замечал, что Жириновского многие считают будущим диктатором только



на том основании, что в свое время Гитлеру это удалось. А вот поставить Жириновского рядом со Сталиным — такое, похоже, никому не приходит в голову, хотя эта параллель должна быть нам гораздо ближе. Действительно, тут внешних совпадений немного.

Я не представляю себе Сталина выступающим на митинге, участвующим в публичных шоу. Ему это было не нужно и мало подходило его индивидуальности. Сила воздействия его личности парадоксально заключалась не в том, что он обнаруживал, а в том, что скрывал. Он даже вида не делал, что открыт, доступен и понятен. Его магия задевала другие струны в человеческой душе — те, что трепещут в соприкосновении с тайной, загадкой, намеком.

Как два конкретных воплощения тоталитарной модели сталинская империя и гитлеровский Третий рейх демонстрируют несомненное родство. Но мне всегда казалось, что проводить совместный анализ личностей Сталина и Гитлера можно только затем, чтобы убедиться в их разительном несхождении.

Появление Жириновского заставило меня изменить этот взгляд. Первый толчок был чисто интуитивным — подсказкой души, в которой оба, и Сталин, и Гитлер, хоть и по-разному, и в разной степени, оставили неизгладимый след. Я был бы, наверное, другим человеком, не пережив всего, что заставили меня пережить и почувствовать они.

Каждый человек несет в себе виртуальную проекцию своей личности — это и то, каким он себе представляется, и то, каким рисуется собственному воображению. Как и все виртуальное, граница между «есть» и «хотел бы» зыбка и подвижна. Сны часто бывают более натуральны и убедительны, чем происходящее в действительности, как и сны наяву — фантазии, грезы, мечты. И все же в обычном состоянии мы сохраняем контроль над своим внутренним зрением.

Бывает, однако, что в глубине датчики, ответственные за этот контроль, отказывают. Полет фантазии становится безудержным, а ее плоды воспринимаются как нечто абсолютно реальное. Человек видит себя великим, всемогущим. Он — в центре этого мира. Он имеет право повелевать... По большей части это фигуры трагические, не способные к действию не только в присвоенной себе роли Царя Вселенной, но и в самой обычной, повседневной деятельности. На фоне этой беспомощности их неутолимое самовозвеличение читается однозначно — как бред.

Однако такой ход развития вовсе не обязателен. За счет каких-то внутренних ресурсов или по-особому сложившихся об-

стоятельств не возникает резких, разрушительных конфликтов между идеей собственного безграничного величия и не соответствующей ей повседневностью. Самозванный бог не отрекается от себя, но он как бы соглашается до поры до времени потерпеть, пожить в ином земном воплощении: как обычный, ничем не замечательный человек. Не беспокойтесь: он ничего не пропустит мимо внимания и ничего не забудет. Всех до единого, кто его обижал, он внесет в особый список — и всех их в свой час постигнет кара. А пока он готов ждать. Это заурядные честолюбцы рвут себе жилы, торопясь поскорее вскарабкаться наверх. Их гонит душевный голод, им необходимы знаки успеха, знаки всеобщего внимания и поддержки. Личности же того типа, о которых я говорю, самодостаточны. Их не обескураживают неудачи. Их не ранит презрение. Подлинное существование протекает не здесь, бок о бок с нами, а там — в призрачном мире их фантазий, где все расставлено по местам в устраивающем их порядке, и там они недостижимы. И у них хватает интуиции, а возможно, и элементарной хитрости ни перед кем никак не обнаруживать своей тайны, пока не прозвучит только им слышимый сигнал, возвещающий, что их час пробил.

Потому, перебрав множество терминов, способных охватить этот редкий психологический феномен и передать его суть, я остановился на слове «фантом» (призрак, привидение).

Вот что было общего у Гитлера и у Сталина. Не то что по годам — по дням и часам прослежен путь их превращения из незаметных людей во всемогущих властителей. Не просто прослежен: проанализирован, объяснен, вкупе со всей панорамой исторических обстоятельств. Но чтобы инициировать и связать в одну общую цепь этот гигантский поток событий, втянувший в себя так или иначе большую часть населения планеты, у каждого из них, у Сталина и Гитлера, должно было что-то быть подготовлено. Пусть не план, не проект, но какое-то генеральное предназначение. Очевидно, этот сгусток видений, этот фантом уже заключал в себе и конечную цель — стать властелином мира. Этого нельзя хотеть. Об этом невозможно мечтать. Надо нести это в своей душе как данность, чтобы оставалось лишь привести упрямую действительность в соответствие с этими грандиозными ощущениями своего «Я».

Мы не знаем, почему этот феномен проявился лишь дважды за всю доступную обозрению психолога историю. Связано ли это с тем, что в основе типа лежит редкостная и маловероятная комбинация биопсихических факторов? Или таких людей не так уж

мало, но они остаются нераспознанными, не находя подходящих условий для самораскрытия?

Еще одна литературная ассоциация: «Принц и нищий», роман Марка Твена. Оборванный голодный мальчик твердил, что он король. Делал повелительные жесты. По-королевски сверкал глазами. Не разрешал садиться в своем присутствии. Над ним смеялись — кто зло, кто добродушно. Бедняжка, надо же так повредиться в уме!

Но он-то знал, что он король! Он мыслил по-королевски, по-королевски чувствовал. В этой грубой черни, взвизгивающей на него трижды свысока (во-первых, он ребенок, во-вторых, он еще беднее, чем они, и, в-третьих, у него «не все дома»), он видел своих подданных, обязанных ему беспрекословно повиноваться.

Невозможно было совместить два этих взгляда на природу вещей.

Нечто похожее происходило между Жириновским и нами, особенно на первых порах. «Я сделаю, я разрешу, я запрещаю...» Кто может так говорить в его положении? Дурак? Сумасшедший! Геннадий Хазанов, великолепный наш артист, прославился своими пародиями на Жириновского (за что во всеуслышание был приговорен им к смерти). Но если всмотреться, дистанция между реальным и карикатурным образами совсем невелика. Жириновский сам — живая пародия на деспотическую, самовлюбленную, спесивую власть.

Но это — в наших глазах. Не будучи фантомной личностью, очень трудно представить, как видит она мир и себя в нем.

Мы в плену у собственных понятий о легитимности. Право на власть для нас неотделимо от сложных многоступенчатых процедур, исполненных глубочайшей символики, от множества условностей, сливающихся в общее ощущение закона. У нас очень многие мечтали и мечтают занять пост российского президента и делают все от них зависящее, чтобы эта мечта сбылась. Но пока не будет сказано последнее слово, пока не завершится последняя юридическая формальность, никто из них не сможет без сложнейших внутренних противоречий отождествить себя с этой верховной, в масштабах России, властью. Даже бывший вице-президент Александр Руцкой в момент, когда от цели его отделял один маленький шаг (а такой момент был, и ближайшее окружение, сильнейшим образом его провоцировавшее, уже праздновало несомненную победу), не смог внутри себя преодолеть это ощущение собственной несостоятельности. Отсюда его нетерпение, сгубившее всю его политическую карьеру.

Жириновский в этом абсолютно не нуждается. Он признает,

что тоже должен пройти через все этапы легитимизации, и готов к этому, но это — для нас: снисходя к нашей слепоте. Это в нашем сознании, в наших душах должен совершиться сложный процесс принятия его как нашего бесспорного лидера. А он — он уже давно им стал или, проще сказать, другим никогда не был. Только не проявлял этого открыто. Но ведь и маленький король Эдуард в конце концов понял, что перед этими глупыми людьми безопаснее притвориться, что он — это не он.

Такая же уступка нам — слово «президент» в лексиконе Жириновского. Оно нам близко, мы его психологически освоили, — пожалуйста, чтобы не создавать для нас лишних проблем, он согласен какое-то время им оперировать. Так же, как было с канцлерством Гитлера: народ мыслил в категориях тогдашней политической структуры, и фюрер почел за благо на том этапе его уважить.

А Сталин? Все его титулы, в том числе и самый помпезный — «генералиссимус», даже приблизительно не соответствовали тому, чем он был и для нас, и для самого себя. Но оттуда, с его высот, этой мелочью легко было пренебречь.

Жириновский вещает от имени абсолютной, ничего, кроме себя, не признающей власти. Президент не может так говорить и так мыслить. Он ограничен временем до следующих выборов, Конституцией, действиями других институтов власти, волей оппозиции, наконец, общественным мнением. А Жириновский не может говорить и мыслить по-другому. Для его фантомного «Я» не существует ничего, никаких пределов, никаких обуздывающих факторов ни в стране, ни в целом свете.

Единственная дань реализму, которую он способен принести, — соглашаться на отсрочки, не требовать сразу всего. Даже диктатура, им обещанная, — это тоже не более чем промежуточный этап. И эпоха великих соглашений с Соединенными Штатами, Европой, Китаем — тоже, хоть сам Жириновский, возможно, еще об этом не догадывается.

Фантомное «Я» не способно примириться с положением равного среди равных, пусть даже на высочайшем из возможных на земном шаре уровней. Оно не успокоится, пока и там не устранил последнего соперника. Только зажав в кулаке бразды правления над всей Вселенной, фантомная личность может стать равной себе.

Это неосуществимо, скажете вы, не только для Жириновского — вообще. Земной срок слишком короток — предприятие слишком грандиозно. Но в том, чтобы сколь угодно далеко про-

двинуться в этом направлении, нет ничего неосуществимого. Это мы видели.

Опыт России и опыт Германии показывает: полная психологическая трансформация, как бы выведение новой человеческой породы, — дело значительно более быстрое, чем это обычно представляется.

Способен ли был Жириновский создать свой мир, подобный сталинскому и гитлеровскому, мы так и не узнали. Но несомненно, что по меньшей мере двумя свойствами, входящими в уникальный комплекс фантомной личности, Жириновский наделен по максимуму.

Он заполнял собой немалую часть пространства, он навязывал нам себя! Открывая газету, включая телевизор, мы были настроены и на его волну: что новенького расскажут о нем сегодня? Времени прошло — всего ничего. А мы уже успели прожить с Жириновским целую жизнь. Мы следили за его скандальными поездками: куда-то его не пускали, откуда-то выдворяли, он угрожал, ему угрожали — чушь какая-то, факты из глубоко личной его биографии, но мы глотали эту информацию наряду и наравне с важнейшими мировыми событиями. Побывал он в воюющей Югославии, витийствовал на митингах, плясал с зажженным факелом на пороховой бочке, с кем-то обнимался, кутил на банкетах, опять угрожал бомбардировками — «я обещаю, я не допущу». И снова мы при всем этом были рядом, чертыхаясь, смеясь, негодую, но внимание было приковано к нему. Несколько скандалов закатил он в самой Думе, дрался с депутатом, стучал кулаком по трибуне: «Молчать! Выйдите все отсюда!»

День за днем мелькал в программе новостей один и тот же кадр: своей быстрой решительной походкой, чуть набычась, Жириновский поднимается по лестнице или пересекает фойе — ему некогда, его ждут неотложные дела, а вокруг и позади, толкаясь и друг друга отпихивая, — толпа репортеров, лес рук с микрофонами, и он, не останавливаясь, через плечо бросает что-то вроде: «Президентские выборы должны состояться не позднее нынешней осени...»

Кому это нужно? Кому интересно, кроме него самого? При чем тут мы, вся наша сегодняшняя жизнь, при чем тут Россия?

Многие мои друзья отчаянно ругают журналистов: это они раздували популярность Жириновского, они, как мухи — сразу, разносили и тиражировали каждое его слово, движение, каждый чих. Это правда. Раздували. Помогали самоутверждаться. Но как потребовать от журналистов, чтобы они меньше бегали за Жириновским? Допустим, я стал очевидцем его очередной эскапады.

И что же, я не стал бы рассказывать о том, что увидел, всем, кто попадется мне навстречу? И даже мои друзья, такие умные и всевидящие, поступили бы так же. Не журналисты обступают Жириновского — мы все невидимо стоим в этой толпе и с любопытством ждем, что еще он выкинет.

К реальной власти Жириновский только еще пробивался, но психологически он многих уже приковал к себе. Как его коллеги-депутаты молчаливо признали за ним право орать на них и только что не выпроваживать вон из зала, так и многие из нас ему покорились, включили его в свой душевный обиход наравне с самым важным и существенным для каждого. Правда, пока — только еще на уровне мыслей и переживаний.

Но тут нужно учесть еще одно феноменальное свойство фантомной личности. По мере своего реального возвышения, когда появляется возможность питаться не призрачной, не иллюзорной, а конкретной властью, — это огромное «Я» обнаруживает способность раздуваться, становясь все более и более грандиозным.

Так было с Гитлером. Так было со Сталиным. И нечто подобное на наших глазах происходило с Жириновским.

Особенно заметна была эта эволюция в интонациях, мимике, пластике, а больше всего — в жестикуляции. Год от года она делалась все более властной, повелительной. Вообще, как я уже сказал, у него зеркало души не глаза, как у большинства, а руки. Взгляд обычно тяжелый, мрачноватый, напряженный. И тем живее, одушевленное кажутся руки. Целый оркестр движений — отдельные партии ведут правая и левая руки, предплечье и кисть и каждый палец, в особенности указательный и большой. На начальном этапе в этом оркестре преобладали две темы — самоутверждения и искренности. Коротким энергичным жестам, подчеркивающим значительность и непререкаемость каждого высказывания, как бы аккомпанировали мягкие округлые пассы, означающие на этом праязыке открытость, искренность и желание сблизиться с собеседниками. Теперь чаще всего руки Жириновского исполняют другой танец. Жесты стали очень крупными (как будто этого человека слушают несметные толпы, занимающие огромное пространство), командными, они создают образ несокрушимой главенствующей воли, не знающей никаких преград.

Вопрос, который занимает многих: каков же Жириновский в действительности? Какое из его обличий настоящее? Когда он играет, когда бывает самим собой? Или все, что он выносит на публику, — это личина, расчетливо подобранные маски и лишь

наедине с собой или с самыми близкими он их снимает, чтобы принять свой естественный облик? Но какой он?

Очень похожую задачу решал Фромм, анализируя феномен Гитлера. Фюрера нередко видели разгневанным, орущим, патологически гримасничающим, не владеющим собой. Но гораздо чаще он предстал спокойным, вежливым, корректным, полностью контролирующим эмоции. Невозможно связать это воедино, принять как две грани одной личности. Надо выбрать что-то одно. И поскольку мы знаем, что бесполезно требовать от гневливых неврастеников сдержанности — подавлять или маскировать свои буйные вспышки выше их сил, — остается предположить, что Гитлер играл, как о нем часто говорили, бесноватого.

Фромм, однако же, находит другое решение. Он считает, что приступы гнева, венчавшие многие публичные выступления фюрера и магически воздействовавшие на толпу, и внешне очень на них похожие взрывы, случавшиеся в беседе, имели разную природу, но ни те, ни другие не были наигрышем, имитацией. «Заводясь» перед гигантской аудиторией, Гитлер давал выход ненависти, которая постоянно в нем клокотала, но так глубоко, что в обычное время могла оставаться невидимой. А истерические «наезды» на собеседников, которые ему возражали или не исполняли его требований, были сродни детским капризам, тем бурным эмоциональным аффектам, с помощью которых дети переламывают волю взрослых. Но в обоих случаях переживание было подлинным и именно поэтому так сильно воздействовало на людей, приводя их в состояние неистового возбуждения или повергая в трепет. Феномен Гитлера — умение одновременно и управлять стихиями своего внутреннего мира, и подчиняться им. Он был одновременно кукольником и куклой, скрипкой и скрипачом, оркестром и дирижером, совмещая самозабвенную непосредственность и взгляд на себя со стороны.

Мне кажется, что, двигаясь в этом направлении, мы можем приблизиться и к пониманию загадочной многоликости Жириновского.

Несомненно, в его поведении всегда присутствует элемент расчета. Он знает, какое блюдо хочет приготовить, какие продукты и в каких пропорциях нужно для этого смешать и с какими приправами поставить на стол. Я думаю, если бы он захотел, то мог бы составить потрясающее руководство «Как заморозить толпу» — свод рекомендаций и советов, охватывающих все стадии и формы психологической обработки массовой аудитории. Но эти «продукты» он не ищет на стороне — он черпает их в себе самом, одновременно потрафляя своим страстям и держа их в

узде. Образ, который он нам навязывает, — причудливейшее соединение естественности и маски, природы и изобретательности, рациональности и неподконтрольных разуму иррациональных сил.

Вот это постоянное массированное присутствие, беспрерывное мелькание на публике: наверняка Жириновский знает и может объяснить, рассудочно и цинично, зачем это нужно, что это дает. Но я догадываюсь, что, участвуя в им же организованном и длящемся уже который год большом шоу, он испытывает ни с чем не сравнимое наслаждение, доступное, возможно, одной лишь фантомной личности при материализации, осуществлении ее фантастических видений.

Очевидно, он и своей скандальностью манипулирует не менее сознательно и расчетливо. Он хорошо знает: лучше пусть говорят плохо, чем не говорят совсем. Но это не игра в актерском смысле. Жириновский не притворяется, не имитирует, даже не перевоплощается в эти минуты. Он как бы оголяет свое существо, сбрасывая с него покровы, навязанные цивилизацией и культурой. И я полагаю, что такие минуты возносят его к вершинам блаженства. Он утверждает в ощущении своего величия и всемогущества: никто не может себе позволить такого — только он. Никто не решился бы так открыто выплескивать свою злобу, показывать себя плохим, жестоким, грубым. Ему можно все.

В политических расчетах Россию делят на голосующую за Жириновского и против него. Но в действительности сфера его влияния и шире, и намного сложнее.

Подобно миллионеру, который не ленится нагнуться, чтобы поднять упавший пятак, Жириновский никогда не экономил силы, выступая на маленьких площадках, перед небольшой, случайной аудиторией. На одном из таких мини-митингов однажды побывал мой приятель: шел мимо, заинтересовался, остановился послушать. Посреди городской суеты выкрики Жириновского, позы и жесты показались ему еще более нелепыми, чем он предполагал. Однако в следующую субботу этот человек снова отправился на то же место, потом опять... «Зачем ты ходишь? — спросил я. — Неужели рассчитываешь услышать что-то новое?» Друг развел руками: «Конечно же нет. Но знаешь, есть в нем что-то такое, что притягивает».

Примерно то же я слышал от многих людей, следивших за выступлениями Жириновского по телевидению. Судя по их взглядам, по их психической конституции, Жириновский должен был их раздражать — и раздражал. Их здравый смысл протестовал



против его нелепых высказываний, их вкус не мог примириться с его манерами, его нахрапом. Зачем же терпеть это неудовольствие? Взяли бы и выключили телевизор! Нет, продолжали смотреть. И след от этого смотрения не стирался даже много времени спустя, мысль постоянно соскальзывала на Жириновского, хотелось о нем разговаривать.

И это тоже заставляет вспоминать о Сталине и о Гитлере. Число их фанатичных почитателей с годами росло, но всегда были и несогласные, и те, кто их ненавидел, пытался бороться. Но, очевидно, одна из примечательных особенностей фантомной личности заключается в том, что ее психологическая власть распространяется даже на категорически не согласных ей подчиниться. Принадлежать можно и ненавидя... Поэтому мне всегда казалось, что применительно к Жириновскому все эти проценты и рейтинги не говорят ровным счетом ни о чем...

### **Чудо второго рождения**

Так случилось, что однажды я оказался в бывшей «кремлевке» — огромной клинике на Мичуринском проспекте. Моя палата оказалась мемориальной. Здесь вскоре после президентских выборов 1991 года отлеживался Владимир Жириновский. Для человека с практически здоровым сердцем острое недомогание — свидетельство того, что психика не справилась с пережитым стрессом.

У врачей и сестер, — а персонал с той поры не успел полностью смениться, — я спрашивал: как вел себя Жириновский, лежа на больничной койке? Какое производил впечатление? Самое обычное, отвечали мне. Держался ровно, спокойно, был вежлив, на особое внимание не претендовал. Сдержанный, интеллигентный человек, скорее даже приятный. Никому никаких политических дискуссий не навязывал. Если и переживал только что отбушевавшие события, то молча, про себя.

Таким же он сохранился и в памяти людей, вместе с которыми получал свое вечернее юридическое образование. «Никаких странностей мы за ним не замечали. Казался серьезным, добродушным. Его уважали. На семинарах выступал только по существу».

На 70% группа состояла из милиционеров, на 30 — из девочек, работавших в судах. Общий уровень был невысок, учение давалось с трудом. Владимир возвышался над всеми на две головы. Раньше срока сдавал экзамены, на год опередил группу. Чув-

ствовалось, хорошо знал, зачем учиться. Со всеми был ровен, ни с кем не конфликтовал и не старался подружиться.

Если группа не была подготовлена к семинару, обычно говорили: «Вова, выручай». И Вова никогда не отказывался. Как только все рассаживались по местам, он поднимал руку, задавал преподавателю вопрос и втягивал его в дискуссию.

Одевался скромно, и не видно было, что тяготится этим. Когда устраивались вечеринки в складчину, Владимир обычно безропотно вносил свою долю, но на пирушку не являлся. Выпивки, танцы, флирт его совершенно не привлекали.

Таким же запомнили Жириновского в издательстве «Мир». Добавилась только склонность бунтовать против начальства. Хотя этот смелый правдоискатель иногда мог и заискивать перед начальством.

С наступлением эпохи Горбачева мир пришел в движение. Множество людей стронулись с привычных мест. Жириновский оказался в числе первых. Действовал он при этом от собственного лица или выполнял задание своих начальников из спецслужб? Принципиальной разницы между этими вариантами нет. Важно, что наш герой убедился в наличии у себя способностей, о которых прежде мог только догадываться: легко и много говорить, психологически овладевая слушателями, безошибочно выбирая слова. А по его инициативе это произошло или его подтолкнули, использовали — роли не играет.

Следующее свидетельство, полученное мною, относится к 1991 году. Жириновский выступал в Институте социологии. Это уже был другой, новый человек. Он словно обращался к народу с огромной высоты, всевидящий и всемогущий, готовый распоряжаться и повелевать.

У него спросили: уверен ли он, что легко справиться с Кавказом?

— Это не проблема, — был ответ. — Мы просто уморим этих горцев голодом.

Молодежь, особенно секретарши, лаборанты, стажеры, необычайно воодушевилась. Смелость мысли и слов подействовала на нее, подобно алкоголю. Но когда вышли на лестницу покурить, Жириновский мигом перевоплотился. Отставил котурны, сбавил тон. Складка между бровями разгладилась. Спокойный и уравновешенный человек, высказывающий вполне здравые суждения!

— Все, что вы только что говорили, вы говорили всерьез?

— А разве в политике можно говорить серьезно? — с легкой

улыбкой ответил Жириновский. — Моя цель — поразить, запомниться. Мне нужно победить на выборах.

Человек снял маску. Это было понятно, но предстал ли он при этом со своим естественным лицом или просто поменял одну личину на другую?

Игра — неотъемлемый элемент его программы. Обмануть, мистифицировать, заинтриговать... Но далеко не все сводится к мистификации и лжи. Второе «Я» Жириновского неотделимо от первого.

Покрутившись среди собравшихся и прощупав настроения, его ассистенты писали на листах бумаги, какие темы выгоднее затронуть, и поднимали эти плакаты над головой. Жириновский подсажку улавливал и в эту сторону направлял поток демагогии.

Но потом, пообщавшись со всхлипывающими старушками, норовящими припасть к его плечу, он тоже мог прослезиться и оставался таким неподдельно взволнованным долгое время после того, как всех старушек отодвигали на приличное расстояние. А циничные шуточки свиты гневно обрывал.

Итак, что же произошло?

Жил-был человек, одержимый грандиозными планами и не щадивший себя ради их осуществления. Но мечты не сбылись ни в чем даже частично. И он с этим смирился. Как, на каких условиях? Отрекся от прежних фантазий, терпел, скрежеща зубами, или фанатично ждал зова трубы архангела? Этого мы не знаем. Но видим, что он сохранил свою способность, умение жить среди людей. Говоря языком психоанализа, выработал систему защиты.

И если в таком состоянии он пересек сорокалетний рубеж — фатальную черту перелома, от которой все биологические и психологические процессы меняют направление с «вверх» на «вниз», то это почти наверняка означало, что поезд его ушел навсегда.

Но случилось по-другому. Случилось то, что в жизни случается очень редко. Полное, кардинальное преобразование, явление нового человека. Неудивительно, что его отказались узнавать все, кто соприкасался с ним раньше. Тот, кто поселился в теле Жириновского, вполне заслуживал бы нового имени, как получали его, по обычаю, многие верховные владыки.

И снова феномен моего героя может служить связующим мостиком между двумя эпическими фигурами — Сталина и Гитлера.

Одно и то же мы видим во всех трех случаях. Катастрофическое несоответствие между запросами своего «Я» и полностью игнорирующей их действительностью, долгое ожидание... Но на-

ступает период социальных потрясений, рушатся устои, и в этом бурлящем котле происходит чудо второго рождения.

Все, что было до, отступает перед значимостью этой заново родившейся личности, достигшей высшей фазы развития у Гитлера и у Сталина и уже достаточно отчетливо намечавшейся у Жириновского. Она приобретает исключительные, почти сверхъестественные черты и способности, ужасая при этом полным отсутствием человечности и морали.

И случайно ли, что эта новаявленная личностная мощь устремляется, реально или хотя бы в воображении, на беспримерные злодеяния, на превращение жизни миллионов людей в крошечный ад?

Человек со средневековым мышлением без лишних затей признал бы: здесь Всевышний отступился и в душу вселился дьявол.

Очевидно, подобные прецеденты встречались. Но у тогдашних монстров возможности были ограничены, и даже сам дьявол не мог тут помочь. У них не было под рукой технических средств, превращающих многомиллионное население в единый психический организм.

Вспомним: и Гитлеру, и Сталину суждено было пережить момент, когда они вызывали насмешки. Точно так же недалековидные люди потешались и над Жириновским. Окружающим свойственно упускать таинственный момент явления новой сущности. В их представлении живет, двигается, разговаривает тот прежний человек, к которому все давно привыкли. Они еще не видят нового, в дальнейшем эта ошибка для очень и очень многих оказывается роковой.

Но где же теперь тот, кого все знали, к кому приспособили восприятие? Куда делся Гитлер, существовавший до «пивного путча»? Сталин дореволюционной поры? Жириновский, заискивавший перед мелким начальством?

Нет его. Исчез. Умер.

Может, в этом — ключ к отгадке?

Из всего открытого Фрейдом труднее всего поддается пониманию его концепция Эроса и Танатоса — влечения к жизни и влечения к смерти, в их противоположности и единстве, в неутихающей борьбе, которую ведут они за контроль над человеческой душой.

Эта парадоксальная особенность человеческого существа, несомненно, имеет биологическую природу. В первом крике младенца нам слышится великий гимн жизни. Но в то же самое мгновение, невидимо для нас, торжествует и смерть: ведь плод умирает. Та биологическая система, которой является развиваю-

щееся в материнской утробе дитя, прекращает свое существование в миг рождения. В точном смысле — перестает быть.

О людях, тяжело больных, говорят иногда: смерть поцеловала. Но других — не целованных смертью — среди нас нет. Ежеминутно в организме что-то перестает быть, то есть погибает, клетки хотя бы. Тело, естественное вместилище души, одновременно находится и в состоянии жизни, и в состоянии умирания.

За явлением новой, другой личности, связанной со своими прежними структурами примерно так, как бабочка с куколкой, тоже стоит акт смерти-рождения. Он не может пройти бесследно. Поцелуи смерти несмыслимы.

Когда Жириновский был на взлете популярности, во всех его речах постоянно присутствовала смерть. Все его планы были связаны со смертью, с убийством. Даже рисуя светлые картинки будущего, не мог удержаться от напоминания, что кому-то ради этого придется проститься с жизнью.

Эти места, абзацы, фразы всегда у него были по-особенному акцентированы. «Я буду убивать», — говорил Жириновский разными словами, но всегда воодушевленно, подчеркнуто эмоционально, смягчая ужасающий смысл каким-то людоедским добродушием. Даже набредя на эту мысль случайно, он на ней останавливался, смаковал. Видимо, в эти мгновения у него приоткрывался какой-то невидимый клапан, и весь психический аппарат получал мощную энергетическую подпитку. Так бывает, когда человек прикасается к самому заветному, к тому корню, из которого растут мотивы всех его поступков.

Жириновский играл смертью, получая от этого такое же наслаждение, с каким влюбленный фантазирует на тему свидания с любимой. И с таким же чувственным вниманием ко всем деталям.

— Позвольте мне это сделать! — постоянно звучало в его обращениях. — Я расплачусь по-королевски — сытной, обильной едой, возможностью жить в самых благословенных уголках Земли, безопасностью для тех, кто будет мне верно служить.

При этом он хотел увидеть, как ОНИ (неважно кто: демократы, бандиты, японцы, французы, турки, эстонцы, лица кавказской национальности поочередно всплывали в этих навязчивых снах наяву) падают как подкошенные под пулями, ползут к нему с мольбой о пощаде.

Думаете, я преувеличиваю? Прочтите!

Говорят, Жириновский — самый непоследовательный из всех, именующих себя политиками. Сегодня он может говорить

одно, завтра — прямо противоположное. Это подтверждает мое предположение. Так обычно бывает, когда работа мысли стимулируется мощным, чаще всего неосознаваемым влечением. То, в чем он путается, для него, очевидно, совершенно несущественно, как бы ни были эти вопросы важны сами по себе. В том же, чем охвачено все его существо, он как раз безупречно последователен и собран. Я ни разу не слышал из его уст ни одной идеи, связанной с надеждами на жизнь и поддержанием жизни — выращиванием, строительством, культивированием, налаживанием хозяйства.

Не счесть, сколько раз за время работы в Государственной Думе он возмущал и без того беспокойную атмосферу этого высокого собрания безобразными, из ряда вон выходящими выходками: драками, потасовками, скандалами. «Это вы в тюрьме будете показывать, который час, чтобы вам принесли обед» — яркий пример его специфического, напоенного духом смерти красноречия. Для меня это — примерка, репетиция. Проба голоса и одновременно испытание среды: ее реакций и пределов чувствительности. Мне кажется, в эти минуты совершается чрезвычайно важный переход из воображаемой в реальную действительность: окрик, удар, толчок — это еще не убийство, но уже действие, дающее фантазии новую опору. «Я могу!» Он становится собой — настоящим. Свободно изливаемая ярость преобразует его лицо, всю фигуру, плечи приподнимаются, позволяя ему как бы нависнуть над всеми, остающимися далеко внизу. В голосе появляются резкие, лающие ноты. Руки движутся так, словно в них уже зажато оружие.

Для него это были великие минуты. Он позволял себе отбросить всякое притворство, произносил вслух «Я» с тем значением, как оно звучит в его душе.

Для нас же эти минуты приоткрывали окно в будущее... Конечно, это были только предпосылки, начальные ростки характера, которому предстояло полностью сформироваться потом, если бы фантастические планы моего героя осуществились. Судьба уберегла от этой опасности мир, а заодно и его самого.

### Эпитафия

Эпитафия — прощальное слово. Разумеется, она не имеет ровно никакого отношения к реальному человеку, который сейчас, по существующим в политике меркам, находится в самой цветущей поре. Его место в российской системе власти кажется

достаточно прочным и оправданным, по крайней мере, до следующих парламентских выборов. Но и тогда, вероятно, он что-нибудь придумает.

Конечно, он постарел, погрузнел, хотя выглядит таким же взрывчатым и импульсивным. Но вся его прирожденная экстравагантность хорошо уравнивается теперь невесть откуда взявшейся респектабельностью.

Но речь сейчас не о нем, а о том Жириновском, которому, по самому великодушному счету, история отпустила не более десяти лет жизни. О политическом явлении, о социально-психологическом феномене, родившемся на наших глазах, и так же, припародно, исчезающем.

С какими мыслями, с какими чувствами прощаемся мы с ним?

Роль политика в судьбе страны измеряется прежде всего делами, совершенными по его инициативе или под его руководством. Либо — идеями, которым его авторитет, его влияние помогли вырваться за стены интеллектуальных лабораторий и, как говорили наши классики, стать материальной силой.

С обеих точек зрения Жириновский оказался бесплоден. Ни в практических делах, ни в движении мысли его пребывание где-то в самых высоких сферах российской политики не оставило ни малейшего следа. Представим себе, что не было его все эти годы с нами. И что меняется при таком фантастическом предположении? Да ровным счетом ничего. Все шло бы примерно так же, как шло и в действительности. И все же его влияние оказалось огромным, хотя и совершенно особенным, не укладывающимся в рамки обычных представлений об итогах политической карьеры.

Жириновский первым показал нам, что такое публичная политика — все ее преимущества и опасности, чудодейственные возможности и фантастические ресурсы. Он открыл первый сезон в российском политическом театре, вынудив всех других представителей элиты, нравилось им это или не нравилось, готовы они были к этому или совершенно не приспособлены, стать актерами этого театра. Пусть представления с его личным участием больше смахивали на цирк, на старинную уличную комедию. Но даже для тех, кто работал в иных, более строгих жанрах, Жириновский во многом стал законодателем вкуса, творцом неписанных эстетических норм. Он показал пример свободы, раскованности, импровизационности, он вживе продемонстрировал, что политическая акция может быть зрелищем, а потому должна

готовиться, режиссироваться и подаваться с учетом художественных запросов толпы.

Жириновский на целую эпоху вперед продвинул политическую технологию. Одна мысль о том, что он готовится выкинуть и как можно этому помешать, стимулировала фантазию и аналитические способности у десятков безвестных служителей политического театра, которые без него, помимо него еще неизвестно сколько времени осваивались бы с этим новым, неведомым в советскую эпоху ремеслом. Я часто думал об этом во время президентских выборов 1996 года. Не подарив зрителю ни одного запоминающегося эпизода, Жириновский тем не менее незримо присутствовал во всех грандиозных, поднимающихся временами до карнавальной яркости шоу, в которых изощрялись главные герои-соперники этой кампании. Я думаю, не будет преувеличением сказать: именно Жириновский научил их уважать толпу. Не полумифический, хрестоматийный народ, творящий историю, а живую, капризную, непредсказуемую толпу, творящую сегодняшнюю политическую повседневность.

Благодаря Жириновскому произошел серьезный прорыв в общественных науках. Он поставил солидных экспертов в положение зеленых новичков, теряющихся от неспособности объяснить, что же это такое с нами происходит, что это за неведомый науке зверь — постсоветское массовое сознание. Он поставил десятки неожиданных вопросов, взорвавших сонную тишь академических институтов, он породил с политикой, к обоюдной их пользе, десятки направлений в социологии, психологии, политологии. Пусть честно признаются все, кто так или иначе работает с массовым сознанием, изучает его, пытается формировать и направлять: сколько раз именно Жириновский подбрасывал им ценные идеи, неожиданные повороты мысли, заставлял перепроверять то, на чем уже готово было успокоиться их профессиональное любопытство!

Жириновский, если все это суммировать, сыграл роль катализатора — вещества, которое само не вступает в химическую реакцию, но своим присутствием направляет и ускоряет ее ход. Для человека, намеревавшегося вскоре сказать: «Россия — это я», эта роль смехотворно, оскорбительно мала. Но представим себе всю огромность и величие российской истории: совсем неплохо войти в нее, хотя бы и в таком качестве, сознавая, что без тебя (а это воистину так) события лишились бы какой-то очень важной краски. Из исторической памяти, мне кажется, он не выпадет — не разделит, другими словами, судьбу многих нынеш-



них деятелей, очень заметных, обладающих, в отличие от него, немалой и вполне реальной властью, но чьи имена в энциклопедических справочниках будущего скроются в братских могилах, обозначаемых сокращениями «и др.» или «и пр.».

Что же будет дальше?

Все произошло воистину по законам театра. Актер вышел из образа — и вошел в другой. Но роль — осталась. И она ждет следующего исполнителя, поскольку пьеса с этим главным действующим лицом еще далеко не доиграна.

Вопрос, который мучил меня, когда я начинал эту работу, сегодня звучит еще тревожнее: кому достанется эта роль?

## **Глава 2**

### **РУИНЫ ДУШЕВНОГО МИРА**

#### **НЕИЗГЛАДИМЫЙ СЛЕД**

У большинства людей механизмы памяти включаются в три, реже — в два года. К этому времени относятся живущие в сознании образы раннего детства — первооснова, от которой мы ведем собственное летоисчисление.

Однако в тайниках бессознательного каждый из нас сохраняет след психических состояний, пережитых еще в период беременности и момент родов. Есть научные факты, доказывающие, что именно этот сверхранний человеческий опыт дает завязь человеческой личности — с ее индивидуальной структурой, со всем, что облегчает или осложняет жизненный путь. Тяжкие, неблагоприятные роды навсегда, до гробовой доски, травмируют психику.

Мне кажется, что и в развитии массового сознания прослеживается та же зависимость. Времена меняются, поколения приходят и уходят, а следы давних травм все не стираются.

Как рождалось советское общество?

Современников Октябрьской революции осталось немного. Сейчас они — глубокие старики. Но и для всех, кто родился позже, кроме самых молодых, события 1917 года становились как бы частью их собственной жизни. Поговорите с любым — и человек непременно вспомнит, как совсем маленьким, с красным флажком в руках, ходил с родителями на праздничную демонстрацию 7 ноября или просто гулял по украшенным улицам, как собирались дома гости, как его водили смотреть иллюминацию, преобразившую наши обычно плохо освещенные, пасмурные го-

рода. И он, будучи еще несмышленишем, уже понимал, что это — великий день, самый главный праздник.

Одной из первых книг, которые нам читали, обязательно должна была быть книга о революции: непременно приподнятая, романтически окрашенная. Картины великой битвы, фигуры героев, торжество исторической справедливости...

Но есть и иная память.

Огонь. Кровь. Знамена. Крики. Смерть. Боль. Огнедышащим змеем встает революция в потоке свободных ассоциаций на сеансах психоанализа у самых разных людей — в девяти случаях из десяти.

Работая с группой по оригинальной методике, которая позволяет воспроизвести переживание родов, я просил рассказать: как представляется революция? Получал в ответ тот же ряд: кровь, уничтожение, гибель.

Рождение всегда связано с муками, с предельным физическим напряжением — и для матери, и для того, кто появляется на свет. Но это торжество жизни, утверждение высшей гармонии. Революция принесла столько бедствий, потребовала таких немислимых жертв, что эта гармония оказалась подорвана. Разруха, голод, эпидемии, омертвление всей хозяйственной жизни, уничтожение культуры — зримое, вещное воплощение постигшей общество катастрофы.

В руины был превращен и душевный мир человека.

Не слишком большим преувеличением будет сказать, что люди, населявшие Россию до октября 1917 года, исчезли, даже те из них, кто не погиб и не эмигрировал. В их телесной оболочке жили и действовали уже какие-то иные существа, ибо потрясения, подобные пережитым ими, резко и навсегда меняют представления человека о самом себе и об окружающем мире, иерархию нравственных ценностей, бессознательные ощущения. Он утрачивает единство с природой, способность взаимодействовать с другими людьми. Ему доставляют удовольствие красные, багровые, темно-фиолетовые цвета, звуки барабана, горна, трубы. Зов к бою! Агрессивность достигает апогея. Нарастает враждебность, антипатия к людям. Исчезают такие понятия, как доброжелательность, милосердие, сострадание. Жизнь теряет цену. Смерть воспринимается как какой-то пустяк, становится разменной монетой отношений между людьми и группами

Последователи Фрейда, в частности Гроф, описывали феномен смерти-перерождения. Не гибель старого, трагическая, но и возвышающая, несущая с собой очищение, надежду, — а распад.

в котором доминируют признаки уродливого, иррационального. Переродившиеся в революционном огне, сделавшем нормой насилия, теряют ощущение собственной значительности. Отрицание всего и вся, ставшее знаменем революции, в личном плане оборачивается отречением от самого себя — от своих корней, от родственных связей, от всего, что достиг, чем дорожил. Самовластно присвоенное право убивать несет и внутреннюю готовность к собственной гибели, притупление страха перед ней — как перед прекращением индивидуального бытия, утратившего смысл и значение.

Вне этого не может быть понят и грандиозный социально-психологический феномен — возникновение нашего общества в огне революционной мистерии. Без тотального, всепроникающего перерождения психики большого числа людей, которое произошло за несколько первых послереволюционных лет, едва ли стало бы возможно утверждение тоталитаризма. Революция сделала народ в массе смиренным к смерти. Смерть стала обыденностью — вопреки не только установлениям европейской цивилизации, культуры, но и законам биологии! Кровь миллионов невинных жертв стала проклятием, освободиться от которого мы не можем и поныне.

Революция, провозглашавшая себя вершиной прогресса, представляется теперь началом глубокого регресса, который привел к тупику эволюции. Идти ли от концепции Дарвина, схематически изображавшей исторический путь в виде дерева с развивающимися или бесплодными, обреченными ветвями, или отталкиваться от новейших представлений о циклическом характере, повторяемости эволюционных процессов — вопрос скорее к философу, чем к психологу. В любом случае, оглядываясь назад, мы видим провал, выпадение из исторического времени.

«Весь мир насилия мы разрушим до основания» — сам этот ведущий посыл, увековеченный в строках партийного гимна, стал роковым. Все, что было раньше, — недействительно. Право на существование имеет только новое, и новое начинается с нас. Исключив из духовной жизни важнейший ее аспект — живую память, возвращение, воскрешение эпизодов из жизни предков, ощущение своей неотрывности от них, — человек вступает в конфликт не только с прошлым, но и с живой природой, средой обитания, уничтожая ее в невиданных масштабах. Тотальная ложь, самообман туманом застилают одно из ведущих начал в психике — принцип реальности.

Полностью нарушается бессознательно существующая связь человека со всеми формами органической жизни.

Все мы «проходили» историю гражданской войны: по школьным учебникам, по бесчисленным книгам и кинофильмам, по музейным экспозициям. Участники боев, пока были живы, использовались пропагандой как живые хранители памяти. Их приглашали в школы, в клубы, на пионерские костры. Реальные события дали материал, из которого были вылеплены иконоподобные образы героев — первых святых и мучеников коммунистической эпохи.

Эти образы — романтически приподнятые, рыцарственно безупречные — преподносились как прекрасный идеал, немеркнущий образец: перед кем преклоняться, кому подражать, с кого делать жизнь. И это вполне удавалось. Щорс, Чапаев, Фрунзе — не живые, реальные люди, о которых не известно было почти ничего, а наделенные способностью говорить и действовать памятники — для многих поколений сыграли роль ведущего духовного ориентира.

За нашу жизнь было дорого заплачено. Такие люди пожертвовали собой ради нашего счастья! Это был ведущий эмоциональный посыл легенд о гражданской войне и ее героях.

Отечественная война заслонила все, что было пережито до нее. Появилась новая когорта героев. Но вскоре вновь вспыхнул интерес к «той далекой, гражданской». После разоблачения сталинского культа массовое сознание испытало мучительную потребность — вычленив из истории все, что было связано со Сталиным, и, посылая проклятия ему, сохранить в неприкосновенности весь остальной свод священных представлений. Главное преступление Сталина виделось в том, что он предал идеалы революции, исказил замыслы ее бессмертного вождя. Он физически истребил ленинскую гвардию — закаленных, проверенных борцов с царизмом, которые одни только могли дать ему отпор.

Первая атака на тоталитаризм не разрушила, а, наоборот, мощно укрепила его основы.

И вновь хлынул поток романов и фильмов, стихов и песен о гражданской войне. В них уже было меньше плакатности и больше психологической достоверности, они пытались что-то объяснить. «Комиссары в пыльных шлемах» стали наполняться каким-то человеческим содержанием, они приходили к нам издалека — уставшие, несущие в душе тяжкий груз, но по-прежнему представляющие собой эталон мужественности и справедливости.

Они создавали иллюзию нашего общего приближения к исторической правде.

Прошлое — в таком освещении, в такой интерпретации — сидит в нас очень крепко. Даже теперь. Кадр из старого фильма, фраза из песни вызывают в душе какой-то странный, щемящий отзвук. Но существует и другой пласт памяти.

Интересно, что до сих пор период, наступивший сразу после революции, мы называем временем гражданской войны. Война — это нечто регулярное, следующее своим, пусть жестоким, бесчеловечным, но все-таки правилам, имеющим четкие очертания: тыл и фронт, театр военных действий и не затронутые боями территории. Война задевает всех, но есть все же грань, отделяющая войско от мирного населения.

Гражданскую войну, при всем ее своеобразии, тоже можно описать именно как войну: показать на карте движение армий, обозначить места сражений, обрисовать ход противоборства.

Но это будет лишь малая часть того, что происходило в те годы и для чего вообще трудно подобрать название. Разве что — всеобщая бойня.

Передо мной шесть писем, которые старый русский писатель В. Короленко адресовал другому писателю — А. Луначарскому, ставшему одним из лидеров большевизма, членом правительства. В Полтаве, где жил Короленко, войны как таковой в то время не было. Но в каждой строке писем присутствует смерть.

«...По вопросу об этих двух жизнях были разные, даже официальные мнения... В Чрезвычайную комиссию поступило предложение губисполкома, согласно заключению юрисконсульта, освободить Аронова или передать его дело в революционный трибунал.

Вместо этого он расстрелян в административном порядке».

«...На улице чекисты расстреляли несколько так называемых контрреволюционеров... Народ, съезжавшийся утром на базар, видел еще лужи крови, которые лизали собаки...»

«В сообщении официальной газеты приведены только четыре имени расстрелянных 30 мая, тогда как определенно говорилось о пяти. Из этого встревоженное население делает заключение, что список неполон... Доходят до чудовищных слухов, будто даже прежняя процедура еще упраздняется до невозможного отсутствия всяких форм, говорят, что теперь можно обходиться даже без допросов подсудимого...»

«Бессудные расстрелы проходят у нас десятками, и — опять мои запоздалые или безуспешные ходатайства...»

«...Я узнал, что 9 человек расстреляны уже накануне, в том числе одна девушка 17 лет и еще двое малолетних...»

«По временам ночью слышится выстрелы. Если это в юго-западной стороне — значит, подступают повстанцы, если в юго-восточной стороне кладбища — значит, кого-нибудь (может быть, многих) расстреливают... Теперь идет уже речь о расстреле заложников, набранных из мест, охваченных повстаньем...»

В хрестоматийных образах «красных» неизменно подчеркивалась готовность к самопожертвованию: отдать свою жизнь ради победы великого дела.

Беглые зарисовки, выполненные пером беспартийного очевидца, показывают другое: готовность убивать. Какую-то особенную поспешность, торопливость в убийстве. Не тратить времени на судебное разбирательство. Расстрелять прямо на улице. Такого нетерпения не бывает, когда люди исполняют тяжкое для них, хоть и необходимое дело. Спешить заставляет желание, настоятельная душевная потребность.

Потребность убивать. И полная свобода при этом, ничем не ограниченный право — распоряжаться жизнью другого.

«Озверение достигло уже крайних пределов», — пишет в отчаянии Короленко. С позиций психоанализа эта формула безупречно точна. Когда убираются внутренние и внешние барьеры — запреты культуры и неотвратимость кары за убийство, — в душе пробуждается человек-зверь. А те потаенные силы, которые должны были бы его остановить, удержать, — мобилизуются на защиту, на оправдание убийства. Парадоксальнейшее сочетание темного порыва, идущего из глубин бессознательного, с изворотливостью ума, виртуозной нашей способностью объяснить, доказать необходимость — рационализировать любое действие! Мы убиваем не ради удовольствия, но во имя величайшей цели, во имя народа, его светлого будущего. Те, кого мы убиваем, — враги, преступники, они не имеют права жить.

Из всех бесчисленных жертв революции самой тяжелой были дети.

Возраст перестал быть защитой и оправданием: ребенка, читаем мы в тех же письмах, можно было с такой же легкостью, «в административном порядке», казнить, что и взрослого. Это говорит о том, как далеко зашел массовый регресс психики — ее отступление назад, к примитивным, давно преодоленным человечеством стадиям развития. Запрет детоубийства относится к самым ранним этапам эволюции. Если судить по библейскому мифу об Аврааме, который готов был принести в жертву Богу своего сына Исаака, но был остановлен посланным с небес ан-

гелом, этот запрет появился где-то в одно время с заменой на алтаре человека жертвенными животными. То есть еще не так много было пройдено по пути очеловечивания, но люди уже выработали в себе отношение к жизни ребенка как к высшей ценности... Опыание морями крови, непрерывная, годами длящаяся цепь убийств заставили переступить даже через этот великий запрет.

Все, что происходило, — происходило на глазах у детей... Они видели этих собак, лижущих человеческую кровь на мостовой. Они теряли близких. Но когда смерть начинает «гулять», косит направо и налево, страх перед ней притупляется. Убийство — величайшее злодеяние, несмываемый грех — становится чем-то вполне обыденным, заурядным. А если его совершает самый дорогой, самый авторитетный человек, оно освящается, приравнивается к подвигу, к особо достойному поступку. Наши отцы — герои революции, они были беспощадны к ее врагам, они победили. Иногда задают вопрос: как мог сталинский режим навербовать столько палачей, столько безжалостных исполнителей, следователей, надзирателей, охранников? Это были они — дети революции.

Ну, а другие, не имевшие отношения к чудовищной репрессивной машине? Письма Короленко, на которые не считал нужным прореагировать Луначарский, очень выразительно показывают реакцию здорового, не одурманенного сознания на то, что представляли собой будни революции. Допустим, такие свидетельства, как эти письма, были от нас надежно упрятаны. Но ведь очень многое мы знали и сами, знали всегда. Мы знали о «красном терроре», хотя и не могли достаточно ясно представить себе его масштабы. Не была полной тайной деятельность ЧК, всевозможных трибуналов, «двоек», «троек». А разве в наших любимых книгах и фильмах не было эпизодов, когда герой, не потрудившись разобраться, кто перед ним, бросает отрывисто «к стенке» или «в расход»? И у кого хоть раз в душе шевельнулось сомнение? Кто хотя бы мысленно заступался за жертву произвола? Представления о «героях революции и гражданской войны», которые нам преподносились, были во многом очищены от кровавой правды, но не до такой степени, чтобы ее нельзя было почувствовать вовсе. Но мы ее принимали, мы затверживали ее еще мальчишками, играя в «Чапаева», а потом, став взрослыми, передавали собственным детям...

И отголоски слышны до сих пор. «Да расстрелять их мало», — первая реакция на любое возмущающее нас явление. От этих слов, конечно, до дела дистанция порядочная, но они выдают



отношение — насильственная смерть воспринимается облегченно, без душевного содрогания. А с какой яростью большая (согласно опросам) часть общества воспротивилась идее отмены смертной казни? Я читал множество писем на эту тему. Меня поразила в них не столько сама позиция, сколько излучаемый текстом накал агрессивности. Ни практические соображения (ни в одной стране, где сохраняется эта высшая мера наказания, не отмечено смягчения нравов), ни глубочайшая нравственная суть проблемы (отнимая жизнь у преступника, общество становится с ним вровень, принимает на себя тягчайший грех) не могут пробиться к сознанию, они даже не рассматриваются, не оцениваются. Властвует архаический, из тьмы веков доносящийся императив — «око за око, зуб за зуб».

Вас поражает жестокость чеченской войны? А вы вспомните тех малолеток, которые были в 1920 году расстреляны в Полтаве.

Революция ушла в прошлое. Но свои жертвы она продолжает собирать и поныне.

## **ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПСЕВДОНИМЫ**

Ленин, Сталин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Молотов... Созвездие псевдонимов.

Почему почти никого из вождей революции мы не знаем под их настоящими, подлинными именами?

Собственно, откуда взялись эти вторые, ложные имена, нам объяснили еще в детстве. Партия боролась в подполье. Царская охранка выслеживала революционеров. Необходима была тщательная конспирация. Клички, фальшивые паспорта...

Но почему же ни у кого из вождей после победы не возникло желания вернуться к своей подлинной фамилии? Они верили, что положили начало новой эпохе. Они не сомневались, что останутся в истории на века. Почему же ни у одного не возникло желания управлять огромной страной, войти в бессмертие под тем именем, с которым каждый из нас срастается с детства?

Они боялись, как бы в восприятии их массами чего-то не нарушилось? Но ведь массы — в точном смысле — узнали большевистских лидеров уже после их победы. Ленина узнали как Ленина, Сталина как Сталина — а могли узнать как Ульянова и Джугашвили. Никакого смятения в умы это бы не внесло.

Соображения национальные? Во главе России должны стоять русские, хотя бы с русскими фамилиями люди? Сталину приписывались такие мысли, но и это мне не кажется убедительным. Троцкий звучит ничуть не более «по-русски», чем Бронштейн. А

Ленин? А Молотов (Скрябин)? А Киров (Костриков)? К тому же все это — из области тонких психологических нюансов. Большевики же, чтобы удержать власть, полагались на совершенно иные способы воздействия.

Я долго не мог подобраться к решению этой загадки, пока, совершенно неожиданно, не получил подсказку...

Счастливый момент рождения ребенка. Обессиленная мать, суеверные вокруг нее люди в белых халатах... Наконец, первый крик младенца, и сразу же взволнованный голос, возглашающий: мальчик! Или же — девочка!

И в эту же самую секунду в мозгу матери щелкает какое-то таинственное реле, и весь поток чувств, мыслей, ассоциаций, душевных волнений устремляется по одному из двух каналов. Нельзя быть матерью ребенка вообще, можно быть матерью сына или матерью дочки — между этими двумя ипостасями существует хоть с трудом уловимая, но огромная разница.

Нечто похожее происходит и с отцом новорожденного, со всеми другими родственниками, близкими, друзьями. Множество ритуалов и символических действий, давно утративших мистический смысл, но сохраняющих магическую власть над психикой, закрепляют младенца за женским или мужским полом. От цвета ленты, которой завязывают конвертик, до выбора имени.

Как же определяется пол только что родившегося ребенка? Ну об этом можно даже не спрашивать, достаточно одного взгляда... Но бывает, что нетипичное строение половых органов вводит в заблуждение врача или акушерку, принимающих роды. Мальчика записывают девочкой, девочку — мальчиком. Это чисто зрительные ошибки, и чаще всего, очевидно, они тут же бывают замечены — врачами или самими родителями. Но такие случаи в поле моего зрения не попадают.

Итак, ребенок растет под знаком противоположного пола. Разумеется, те, кто его купает и пеленает, очень быстро начинают замечать: что-то с ним не то. Но истина прячется от них — такова сила первоначального убеждения, оно превращается в непробиваемый барьер, даже для самоочевидного. Родные даже не перепроверяют себя, не задают вопросов. Они застывают в горестном сознании, что в семью пришла беда. Дитя родилось с патологией.

Маленький ребенок тем более не способен преодолеть первичную самоидентификацию. Мальчики считают себя девочками, девочки — мальчиками, но не такими, как все, имеющими страшный изъян.

И ребенка, и всю его семью гнетет груз ужасной тайны. Все

равно кто-то из окружающих замечает неладное. Начинают роиться слухи.

С появлением вторичных половых признаков скрывать шило в мешке становится просто невозможно. И человек обращается к врачам, чаще всего московским — подальше от дома и повыше уровнем, — умоляя «сделать с ним что-нибудь». Подразумевается операция, которая избавит от позора, устранив «дефект».

Тут и происходит наша встреча.

Не испытав этого в деле, невозможно даже представить себе, какие заслоны выдвигает психика, чтобы не допустить разрушения изначальных представлений о том, что есть Я. В моей практике были ужасные случаи, когда сломать эту защиту не удавалось никакими средствами, и бессмысленная, калечащая операция все-таки производилась, человек воистину становился уродом. Но чаще, шаг за шагом, месяц за месяцем, мне удавалось расшатать барьер. Медленно, в мучительной внутренней борьбе истина начинала пробиваться в сознание. Пациент уже не рвался на операционный стол, соглашался хотя бы выслушать мои предложения — а предлагал я попробовать пожить хоть немного в ином образе, незнакомцем среди незнакомцев. Наконец, получал согласие...

И вот тут наступал момент, ради которого я и предпринял сейчас этот долгий экскурс.

Осуществить эксперимент технически мне было несложно: есть больницы с мужскими и женскими отделениями. Администрация идет мне навстречу. Остается только заполнить историю... Но ни разу, подчеркиваю, ни разу пациенты не соглашались на то, чтобы в бумагах фигурировало их подлинное имя. Психологическая перестройка в них не завершилась, предприятие казалось им ужасным, постыдным, кощунственным. И перешагнуть через это они не могли. Но вот чудо: когда я предлагал им выбрать псевдоним, все препятствия мгновенно снимались. Под чужим именем они были готовы на все.

В первый раз, измаявшись в бесплодных препирательствах, я нащупал этот выход интуитивно. В дальнейшем использовал его не задумываясь — как готовый прием. И не было случая, чтобы он меня подвел.

Этот парадокс приоткрывает перед нами одну из величайших тайн человеческой души.

Мое имя — это я сам, фамилия — тоже я в бесконечной череде поколений. С ними неотделимо спаяна первичная идентификация — фундамент нашего Я. Имя вбирает в себя личность целиком, с ее характером и миром эмоций, со всеми регулятора-

ми высшего порядка (Сверх-Я, по Фрейду) — той самой инстанцией бессмертной нашей души, которая требует нас к ответу за каждый поступок.

Сверх-Я бдительно и неподкупно, его нельзя заставить умолкнуть, но зато довольно легко перехитрить. Смена имени — одна из таких универсальных, издавна известных уловок. Совершается как бы превращение в другого человека, за которого Я уже не несет такой ответственности. И сразу слабеют укоры совести, страх перед расплатой.

Чужое имя — маска, она помогает спрятаться от других. Отмежеваться от своего сословия — откуда пошла традиция артистических псевдонимов, от национальности и религии, от предков. Я хорошо помню, как и девушка, за которой я ухаживал в институте, и мой первый главный врач в Иркутске уговаривали меня заменить мое чисто еврейское имя — Арон — на более нейтральное. Глубокий символический смысл имеет и смена женской фамилии при замужестве... Можно было бы составить целый свод традиций и обычаев. Но сейчас приходится ограничиться лишь одной гранью этого феномена: когда имя-маска прячет человека от самого себя.

Скрыв настоящее имя за вымышленным, легче делать то, чего делать нельзя. Придумав кличку, преступник развязывает себе руки. Нельзя грабить, нельзя убивать, нельзя обманывать, нельзя выпускать на волю человека-зверя в себе... Простые истины, к которым человечество пришло, несчетное множество раз пережив угрозу самоистребления. Самому заматерелому разбойнику, самому циничному шпиону внутренний голос говорит, что, нарушая эти заповеди, они берут на душу страшный грех. Они давят в себе этот голос, не впускают его в сознание, кличка помогает им в этом... Но настоящее лицо не может исчезнуть до конца даже за самой плотной маской.

В этом мне видится и психологическая разгадка псевдонимов, в которые лидеры революции как бы замуровали собственные имена.

Мы никогда не задумывались над тем, что происходило в их душе в момент, пользуясь канонической формулировкой, ухода в революционную деятельность. Отречение от старого мира — и от себя в нем — освобождало сразу от всех правовых и моральных ограничений. У революции — свои законы, своя особая шкала понятий о добре и зле. Убийство жандарма — не убийство, а акт справедливого возмездия. Экспроприация — не грабеж, а возвращение подлинному хозяину несправедливо похищенного...

Но, очевидно, в потаенных, прочно запертых внутренней цензурой глубинах души они были для себя именно тем, кем их видели благонамеренные подданные царского режима, — государственными, а в иных эпизодах и уголовными преступниками.

И они прятались за псевдонимами, прибегая к ним как к испытанному способу психологически уцелеть.

Так было в годы подполья. После революции же эта потребность должна была только усилиться.

Террор был необходим, чтобы удержать власть, навязать свою фанатичную волю миллионам людей, восставших против нее. В их понимании террор был необходим как средство самозащиты: если бы большевики проиграли, никто из них, а тем более лидеры, не был бы помилован.

Но в вакханалии убийств неизбежно присутствует и террор ради террора. Кровь опьяняет. Остановиться невозможно.

Психологически я не вижу разницы между рядовыми исполнителями приговоров, членами безвестных губернских «троек» и вождями, запустившими адскую машину. Их несла та же волна.

«Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не менее 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц...»

«Чем больше число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше...»

«...Новая экономическая политика требует новых способов, новой жестокости кар...»

Это — из писем и директив Ленина.

«Всех лиц, уличенных в дезертирстве, расстрелять на месте». «Комиссар имеет право беспощадно расправиться с контрреволюционером вплоть до расстрела».

«Подготовить все для разгрома мятежа и мятежников железной рукой».

«Виновный — об этом нечего и толковать, тут вопрос ясен и прост — должен быть расстрелян...»

Это — из приказов и распоряжений Троцкого.

Он готов был применить на фронте «удушливые газы». Он считал вполне приемлемым впустить войска Юденича в Петроград. «Артиллерийский обстрел Петрограда мог бы, конечно, причинить ущерб отдельным зданиям, уничтожить некоторое количество жителей, женщин, детей. Но несколько тысяч красных бойцов, расположившихся за проволочными заграждениями, баррикадами, в подвалах или на чердаках, подверглись бы в высшей степени ничтожному риску в отношении к

общему числу жителей и выпущенных снарядов...» Эти проекты не были осуществлены. А вот идея заградительных отрядов — когда за спинами участвующих в бою частей сидят вооруженные солдаты с приказом расстреливать всех отступающих — была не только широко использована в гражданскую войну, но и заимствована Сталиным в Отечественную.

Написанное рукою Троцкого выдает не только злую, безжалостную волю, не только готовность подчинить весь мир своим планам. Между строк сквозит явное удовольствие. Фантазия играет, рождаются нестандартные, остроумные мысли... Профессиональные военные стараются отодвинуть от себя конкретные представления об убийстве: они используют обезличенные, не вызывающие зримых ассоциаций формулировки — «потери в живой силе», «мирное население». Троцкий, наоборот, выражается очень предметно: «уничтожить женщин, детей». И еще одно бросается в глаза. «Командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью сзади» — так рассуждать может только человек, безусловно, безоговорочно принадлежащий к «командованию», исключая для себя малейшую возможность оказаться там, среди поставленных между двумя смертями. Он — это власть. А право убивать без счета — высшая привилегия и высшее наслаждение власти...

Новыми глазами читаю я теперь послереволюционные работы Ленина. То, что всегда казалось накалом убежденности, грандиозной воли, звучит как цепь непрерывных самооправданий. Мы обязаны были это совершить. Не вина, а великая наша заслуга, что мы нашли в себе для этого силы.

Может быть, и в своей не знавшей берегов ненависти к церкви Ленин видел в ней не просто могущественного противника, соперника в борьбе за монопольное право распоряжаться людскими душами? В ярости антиклерикальных филиппик, в особой беспощадности к священникам мне слышится не только голос разума... Владимир Ульянов получил последовательное религиозное воспитание. Это означает не только усвоение Священного Писания, знание догматов. Психика получает особый настрой, или, что то же самое, но в иных терминах — в душе поселяется Бог. Рассудком можно от него отмежеваться, но выдворить окончательно — никогда. Живущий в душе Бог неотделим от страдания, вызываемого чувством греха. Страдание невыносимо, и снять его можно если не покаянием, искуплением, то лишь чередой новых, еще более чудовищных грехов. Вплоть до самого

беспримерного — греха отцеубийства, которым, если довериться психоанализу, должно было стать для Ленина убийство царя.

Этот груз Владимир Ульянов не в состоянии был нести сам. Он переложил его на Ленина. По крайней мере, разделил с ним пополам.

Может быть, и сверхценная вера Троцкого в торжество мировой революции получала энергию из тех же источников?

Дух эпохи был пронизан не только верой, энтузиазмом, самопожертвованием. В нем сквозил ужас — ужас беспомощных жертв и ужас тех, по чьему требованию были принесены эти жертвы.

Этот ужас — через тысячи невидимых нитей, образующих механизмы передачи социальной информации, деды и отцы передали нам. Бессознательно мы все несем в себе эту страшную, разрушительную память. Неизжитое чувство вины отзывается и сейчас трагическими душевными конфликтами.

Мы — наследники.

Каждый из нас в своем нынешнем состоянии может быть рассмотрен как тупик эволюции — если генеалогически проследить наши прямые связи с прошлым. И фиксированное, целенаправленное закрепление в нас мироощущения «детей революции», которому тоталитарная система подвергала каждое вступающее в жизнь поколение, предстает сейчас как трагический конфликт между тем, чего мы хотим от себя, и тем, на что реально способны.

В страшном 37 году, накануне двадцатой годовщины Октября, я, маленьким мальчишкой, увидел из окна Дома пионеров человека, который нес на спине деталь праздничного оформления: две деревянные крестовины в форме римской десятки. Как сейчас вижу их — массивные, тяжелые, выкрашенные в яркий красный цвет. Нести их было тяжело, человек согнулся чуть не пополам. И вдруг меня пронзил неистовый страх: что будет, когда революции исполнится 70 лет? Я не знал тогда, что римские цифры позволяют достаточно компактно изобразить число 70. Я представил себе семь таких неподъемных крестов — почему-то именно семь, а не шесть и не десять, — и этого человека, расплющенного, как лягушка, страшной тяжестью, пригвоздившей его к земле.

Почему из множества прочно забытых впечатлений детства именно это вдруг ожило сейчас в памяти? Но видение оказалось пророческим. Своим чудовищным грузом коммунистическая система раздавила и человека, и его дела.

## СТАЛИН НА ПОСТУ

«Нас вырастил Сталин», — звучало много лет в нашем государственном гимне. Потом эта строка, в духе изменившегося времени, была сочтена неуместной. Ее вычеркнули, заменили другой. Смысл ее, однако, оказался неуничтожим. Нас вырастил Сталин.

Политической биографии величайшего из тиранов посвящено много книг. Тома взаимодополняющих и взаимоисключающих исследований: деяния, анализ эпохи, влияние на судьбы мира. Извлеченные из небытия документы. Свидетельства бесчисленных очевидцев. Если все суммировать — не только каждый день, но и час, и минута окажутся где-то учтенными. Все зафиксировано, сопоставлено и подробно откомментировано.

Вместе со всеми, кто пережил мучительную духовную эволюцию от безоговорочной любви и преданности до столь же бескомпромиссного неприятия и отрицания, я внимательно следил за всем, что писалось и печаталось о Сталине. Вначале было ощущение, что с глаз постепенно спадает пелена: с каждой новой книгой я больше узнаю, лучше начинаю понимать. Но с какого-то времени количественное прибывание информации перестало усиливать эффект прозрения. Чем больше мне становилось известно, тем отчетливее я различал перед собой черту, дальше которой никто увести меня не мог.

За этой чертой — личность человека, родившегося под именем Иосифа Джугашвили, сына сапожника и прачки.

Каким он был? Известны оба набора эпитетов — эксплуатировавшихся при жизни «отца народов» и общепринятых ныне.

Мудрый, прозорливый, величайший из (вождей, полководцев, ученых, стратегов, мыслителей и т. п.), заботливый, бесстрашный, гениальный, бессмертный...

Жестокий, коварный, трусливый, бессердечный, властолюбивый, мстительный, беспринципный, лицемерный, лживый...

Но ни один из этих списков, сколько их ни продолжай, не дает представления о живом, конкретном человеке. Первый — понятно: он изначально предназначался для другого. Не для создания психологически точного портрета, но для процедур, аналогичных воскурению фимиама идолам. Но и второй точно так же не интегрируется в объемную человеческую фигуру. Да, коварный, да, жестокий, да, лицемерный... Но как представить себе путь по земле, среди людей, такого чудовища — не после того, как он воцарился в Кремле, окруженный лишь горсткой запуганных до потери сознания приближенных, а задолго до того, в быт-



ность свою простым смертным? История донесла, что у него была недобрая репутация, многие о нем дурно отзывались, не рвались сближаться. Но ведь не отказывались иметь с ним дело, не изгоняли из своей среды, как изгоняют прокаженных! Были люди, которых он называл своими друзьями. Были и называвшие своим другом его.

Составлять портрет по поступкам, в них искать отпечатки личности? Многие исследователи пытались идти этим путем. Но слишком многое в действиях Сталина не укладывается ни в какие рамки, ни в какие рациональные схемы, не поддается логическому анализу, объяснениям с позиции здравого смысла. То, что открывается при такой расшифровке действий, кажется несовместимым с самим понятием «человек», независимо оттого, что в нем видеть: венец творения или сосуд греха. Отсюда навязчивая мысль, преследующая многих биографов Сталина: приписать все его чудовищные злодеяния психической болезни.

Пытаться вычленил из всего, написанного Сталиным и о Сталине, хоть какие-то штрихи автопортрета? Но и это бесполезно. В том, что вышло из-под его пера, Сталин оставил лишь минимальные отпечатки своей личности. В этом смысле его наследие почти стерильно, что тоже можно считать удивительным психологическим феноменом, хотя историки могут с этим и не согласиться. Сохраненные же памятью очевидцев монологи и реплики чаще всего говорят не о том, что он приоткрыл, показал в себе, а о том, что предъявил вместо тщательно запрятанного. О величайшем, непревзойденном искусстве психологического камуфляжа.

Многими, например, цитируется фраза Сталина о сладости мести: ее нужно долго готовить, усыпляя бдительность жертвы, а потом нанести неотразимый удар — и спокойно идти спать. На этом высказывании построено множество умозаключений. Но откуда может взяться уверенность, что в эту минуту Сталин говорил искренне о себе? Что это не было ходом в одной из его бесчисленных неисповедимых комбинаций — внушить, что он думает так и поступает так, дать иллюзию понимания себя? И притом не одному, а сразу многим — ведь фраза пошла гулять, и это, по всей видимости, входило в расчет, потому что, когда Сталину требовались гарантии неразглашения, он умел обеспечить их стопроцентно. Дать сорваться с уст неосторожному слову — тем более такому опасному, разоблачающему, указывающему, что в действиях вождя и учителя могут присутствовать какие-то сугубо личные мотивы... Вяжется ли это с образом грозного «хозяина», как многие его называли?

Тайна была едва ли не главным сталинским оружием. Он, как никто, понимал мощь этого оружия и, как никто, умел им пользоваться. Созданная им система функционировала так, что каждому человеку открывался для прямого обозрения лишь крошечный участок действительности. Все остальное было скрыто непроницаемой пеленой секретности, немоты или дезинформации. Сейчас нам кажется, что пелена спала, все открылось, все разоблачено (неумирающее сталинское словечко в нашем лексиконе). Но я не думаю, что это и вправду так. Многие закопано так глубоко, что вряд ли всплывет когда-нибудь на поверхность.

Самой главной сталинской тайной был сам Сталин.

О чем он думал? Какие потаенные мотивы раздули до таких небывалых, гиперболических размеров душевные свойства в общем-то не уникальные, давно отслеженные и распознанные человечеством: властолюбие, жестокость, вероломство, презрение к людям и к самой жизни? Были ли ему действительно неведомы естественные чувства и переживания — любви, привязанности, хотя бы простой растроганности — или он знал секрет, как задушить их в себе?

Что привело его в стан революционеров? Мощные социальные бури увлекают многих самой силой восходящего потока. Но ведь юный Джугашвили примкнул к социал-демократии задолго до революции. Нужны были какие-то чрезвычайно могучие внутренние побуждения, чтобы изменить уже сделанный однажды выбор, обещавший сказочное для мальчика из бедной семьи возвышение, бросить семинарию, вступить на чреватый множеством опасностей путь бунтовщика. Какие же? Что именно в Марксовом учении, да еще с первого и наверняка поверхностного знакомства, оказалось так созвучно душевному устройству молодого грузина?

Где у Сталина грань между бессознательными защитными механизмами и сознательными уловками, где в его поведении непосредственный отблеск натуры, а где продуманная, на много ходов вперед просчитанная игра?

Есть много свидетельств в пользу сталинского садизма. Человеку, почувствовавшему себя «на крючке», охваченному ужасом, Сталин лично давал заверения в его безопасности — но через короткое время, чуть ли не на завтра, жертва оказывалась в руках палачей. Известны и другие случаи — когда арест представлялся неизбежным, но вопреки подтверждениям так и не совершался. Невыносимое, до самоубийства доводящее ожидание... Зачем нужны были вождю эти излишества, когда репрессивная машина была отлажена лучше, чем любая другая машина у него

в государстве? Усилить мучения жертвы? Поиграть с ней, как играет с полужадушенной мышью сытая кошка — разжимает зубы, убирает когти, даже отворачивается, но стоит пленнице рвануться прочь, тут же ее прихлопывает?

Такая разновидность садизма еще не описана. Она близка к несексуальному садизму, как трактует его Э. Фромм, или характерологическому, по Гольдсмиту, но все же по многим признакам представляет собой нечто отдельное, не имеющее пока еще названия. А возможно, и не нуждающееся в нем. Стоит ли искать особый термин для существующего в единственном экземпляре?

Но что, если ошибаются те, кто приписывает Сталину садистические наклонности? Что, если поведением «отца народов» управляли не скрытые в бессознательном влечения, а сухой прагматический расчет? Ведь такое объяснение тоже полностью покрывает все известные нам факты. Создатель тоталитарной системы лучше, чем все остальные, вместе взятые, понимал ее природу, знал, что для нее полезно, а что губительно. Безусловно губительно — ослабление страха (что подтвердилось и исторически). Значит, страхом надо управлять, поддерживая его на нужном уровне, подобно тому, как я, чтобы мои рыбки благоденствовали, поддерживаю строго определенную температуру в аквариуме. Жестокий, кровожадный тиран страшен, но не беспредельно. Абсолютный, не знающий границ страх он вызовет, если плюс к жестокости будет непознаваем, непредсказуем. Тогда никто, нигде, ни на минуту не забудет о топоре, занесенном над его головой... В эту версию, не правда ли, игра с жертвами в кошки-мышки укладывается ничуть не хуже, чем в версию садизма. Но какая же верна в действительности?

А разве менее загадочен и иррационален другой Сталин — бесплотный, но живой, обладающий магнетической силой образ, живший в душе миллионов моих сограждан, да и теперь не исчезнувший окончательно? «Мы верили Сталину» — и власть этой веры была такова, что ее разрушение, утрату восприняли как величайшее несчастье, мучительно переживая страшную душевную опустошенность и сиротство. Но кому адресовалась вера? Реальному, во плоти и крови «хозяину» или Призраку, завладевшему душами?

Человек тоталитарной системы описан многократно, часто — блистательно: самоослепление раба, почитающего себя самым свободным и счастливым человеком, способность приходить в неистовство при виде вождя или даже его символов, перерождение инстинктов, заставляющее кричать на пороге смерти «да здравствует товарищ Сталин!», ослабление чувства реальности,

водящее сознание в страну мифов и коллективных галлюцинаций- Я вряд ли добавлю нечто существенное к этому портрету. Но он существует как данность: вот во что сталинская система превратила своих подданных. Но каковы были психологические механизмы этого превращения? Как оно шло? За счет чего такое множество людей, принявших все бедствия революционного времени во имя грядущей свободы, не только смирились с тиранством, но даже не заметили подмены?

Хочу понять личность Сталина — через те нестираемые отпечатки, которые она оставила в душах людей, через особенности его индивидуального «авторского почерка», которые во множестве направлений пронизывают и поныне тяготеющую над нами сталинскую систему.

Двойная система зеркал, чрезвычайно сложная в настройке и отладке — но зато обещающая, в случае удачи, закрыть многие «белые пятна» в наших представлениях о самих себе.

Много лет я провел над этой работой. Радость, когда я чувствовал, что приближаюсь к раскрытию тайны, сменялась отчаянием от грандиозности поставленной задачи. Временами хотелось все бросить; жизнь и без того сложна, зачем отягощать ее еще и кошмарами прошлого? В сталинскую эпоху прошли мои лучшие годы. Я старался быть таким, каким хотел меня видеть Сталин. Но, как и другие, я не знал его. Страшно будить свою память, отдаваться потоку воскресающих ассоциаций. Как можно было поддаться дурману, не понимать, не видеть очевидного? Мои родители, многие дорогие мои друзья ушли из жизни, так и не узнав правды. Мне больно за них: умереть в ослеплении... А может, это счастье?

Мертвый, в гробе мирно спи... Не в том ли высшая мудрость?

Но как же мои дочери, мои внуки? Что ожидает их? Что ни день, в политических комментариях, в речах наших лидеров проскальзывает неизжитая угроза: пришествие нового диктатора, реставрация тоталитаризма. Риск не уменьшается. Согласно многим прогнозам, он даже растет. Значит, мы признаем, что с нами вновь можно будет проделать ту же психологическую процедуру — ослепить, одурманить, сделать скопищем дрессированных людей? А признавая это, заранее смиряемся с такой перспективой?

Нераскрытые тайны мощно питают это убеждение — а вместе с ним нашу беспомощность, незащищенность.

И я вновь принимаюсь за дело. Разыскиваю источники, перечитываю Фрейда, провожу интервью. Думаю, вспоминаю....

## Невидимая клетка

Родившись в конце 20-х годов, я был одним из детей Сталина. Наш дом, наш двор. Семья. Отец, мама, бабушка. Стоит отключиться от сегодняшних событий, дать волю памяти — как живые, встают перед внутренним взором лица, образы, эпизоды, сцены. Но над всем, что всплывает из глубин неумирающего в нас прошлого, — один образ, одно лицо. Сталин и Ленин. Сталин и Ворошилов. Сталин и красные командиры. Сталин с маленькой черноглазой девочкой на руках — Боже мой, чего бы я ни отдал, чтобы оказаться на ее месте!

Портреты. Имя — крупными белыми буквами на красных кулачковых лозунгах. Рассказы о его жизни: как он бежал из царской ссылки, как вместе с Лениным делал революцию. Совершенно особенный голос диктора по радио, произносивший: «Товарищ Сталин!» Разговоры старших: Сталин решил. Сталин требует. Сталин учит. Сталин — это Ленин сегодня.

С первых дней, как я себя помню, мне внушалось, преподносилось, выдвигалось на первый план — Сталин и Ленин, Ленин и Сталин. Вот кому я обязан счастьем быть на земле! Я даже думал, что и родился благодаря вождям. В детском саду, 4—6 лет, во время праздников, я уже ходил в строю и нес маленькие, по нашему росту, портреты Ленина и Сталина: расшитые серебром на красном полотне профили, ярко сиявшие на фоне наших бедноватых костюмчиков. В комнате, где мы спали, висело изображение кудрявого мальчика. А Сталин, где же его детский портрет? Я даже спросил у кого-то об этом. Помню и ответ: мальчиком Сталин жил очень бедно, в маленьком далеком городе, где не было фотографов (тогда мне, естественно, не могло прийти в голову, что в том городе и богатые дети тоже не могли сниматься).

Ленин любил детей. Вместе с женой, Надеждой Константиновной, ездил в детдома, к сиротам, угощал их конфетами и вафлями. И Сталин любит детей. Он хочет, чтобы мы, советские дети, были самыми счастливыми в мире.

Я учился в школе № 9. В городе Горьком она была известна всем: школа имени Сталина. Нас так и называли: сталинцы. Обычные ребятишки благодаря этому становились какими-то особенными. «Вы должны гордиться», «вы должны быть достойными», — слышали мы на каждом шагу: Мы не такие, как все. С нас все должны брать пример.

В роковом 1937 году я вступил в пионеры. Впрочем, нет, это моя нынешняя формулировка. Тогдашнему моему восприятию соответствовала другая: меня приняли. Я должен был доказать, что заслуживаю этого. На пионерском костре, под дробь бараба-

нов, мы давали клятву: «К борьбе за дело Ленина-Сталина — всегда готовы!» Десятилетним мальчишкой я уже знал, что главное — это борьба. Этого требует от меня Сталин. Моя жизнь принадлежит ему. Сталин клялся на гробе (!) Ленина и выполнил свою клятву. Нам предстоит выполнить свою.

В еврейском клубе имени Розы Люксембург (мама была там бессменным библиотекарем, отец входил в общественный совет — как самый авторитетный знаток еврейской литературы) готовился праздничный вечер. Я любил стихи, публика тепло меня принимала. Решено было, что и на этот раз я буду выступать, именно со стихами о Сталине. Но что выбрать? На чем остановиться? Я помню, в каком волнении были родители — словно от исхода этого обсуждения зависела вся жизнь семьи. После бесконечных дискуссий остановились на стихотворении фефера «На самый верх горы...» — и его же стихах, на идиш, о Красной Армии. А что «на бис»? Художественное чутье подсказывало маме, что после серьезных, помпезных вещей хорошо прозвучат юмористические стихи. Но будут ли они уместны в такой вечер, после таких произведений? Не сочтет ли кто-нибудь, что они сбивают торжественность, «льют воду» на какую-нибудь не ту мельницу?

Во мне откладывалось: даже читать стихи о Сталине — дело великое, не допускающее ни малейших промахов.

Оставаясь один, я часто фантазировал: Сталин окружен врагами, ему грозит опасность, но тут появляюсь я — и, рискуя собственной жизнью, спасаю великого вождя. Потом я узнал, что у моих друзей, Вали Новожилова и Юры Железнова, были точно такие же мечты. Не помню, чтобы фантазии такого рода возникали по адресу наших собственных родителей.

Все знали, что любимая песня Сталина — «Сулико». Она постоянно звучала на всех концертах, по радио. Я испытывал огромное внутреннее неудобство оттого, что никак не мог себя заставить полюбить эту песню. Я ощущал это, как внутреннее предательство! Но ничего не мог с собой поделать — душа моя не принимала песни о смерти. «Замучен тяжелой неволей». «Вы жертвою пали...» Детская изворотливость подсказала выход: я переделывал самые нелюбимые строчки и, когда песня звучала, накладывал на нее мысленно свою версию. Вместо «жертвою пали» — «мы победили в бою роковом». А в «Сулико» — «могилку милой мы долго искали, она оказалась жива...» Я и Лермонтова подправлял, там, где не находил в его стихах созвучия со своими представлениями. Бессмертная поэзия становилась под такой редакцией жесткой, трескучей. «Революционный взгляд горит, вра-

гам он смерть сулит...» Самым почитаемым мною автором был Демьян Бедный. Во-первых, он «бедный» — значит, наш. Пишет о народе, — значит, наш. Любит Сталина — тем более наш!

Какими мы были, дети Сталина?

Во дворе у нас жил старик, которого мы очень боялись, одновременно восхищаясь им. Он был для нас живой памятью революции. Он знал Веру Фигнер (а в Горьком есть улица ее имени), он дружил с Желябовым, позже со Свердловым (и такие были улицы). Как он ковал в революционном огне наше радостное детство, он не рассказывал, додумывали мы сами. Конечно, он помогал Ленину! Конечно, у него много боевых орденов! «Он убил несколько сот «беляков»! Он расстреливал буржуев, которые хотели увезти деньги из наших банков!» — воображение живо рисовало перед нами эти картины. Я не помню, чтобы хоть раз это кровавое зрелище — сотни убитых, горы трупов — заставило меня содрогнуться. Убийство было окружено для нас сиянием величайшего героизма, беспремерного подвига. «Враг» и «убить» не существовали порознь.

Мы не знали таких слов, как гуманизм, человеколюбие, благодеяние, милость. Их просто не было — ни в книгах, ни в речи старших, ни тем более в нашем обиходе. Жалость считалась позором. «Пожалеть врага» — самому встать в один ряд с ним. Наш мир был заполнен другими словами. Бой. Смерть. Атака. Победа. Беспощадность. Красное знамя. Красный пионерский галстук. Герои. Враги.

На примере своего детства я ясно вижу то, что понял, уже покрывшись сединой. «Слова управляют нами». Им невозможно было противостоять.

Мир представлял перед нами черно-белым, лишенным оттенков. Буржуи — рабочие, богатые — бедные, белые — красные, «свои» — враги. Пушкинская «Сказка о царе Салтане» вызывала во мне протест своим счастливым для царя концом: разве так должно поступать с царями? Почему вообще Пушкин писал о царе, неужели не мог найти кого-нибудь получше? Любя Пушкина, я снисходил к его слабости: конечно, он писал до революции, он не мог все так правильно понимать, как понимали мы.

Образ страны, образ народа входил в сознание не как великое множество разных людей, а как единая безликая масса. Наша славная армия: шеренги бойцов на парадах. Наша замечательная молодежь: тысячи одинаковых фигурок на физкультурных праздниках. Огромный, битком набитый зал поднимается в едином порыве, аплодисменты, счастливые и тоже как будто одинаковые улыбки — в президиуме появился Сталин. Я чувствовал, думал,

даже в своих опытах над классиками писал только — «мы». «Мы — пионеры». «Мы победили». «Мы пойдем на бой». До сих пор я чувствую внутреннее неудобство, когда нужно написать — «я». Нужно напрячься, преодолеть себя. Если дать руке полную волю, она автоматически напишет — «мы».

В Горьком на улице Воробьева или, как ее называли нижегородцы, Воробьевка, построили дом НКВД. Мы бегали смотреть на это здание. Массивное, украшенное колоннами — оно внушало ужас, но вместе с ним — и уважение, и гордость. Вот какие мы сильные! Враги нас не победят, разве можно сломать эти гранитные стены? Мысль о врагах была постоянной: они везде, они притаились, они только ждут удобного случая.

Я думаю, что моей детской душой постоянно владел страх. От этого постоянного ожидания удара из-за угла, от ощущения себя в кольце врагов. От непрерывных разговоров о смерти — о героической гибели наших кумиров, легендарных революционеров, участников гражданской войны, о позорном конце белогвардейцев, о справедливом возмездии предателям, шпионам и вредителям, которых становилось все больше, и о нашей собственной смерти, которой ежеминутно может потребовать от каждого «борьба за дело Ленина — Сталина».

Страх, очевидно, передавался и от родителей. Маленькой девочкой моя мать записала в дневнике: «Сегодня убили Столыпина. Будут или не будут погромы?» А почти полстолетия спустя: «Умер Сталин. Начнутся или не начнутся погромы?» Между этими двумя парализующими душу вопросами — целая жизнь, в которой страх был естественным, обыденным, повседневным состоянием, менялся только его накал и конкретные обстоятельства, заставлявшие трепетать от боязни за себя и за близких. Страх человека на войне — явной, грохочущей и тайной, бесшумной, когда ты в любую минуту можешь быть объявлен врагом. Страх перед голодом, не однажды пережитым. Страх перед сильными мира сего, имеющими безграничную власть казнить и миловать, и перед такими же маленькими, беззащитными людьми, которые могут вдруг ополчиться. Страх перед собственными, неуместными, кошунственными мыслями, перед грозной опасностью оказаться не такими, как надо, как требуется со всей беспощадной строгостью...

Я был обречен, этот страх должен был войти и в меня через тысячи невидимых ниточек-связей ребенка с родителями, прежде всего с матерью. В том числе и чисто биологических. Выражение, казавшееся метафорическим — «впитать с молоком матери», — имеет, как сравнительно недавно оказалось, и точный естествен-



нонаучный смысл: душевная тревога матери передается младенцу с помощью конкретных химических носителей.

Старшие у нас в доме всегда тщательно следили за собой, не говорили при нас с братом ни о чем, что не положено было обсуждать с детьми. Но не случайно так крепко засели в памяти проходные, совершенно не значительные вроде бы эпизоды. Внезапный стук в дверь — и на мгновение повисает пауза, старшие переглядываются, у них меняется выражение лица, и только после этого кто-нибудь идет открывать. Я не помню, пытался ли я разгадать, чего они пугаются, что угрожающего видят в приходе соседа или приятеля. Но ведь запомнилось... Значит, я был уже изначально приготовлен к восприятию таких сигналов.

Мальчишка не может признаться самому себе, что ему страшно. Вероятно, и я не выглядел внешне запуганным. Я верил в Сталина. Я надеялся на него: он не допустит, чтобы с нами случилось что-то плохое. Но этот страх до сих пор сидит в глубине моего Я и в самые неожиданные минуты подает голос.

Я застал время, когда в Горьком были действующие церкви, синагога и мечеть. Беспощадная война с Богом проходила при мне. Рушили церкви, свержали со звонниц колокола, третировали верующих. Атеизм воздвигался как культ — со своими ритуалами, со своим слепым фанатизмом. Революция может все — она смогла даже отменить Бога! Мы смеялись над Библией, над «поповскими бреднями»: довольно, хватит дурманить народ! Бога нет!

Как было и во множестве других семей, мои родители, воспитанные в глубокой вере, затем сознательно приняли безбожие, этого требовала от них революция, в которой они видели великую, очищающую, освободительную силу. Но в нашем доме законом была редкая по тем временам терпимость. Бабушка не изменила вере своих предков. Но ни она не упрекала сына и невестку в отступничестве, ни они не мешали ей оставаться самой собой. Бабушка брала меня в синагогу. Меня волновала таинственность, непонятные торжественные ритуалы. Что написано в свитках, которые все называют священными, в этих толстых, очень старых книгах? Но я продолжал упрямо твердить: «Бога нет!» «Ну, а кто же все создал? — спрашивала бабушка. — Кто спас от пожара дом моей сестры, когда горело все местечко? Уже к самым стенам подобрался огонь — и вдруг ветер переменялся. Кто, по-твоему, совершил это чудо?» Я знал это семейное предание, но уступать не хотел. «Ангелы! Их наука признает, в них и Агнесса Сергеевна верит», — в эту минуту я был в этом убежден, хотя ничего подобного моя учительница, разумеется, не говорила. Я очень любил бабушку, но и ощущал превосходство: они —

люди старого мира, это старики, которые молятся, их бесполезно убеждать.

Ходил по дворам священник закрытого православного храма А. Касаткин, зарабатывал черной работой на пропитание. У нас он пилил и колол дрова. «В несчастье все равны», — сказала бабушка и пригласила его пообедать, хотя это было небезопасно. Я впервые так близко увидел «попа» и был поражен: Касаткин ни капли не был похож на мракобеса, не заставлял меня вставать на колени и молиться. Бабушка была восхищена тем, что русский человек знает иврит, читал на нем Библию, с удовольствием ест еврейские кушанья. Пришел отец. С полным почтением поздоровался с гостем, сказал несколько слов и ушел. «Бойтся», — подумал я. Но такие впечатления откладывались в памяти «на потом». Поколебать меня они не могли.

Дома был томик стихов Надсона, тонкого русского лирического поэта. Его очень любила мама, часто читала. Я не мог этого понять. Что за поэт — пишет не о революции, а о любви! Значит, и мама — отсталая женщина? Я пытался ее переубедить. «Чему только учит школа!» — вздыхала мать. Но в разговорах со знакомыми она тоже говорила о великой эпохе, в которую нам выпало счастье жить, о мудрости вождя, о светлом будущем. Сорок лет спустя я напомнил ей об этом. Она сказала: «Я не могла не верить... иначе надо было бы удушиться. Мы защищались этой верой от кошмара, в который были погружены».

В будущем я видел себя только военным. Пограничником: держать границу на замке. О том же мечтали и мои друзья. Наверное, мама пыталась подвинуть мои мысли в другую сторону. Я не помню, что именно говорила мне она, но хорошо сохранилось в памяти мое ответное негодование — мне казалось, что она посягает на мои понятия о долге пионера. Хочет помешать тому, к чему я себя готовил, — пожертвовать собой, отдать кровь до последней капли... Я начинал ненавидеть ее в такие минуты. «Я люблю Родину больше, чем тебя», — выкрикивал с жестокостью мальчишки. Мирила нас бабушка: «Вырастет — поймет все сам». И добавляла по-еврейски: «Лишь бы жил своим умом».

Сбылось ли это бабушкино пожелание? Я не стал военным. Я не стал даже авиационным инженером (так трансформировалась со временем детская мечта), хотя успел пройти значительную часть профессиональной подготовки. Доверившись внутреннему голосу, я круто изменил путь и стал изучать психиатрию, оттолкнув от себя широко бытовавшую мистическую брезгливость к тяжким психическим состояниям и вообще к «копанию в душе». Оглядываясь назад, вижу и другие факты, говорящие, что спо-

способность жить своим умом, самостоятельно мыслить и полагаться на собственные выводы не была во мне окончательно убита. Я никогда не был фанатиком, часто позволял себе действовать вопреки предписаниям режима.

Но был ли я в состоянии самостоятельно прозреть, открыть для себя то, что стало пронзительно очевидно после выступления Хрущева? Мог ли сам, силой собственного разума, воли освободиться от сталинской химеры? Пусть не молодым человеком, каким я был в год смерти Сталина, пусть много позже — пожив, поумнев, набравшись опыта?

Боюсь, что нет.

Мы не освободились, вдруг или постепенно ощутив весь кошмар своего духовного рабства. Нас вывели из него, поместив в иную психологическую реальность, в которой уже не было былого тотального гнета, но сохранились многие его прирожденные черты.

Потому, возможно, уходя глубоко в себя, я по-прежнему нахожусь там «моего Сталина». Разумом, осознанным чувством я ни в чем не смыкаюсь с людьми, называющими себя сталинистами. Но самообманом было бы не замечать некоторого духовного родства.

Уличать в этом самого себя отвратительно. Но сейчас — пусть «мой Сталин» поможет мне в этой работе, приблизив, насколько это возможно, к объекту моего исследования...

## Лицо и маска

Рисуя политический портрет Сталина, А. Авторханов пишет:

«Сталин был холодный, скрупулезный и терпеливый калькулятор в политике, который знал не только границы своих возможностей, но и природу объекта, на который направлена его политика...» И далее:

«В его богатой уголовно-политической карьере вы не найдете ни одной предпринятой им политической акции, в которой он потерпел бы поражение. Даже став неограниченным диктатором, он не позволил себе ни эмоциональных взрывов, ни импровизированных решений. Как новые решения, так и пересмотр уже принятых готовились с расчетом на абсолютный успех».

Политолог оценивает факты: их жесткую выстроенность, их абсолютную подчиненность владевшей разумом идее, отсутствие внезапных, чисто человеческих ошибок, вызванных вмешательством незапрограммированных страстей и чувств в холодную работу мозга. Вместе с тем, как можно понять из текста, Авторханов

предполагает, что эмоциональные аффекты, внезапные импульсы все-таки возникали, но оставались под строгим контролем: Сталин «не позволял себе» подобных всплесков.

Но существовал ли он в действительности, эмоциональный мир Сталина?

К людям он был холоден и равнодушен. В том числе и к самым близким. Они существовали для него лишь как безликие статисты в исторической драме, в которой он был и сценаристом, и режиссером, и исполнителем центральной роли, а заодно — и критиком, и самым главным зрителем. Он поручал им более или менее ответственные роли, когда они могли быть ему полезны, и убирал без сожаления, если хотя бы потенциально представляли опасность для него. Если бы в нем происходили хоть какие-то душевные движения от гибели миллионов людей, уничтоженных по его инициативе, это наверняка бы как-то прорвалось — если не словом, то намеком, интонацией. Но ни одного такого мгновения запечатленная память о Сталине не сохранила. Таким же сухим, рациональным расчетом руководствовался он, решая вопрос о жизни и смерти попавшего в плен сына: выгоднее показалось отвергнуть предложение о его обмене — и отец бестрепетно санкционировал его гибель. Таким же пустым оставалось сердце Сталина и по отношению к дочери. Внимательно прочитав воспоминания Светланы Аллилуевой, я не нашел ни одной строки, которая говорила бы о живом отцовском чувстве, о глубинном душевном контакте мужчины и ребенка.

Люди приходили и исчезали, не оставив в душе никакого следа. И никакие «кровавые мальчики» Сталину не снились. Скорее всего, он вообще не видел снов.

Обладал ли Сталин творческим потенциалом? С той поры, как писал свои работы Ленин, а тем более — Маркс и Энгельс, уходило все больше времени. Жизнь менялась, появлялись все новые реалии. Человек, наделенный фантазией, творческим воображением, должен был хотя бы неосознанно внести что-то свое в теоретические построения «классиков», продолжить работу их мысли. Сталин же всегда оперирует «наследием» как чем-то незбылемым, раз и навсегда данным. Более того, именно в его интерпретации марксизм превращался в собрание догм. Безграничная, полная многообразия и противоречий жизнь съезживается под сталинским пером до простой и примитивной схемы со строго обозначенным количеством пунктов.

Даже юмор у Сталина был однолинейным, выхолощенным. Он мог поддеть человека, сделать его объектом незамысловатых, часто грубых шуток. Но ни в остротах, ни в розыгрышах Сталина

нет блеска непосредственности, нет игры ума. И не прискучивали ему анекдоты, которые он готов был рассказывать и слушать по множеству раз.

Дух человеческий, по Фрейд, представляет собой единство трех основных инстанций: это Я, то есть то, чем каждый себя сознает и ощущает, Сверх-Я — совесть, нравственность, мораль и, наконец, Оно — бесконечный и бездонный мир бессознательного. Наша родовая память, наши инстинкты и влечения, пережитый в самом раннем детстве и прочно забытый опыт. Здесь, в бессознательном, согласно психоанализу, берут начало чувства и мотивы поступков, стремления и страсти, здесь корни характера и главные пружины внутренних конфликтов...

Судя по поздним его работам, Фрейд допускал существование чудовищной личности, у которой Оно в значительной степени побеждено сухим, рациональным Я. Все человеческое оказывается такой личности глубоко чуждым. Личность, в которой Я побеждает, Оно несет в себе черты бездушного призрака. Ей неведомы жалость, сострадание, фантазии и мечты приобретают жестко социализированный, рудиментарный характер, эмоциональная сфера атрофируется, исчезает способность питать любовь и привязанность, сопереживать другим людям. «Социальный робот», запрограммированный на выполнение строго определенных функций.

Едва ли не все, что нам известно о Сталине, говорит о том, что именно такой была структура его личности. Грандиозное Я в сочетании с мощной внутренней цензурой, державшей под тотальным контролем всю сферу бессознательного, не пропускавшей наружу даже слабых ее отблесков. Робот, способный двигаться в единственном направлении — к завоеванию, удержанию и расширению пределов власти.

Редко, но такие люди встречаются. У меня был пациент, структурой личности удивительно напоминающий Сталина. Во время сеансов психоанализа я исчерпал все методы, в тщетной надежде вызвать на поверхность хотя бы косвенный сигнал из мира бессознательного. Увы! Придавившая Оно цензура ни разу не обнаружила даже легкой трещины. Одним и тем же ровным, лишенным красок голосом этот человек и рассказывал о преимуществах принципиально новой телефонной связи, разработанной им, и выражал сожаление, что наша страна до сих пор медлит применить ядерное оружие — то ли против Китая, то ли против Англии, сейчас уже не вспомню. Он прекрасно сознавал, что это приведет к неисчислимым жертвам, в том числе и с нашей стороны, но считал такую плату вполне соразмерной выигрышу.

Может ли человеческое существо жить и действовать с зашторенной практически областью Оно? Ведь именно в бессознательном — главный источник психической энергии. Наш клинический опыт говорит, что гипертрофированное, узкосоциальное Я способно черпать энергию не только в Оно, но и в ситуациях внешнего мира, компенсируя этим слабость и недостаточность либидо — естественного, природой предусмотренного генератора.

В тоталитарной системе, что уже неоднократно и подробно было описано, резко возрастает значение власти. Она расставляет все разнокалиберное, разношерстное население в подобие выстроенных побатальонно и поротно войсковых соединений, она превращается в главный стимул активности и в высшую награду за нее, в символ успеха и предмет самых яростных вожделений. Обладание властью, а по-другому сказать — приближенность к лидеру, к вождю определяет ценность человека, становится главным наполнением жизни. Об этом говорят и непосредственные наблюдения, и политологический анализ, а в конечном итоге — и весь ход общественного развития.

Но, пожалуй, только психоанализ позволяет заглянуть в глубину этого феномена и дать ответ на возникающие при этом «почему».

С каждой победой Сталина на пути к неограниченной, абсолютной власти не только укреплялись его позиции в партии и государстве. Одновременно раздувалось, становясь все более гипертрофированным, его внутреннее Я. Только сокрушение противников — и реальных врагов большевистского режима, и соратников, осмеливавшихся противопоставить свое Я сталинскому, и тех, кого можно было хотя бы заподозрить в таких намерениях, — позволяло душе вождя реализовать принцип удовольствия, только это питало ее энергией. Но с каждым новым повторением требовалось увеличение «дозы» — прежняя уже не действовала. Победы не наполняли его ликованием. Скорее всего, с ними приходили переживания, похожие на ощущения наркомана при выходе из наркотического опьянения — внутренняя пустота, боль, как при утрате чего-то необычайно важного, значительного. Неосознанное беспокойство, нередко с элементами тревоги, беспричинная злобность, дурное настроение — есть много свидетельств, что Сталин нередко впадал в такое состояние. Наркоман выходит из него, вновь окунаясь в волну дурмана. Тиран начинал новый цикл репрессий.

Победив Гитлера, Сталин стал идентифицировать себя с образом России. В его речах начал звучать не свойственный ему

раньше российский патриотизм. Прославление России, превознесение ее героев, полководцев, ученых стали такой же беспроблемной темой в искусстве, как и воспевание революции и ее великого вождя. Вызывая из прошлого тени могущественных русских царей, Грозного и Петра, Сталин, вероятно, испытывал удовлетворение, мысленно возвышаясь над ними. Самодержцам случалось терпеть поражение; ему же, Сталину — никогда. В беседе с Сергеем Эйзенштейном и Николаем Черкасовым он как-то заметил, что Иван IV не сумел известить всех своих противников...

При этом психологически неизбежно было для Сталина утверждать свой национал-патриотизм присущими ему методами. Развернулась новая охота на ведьм — борьба с космополитизмом, с фрейдиизмом, которого уже не было, с сионизмом. Повсюду утверждался приоритет русской науки, на деле оборачивавшийся ее изоляцией: обрубались сложившиеся между учеными связи, даже иностранные термины, вошедшие в международный понятийный аппарат, в массе заменялись не совсем точными и годившимися лишь для внутреннего употребления синонимами. Шло выселение целых народов.

Этот психологический механизм так же неизбежно должен был толкнуть Сталина к борьбе за мировое господство. Пришествие ядерного века открывало перед ним не виданные прежде возможности. Недаром все силы бросил он на создание атомной бомбы. Я часто задаю себе вопрос: что было бы, если бы Сталин пожил дольше? Уничтожение новых миллионов подданных, превращение всей страны в ГУЛАГ уже не могло насытить его душу. Третья мировая война была неотвратима.

Прав ли Авторханов, утверждающий, что Сталин не знал поражений?

Возможно, прав — если рассматривать все происходившее исключительно в плоскости борьбы за власть.

Но если представить себе жизнь страны в полном объеме, широко бытовавшее клише «Сталин ведет нас от победы к победе» следовало бы признать атрибутом мифа. Не говорю уже о том, что даже бесспорные победы оплачивались такой неимоверно дорогой ценой, такими потерями и страданиями, которые обесмысливают любой результат. Но ведь и удавалось далеко не все. Провалились первые пятилетние планы. Колхозная деревня и близко не подошла к той производительности, какую демонстрировал дореволюционный мужик. А бесславное начало войны? Только в книгах, кинофильмах да на живописных полотнах жизнь измученного общества могла показаться «цветущим садом», каким была громогласно объявляема.

Нетрудно проследить, как действовал мощнейший пропагандистский аппарат, которому всегда удавалось поддержать иллюзию непогрешимости вождя, его сверхчеловеческой мудрости и прозорливости. Все мало-мальски положительное раздувалось, превозносилось до небес. Неудобная правда тщательно замалчивалась. В тех же случаях, когда она оказывалась слишком уж очевидной, неудачи приписывались «проискам врагов»: вредителей, диверсантов, иностранных агентов. Даже тень ответственности за провал никогда не падала на Сталина. Наоборот, даже просчеты парадоксальным образом укрепляли миф о его всеобъемлющей гениальности.

Ну, а что же при этом он сам? Многие специалисты, пытаясь" реконструировать внутренний мир тирана, рисуют его коварным хитрецом, мастерски владевшим искусством фальсификации. По этой версии, все планы пропагандистских трюков, даже Запад порой вводивших в заблуждение, либо исходили от самого Сталина, либо были ему известны и получали его одобрение. Сталин знал правду. Возможно, он был единственным, кто знал ее во всей полноте. И именно это знание позволяло наглухо закрывать ее плотной завесой лжи и обмана.

Такое предположение представляется мне психологически малодостоверным. Оно не согласуется с конструкцией грандиозного Я, которая видится мне во всех сталинских проявлениях. Масштабам этого Я должна была соответствовать такая же гиперболическая степень самоослепления.

Человеческое Я всегда нуждается в защите. Вопреки очевидности, мы все умеем смотреть — и не видеть, слушать — и не слышать, узнавать — и отвергать информацию, если она может оказаться разрушительной для психики. Это — отрицание, ранний механизм психологической защиты, с помощью которого сознание не пропускает в себя сигналы внешнего мира, способные оказаться для психики роковыми. Мы постоянно и неосознанно редактируем действительность, вычеркивая наиболее уязвляющие нас фрагменты событий или даже события целиком, мысленно создаем иллюзорную, но устраивающую нас систему причинно-следственных связей, прячем от себя истинный смысл и значение происходящего. И если при этом все же сохраняем способность жить и действовать адекватно обстоятельствам, то только потому, что в норме механизм отрицания уравнивается иными звеньями сложнейших душевных конструкций. Внутренний голос, идущий из бессознательного, не позволяет слишком уж далеко уйти от реальности.

В структуре личности Сталина механизм отрицания должен



был стать не просто сверхмощным, но самодовлеющим. Он не впускал в сознание ничего, что могло бы подорвать уверенность во всемогуществе, в умении безошибочно видеть перспективу, в почти божественной способности знать все обо всем. А следовательно — в праве единолично принимать решения. Если же факты противоречили этому представлению — тем хуже было для фактов.

Из-за недостатка информации, которой мы располагаем, нам трудно в деталях представить себе личность Сталина в развитии. Что было заложено в ней изначально, что появлялось и проявлялось на более поздних этапах. В людях, подобных молодому Сталину — обостренно, болезненно самолюбивых, но поставленных при этом в исключительно неблагоприятные для самолюбия обстоятельства, — механизм отрицания нередко формируется очень рано и в структуре личности занимает одно из центральных мест. Но и в дальнейшем он не остается неподвижным. Он может разрастаться до поистине абсурдных размеров.

Сталин довершил создание тоталитарной системы, придав ей сильнейший отпечаток собственной личности. Но и система, укрепляясь и кристаллизуясь, шаг за шагом лепила личность своего творца.

Образы реального мира все больше вытеснялись в его сознании фантазмагорическими, хотя и питаемыми действительным отношением к нему окружающих картинами, в центре которых стоял он, представлявший себя уже не человеком — пусть неправдоподобно сильным, могущественным, лишенным обычных слабостей, однако все же человеком, — но Богом, владыкой мира. Ощущение социального бессмертия, всегда бывшего предметом особых его забот, на каком-то этапе помимо разума перешло в ощущение бессмертия биологического, отпущенной ему вечности.

Как складывается, как формируется этот чудовищный тип личности?

Возможно, ее становлением управляет особая, генетическая программа. Но и в этом случае заложенное от природы должно быть поддержано условиями жизни, обстановкой в семье, социальной средой.

Сталину не за что было благодарить Бога, создавшего его низкорослым, некрасивым, да еще и рыжим в придачу, обезобразившего оспой его лицо и изуродовавшего руку. Он рос в бедной семье, отец его бил, сверстники обижали... Но именно служение этому жестокому, несправедливому Богу с самых ранних лет оказалось ему предназначено. Нетрудно представить себе, в какой сокрушительный внутренний конфликт должна была вступить

черная зависть, ненависть неудачника к миру, населенному красивыми, богатыми, счастливыми людьми — с христианскими заповедями смирения, покорности судьбе, исходящим от Бога требованием страдать и прощать. Если бы юный Иосиф Джугашвили поступил в обучение к такому же сапожнику, как его отец, или иному ремесленнику, садовнику или мелкому торговцу — такой острый внутренний конфликт мог бы и не возникнуть, и судьбы России, да и всего мира в XX веке сложились бы, возможно, по-другому.

Обучение в духовном училище, а потом и в семинарии, исполнение церковных обрядов и ритуалов должны были вынуждать будущего отца народов к постоянному притворству: казаться не тем, кем он был в действительности, скрывать свои чувства и желания, и прежде всего — переполнявшую его ненависть и жажду мести обидчикам. В этих условиях, я думаю, и сформировалась в нем внутренняя цензура, непроницаемая перегородка между Я и Оно.

Шаг от религии к безбожию всегда рисовался нам, воспитанным в духе воинствующего атеизма, шагом из темноты к свету, от заблуждений к истине, из духовного рабства к освобождению. Убедился в лживости «поповских сказок» — и порвал с церковью и ее служителями. Нам поэтому трудно представить себе во всей полноте, что происходит в психике человека, решающего отрицать Бога, поставить себя выше его, присвоив ряд его прерогатив. Какой след оставляет в душе такая акция? Какой отпечаток на личности откладывает?

Примкнув к революционному движению, Сталин получил возможность легализовать свою ненависть, дать ей выход в действии. Здесь никакой роли не играли его внешние данные. Здесь плебейское происхождение из минуса превращалось в плюс. Здесь на каждом шагу можно было удовлетворять самолюбие, утверждать свое болезненно ущемленное Я, проявляя волю, решительность, беспощадность. Натура Сталина как нельзя лучше подошла для избранной им деятельности революционера-экстремиста, как сказали бы мы теперь.

В структуре его личности проявляется национальный романтизм. В качестве конспиративной клички он выбирает имя героя грузинского патриотического романа — Коба. Он получает возможность отомстить — реально или символически — всем, кто когда-либо наносил ему оскорбления, насмехался, смотря свысока, или просто был умнее, привлекательнее, удачливее, чем он. Однако реализация глубинной ненависти ко множеству людей и к целым народам еще впереди.

В 60-е годы, когда началось наше прозрение, многие видели в Сталине предателя революции, ее завоеваний и светлых идеалов. Высказывалось мнение, что на рубеже 20—30-х годов Сталин совершил не распознанный в то время контрреволюционный переворот, после которого курс развития советского общества резко изменился... Трудно сейчас судить о том, какой была бы наша история без Сталина. Но одно можно сказать определенно: психологически Сталин не был случайной фигурой, инородным телом для партии и создаваемой им политической системы. Подготовка к революции сконцентрировала невиданный по масштабу заряд ненависти, а социальный взрыв в октябре 1917 года позволил ей высвободиться, стать своего рода материальной силой. И то, что эта ненависть, согласно вероучению марксизма, была объявлена классовой, то есть социально оправданной, очистительной, чуть ли не священной, — ничуть не изменяет гибельную, разрушительную природу этого единого чувства.

Только поверхностному взгляду ненависть может представиться законной платой за причиненное зло, за попрание справедливости или надругательство над святынями. Причины такого рода часто выдвигаются ненавидящими. Но если то, что они испытывают, в самом деле является ненавистью, а не названным неточно гневом, возмущением, чувством протеста, то рассуждения об источнике ненависти скорее всего призваны рационализировать, объяснить себе и другим это тягостное душевное состояние, возникающее на самом деле «из ничего».

Ненависть — особый вид психологической зависимости. Жизнь одного человека становится как бы отражением чужой, только с обратным знаком. Правильно говорят: ненависть душит. Все вокруг меркнет и обесцвечивается, если тому, на кого направлена ненависть, улыбается счастье. Зато неудачи, неприятности объекта воспринимаются как подарок судьбы, создают на душе настоящий праздник.

Теория психоанализа указывает на реально существующую неравноценность людей как на глубинный источник ненависти. Достаточно оказаться близко, рядом людям, не равным по достоинствам и заслугам, по полноте и силе личности, чтобы снизу вверх пошел обжигающий ток. Ненависть — порождение мелких, униженных собственной незначительностью душ. Народная фантазия увековечила эту закономерность. Ни в одном эпосе вы не найдете богатыря, отравленного изнурительной страстью ненавистничества.

Ненависть, осознаваемая или бессознательная, не совместима с образом вождя, понятием морали, нравственности, с побуж-

дениями добра и милосердия. В широком понимании она представляет собой антипод нашего, по Фрейд, Сверх-Я — той сферы психики, которая управляет нами, контролирует наше поведение и судит за прегрешения, опираясь на свойственное нам понимание долга, человеческого идеала, норм и правил. Я и Сверх-Я находятся в состоянии извечной тайной войны. Ничто не способно так, как ненависть, заблокировать сферу Сверх-Я, освободить от ее бдительного контроля темные силы, тающиеся в душе.

Система, возникшая в стихии разбуженной и многократно перемноженной на самое себя ненависти, культивировавшая и освящавшая ее, неизбежно должна была выдвинуть человека, обладающего особым даром все силы души вкладывать в это черное чувство. И именно ему поручить себя.

### **Кульٹ мертвого бога**

Взаимоотношения с Лениным (при жизни и после смерти) считаю ключевыми для понимания личности Сталина. Не только я, впрочем. Многие психоаналитически ориентированные авторы, описывая особенности идентификации Сталина с его отцом, Виссарионом Джугашвили, Троцким, Гитлером, делают особый акцент на том периоде, когда Сталин громогласно объявил себя верным учеником и последователем создателя большевистской партии.

Стереотипы моего детства: Сталин — это Ленин сегодня.

Стереотипы «оттепельной» юности, когда мы мечтали «вернуться к Ленину»: Сталин извратил идеи своего великого учителя, исказил его бессмертный замысел.

Сейчас вызывает иное представление. Ленинизм, сталинизм — два пика единого явления: большевизма. Мы возвращаемся к первоначальному отождествлению двух имен, только с иным эмоциональным знаком: не в почтительном экстазе, а с проклятием.

Но и эта оценка на глазах покрывается плотной коркой стереотипности. Трагический катаклизм, пережитый народом, сводится к нескольким примитивным схемам, входящим в сознание легко, как картинки комиксов.

Что же в действительности представлял собой этот дуэт, сумевший, без натяжек, перевернуть мир?

Мысль начинает работать, наткнувшись на препятствие. Таким сакраментальным «почему» стал для меня культ Ленина, культ мертвого вождя, насаждавшийся Сталиным последователь-

но, пунктуально, с титаническим размахом, на который был способен только он.

Сталин ведет себя, как человек, для которого священна сама память о вожде-отце. Он поддерживает идею Мавзолея, создает ритуал поклонения ленинским останкам, возводит этот ритуал в ранг наипервейшей душевной потребности — как паломничество мусульман в Мекку.

Он создает иллюзию присутствия Ленина в жизни: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». За счет изображений, живописных, скульптурных, кинематографических, которые обступали людей на каждом шагу. За счет апелляции к наследию, тоже превратившейся в своеобразный ритуал. Ленин силой своей бесмертной мысли участвует в событиях, совершающихся через много лет после него, разрешает споры, дает установки, благословляет, карает за отступничество, прочерчивает дальнейший путь.

Как ни высоко возносится он сам — Сталин чуть повыше себя неизменно обозначает место, бесспорно принадлежащее Ленину.

Враг для него — это тот, кто предает ленинскую партию, обнаруживает намерение погубить ленинское дело. Попытки борьбы с ним, Сталиным, — это прежде всего преступное противодействие ему как самому верному ученику, самому прозорливому толкователю учения, самому надежному исполнителю замыслов Ленина.

Он отдает Ленину молодежь. Малыши-октябрята, с ликом Ленина-мальчика на значках. Младшие школьники — юные пионеры-ленинцы. Старшие — члены ленинского комсомола.

Во время войны ходила легенда: когда обстановка на фронте ухудшается — Сталин проходит по подземному коридору в Мавзолей, долгие часы проводит наедине с мертвым Лениным, советуется с ним, потом возвращается к себе в кабинет — и диктует военным план спасительной операции. Не знаю, чистый ли это фольклор или сознательно пущенная гулять легенда для поднятия народного духа. Но даже если фольклор — он взрос на почве, которую трудолюбиво, долгие годы Сталин готовил собственноручно.

Но ведь он должен был ненавидеть Ленина! Достаточно вспомнить о ленинском завещании, лишь чудом, лишь благодаря всей его неподражаемой изворотливости не погубившем всю карьеру Сталина. Мог ли Сталин, при его гиперболической мстительности, злопамятности, забыть, простить, не воспринимать покойного как своего злейшего врага?

С врагами Сталин разговаривал на одном языке: выпущенной в затылок пули. И то, что Ленина не было в живых, ничего не меняет. Можно вторично убить и мертвого — уничтожив память о нем, стерев все следы его земного пребывания, заглушив само звучание имени.

Почему же Сталин не соблазнился такой возможностью?

Он боялся народного гнева, боялся, что люди не отдадут ему Ленина, бывшего кумиром для многих? Едва ли. Манипулируя массовым сознанием, он не останавливался перед самыми крутыми поворотами. Он уничтожил Троцкого, с его колоссальным авторитетом, намного превосходящим поначалу собственный сталинский авторитет, хотя Троцкий был жив, способен сопротивляться и поначалу пользовался серьезной поддержкой. Он истребил ленинскую гвардию. Он заставил людей поверить в возможность дружбы с Гитлером. Ленин мог стать именем нарицательным, мог исчезнуть в небытии спецхранов. Стоило лишь Сталину захотеть.

Ленин был нужен ему для собственного возвеличения — чем выше учитель, тем выше и ученик? Такое объяснение тоже представляется не полным. Психологическую конструкцию собственного культа Сталин воздвигнул — и поощрял усилия других в этом направлении — бестрепетно и властно. Он не нуждался ни в каких дополнительных подъемных устройствах. Скромность же и смирение («Я — только ученик, главные заслуги принадлежат Ему»), которые и вправду были неотъемлемой частью сталинского имиджа, можно было обозначить и другими, более экономичными способами. Культ Ленина требовал немалых материальных вложений, а Сталин не любил тратить деньги зря.

Так зачем же нужен был вождю народов этот двуединый идол: Ленин — Сталин?

Мне кажется, что перед нами как раз один из тех немногих случаев, когда чуть расходятся швы в панцире сталинской тайны и в действиях политика дает себя слышать голос его человеческой души.

В дни первого, заочного поначалу знакомства дистанция между признанным лидером большевизма, создателем партии, и рядовым ее членом была достаточно велика. Для меня нет сомнений в том, что Сталин признавал и принимал эту дистанцию. На протяжении долгих лет он был едва ли не единственным среди признанных лидеров большевистского движения, кто почти всегда поддерживал «линию» Ленина и не покидал его в дни бесчисленных расхождений и размежеваний. Ленин, кстати, весьма ценил эту безоговорочную преданность, как и незаурядную энер-

гию Сталина. Есть свидетельства, что он не возражал против женитьбы своего верного соратника на одной из родственниц, вводя его таким образом в свою семью.

Идентифицировал ли себя Сталин с отцом революции? Есть множество совпадений в политическом стиле, которые говорят о том, что Ленин был эталоном, воистину учителем, у которого будущий диктатор прилежно брал уроки. Внешняя скромность, изобретательность и изворотливость в интригах, фанатичное упрямство, непримиримость к оппозиции, к любому инакомыслию — и вместе с тем высокое мастерство тактического компромисса, дающего выигрыш времени, а затем и возможность расчитаться с противником сполна.

Подобно Ленину, Сталин был беспощадно требователен, глух к человеческим переживаниям, нечувствителен к этическим ограничениям и запретам.

Однако психологическое сращение с образом Ленина, несомненно, шло не только по линии внешнего уподобления. Живя исключительно напряженной, но вместе с тем однообразной по видам деятельности, впечатлениям, характеру общения жизнью, Сталин должен был очень далеко продвинуться в ассимиляции наиболее привлекательных для него черт личности Ленина и превращении их в атрибуты собственного Я — именно так, как описывает глубинные процессы идентификации Фрейд. Не исключено, например, что Ленин, русский, «перетянул», заставив Сталина отказаться от самоидентификации с Грузией и грузинами. Здесь, несомненно, был не только политический расчет, желание укрепить свои позиции в России, которой не следовало лишней раз напоминать, что ее самодержец — не русский по крови. Перевоплощение затронуло и более сокровенные духовные инстанции. Чем иначе можно объяснить непостижимое для грузина равнодушие к близким, к детям, даже к матери, одной из святынь его национальной культуры? У Сталина не возникало потребности хотя бы повидать мать. Он бестрепетно согласился на гибель старшего сына, с двумя младшими детьми держался холодно и отчужденно. Родной внук впервые увидел грозного деда только на смертном одре... Так же холодно относился Сталин и к матери-Грузии — тоже черта, для национального характера абсурдная. Малая родина существовала для него лишь как политическая категория, как средоточие давних партийных связей, которые он при надобности использовал, но так же легко и предавал.

Однако дальнейшее развитие идентификации Сталина с Ильичем пошло не «по Фрейду».

Обычно процесс идентификации служит основой психологи-

ческого объединения всех, кто идет за одним общим учителем, стремясь к провозглашенной им цели. Это важнейшая закономерность психической жизни, делающая человеческие сообщества монолитными и дееспособными. У Сталина же, как можно проследить с самого начала его партийной биографии, преданность Ленину не сближала его с другими сподвижниками вождя, а, наоборот, отталкивала от них. Он словно бы ревновал учителя к товарищам, многих из них воспринимая как своих личных врагов.

Простое сравнение ленинского окружения со Сталиным той, предреволюционной, поры подсказывает ближайшее объяснение. Сталин не был ни глубоким теоретиком, ни ярким оратором, ни блестящим публицистом. Он не получил хорошего образования, не знал иностранных языков, да и по-русски говорил с грубым акцентом. Чувство ущербности подогревалось, видимо, и незавидными внешними данными — не забудем, что корифеи нашей революции были еще и просто молодыми, полными сил мужчинами. Ревность и враждебность к другим членам своей референтной группы могут быть и проявлением зависти, ощущения своей неполноценности, опасения быть неоцененным учителем.

Возможны, однако, и более глубокие причины. Как любое человеческое существо, Сталин должен был начать свой земной путь с первичной идентификации с родителями. Но естественный ход психического развития был у него грубо нарушен. Отец, пьяница-сапожник, был варварски жесток к сыну, постоянно его избивал, третировал мать. Детская ненависть к родителям — сильнейший травмирующий фактор. Разрыв, размежевание с отцом в тот период, когда ребенку положено бессознательно лепить себя по его образцу и подобию, вполне способны навсегда сломать в нем психологический механизм идентификации, переналадить его на искаженную программу: сближение — и сразу разрыв, вражда, ненависть. Эта гипотеза имеет еще одно подтверждение. На последнем этапе жизни Ленина отношения с ним Сталина резко ухудшились. Мы знаем, главным образом, политическую канву этих событий, хотя она-то как раз вполне могла быть вторичной по отношению к тому, что произошло между двумя этими людьми — именно как людьми, а таких подробностей история обычно не сохраняет. Поведение Сталина в этом конфликте ясно говорит, что от бывшего благоговейного восприятия Ильича в нем ничего не осталось. Вместо преданности появилась антипатия, вместо готовности боготворить — беспардонное недоброежелательство, возможно — и прямая ненависть.

Показывать эту перемену Сталину было исключительно не-



выгодно, более того — опасно. Грубить Крупской, действовать вопреки прямым ленинским указаниям, фактически превратить Горки в подобие тюрьмы... Провоцировать больного, но еще способного обороняться вождя на ответные удары, что в итоге и произошло. Гораздо больше отвечало бы кошачьим сталинским манерам затаиться, переждать, еще больше укрепить репутацию самого преданного. Но, видимо, напор антипатии был слишком силен, он даже разрушил железную броню самоконтроля. Урок, впрочем, пошел Сталину на пользу. В дальнейшем, истребляя своих врагов поодиночке, он уже не допускал подобных промахов.

Что же произошло между учителем и верным учеником? Если бы нашлось в свое время, кому об этом расспрашивать и кому рассказывать, возможно, и всплыли бы какие-то факты, эпизоды, столкновения. Но достаточно будет нам обратить внимание на четкую, не знающую исключений повторяемость событий. Ко всем, с кем Сталин наиболее глубоко себя идентифицировал, под кого бессознательно подстраивал свое Я, у него на каком-то этапе вспыхивала такая неукротимая ненависть. Начиная с того, что в сталинской системе измерений могло быть названо любовью к своему кумиру, — он неизменно приходил к его уничтожению. Иногда — символическому, но часто — и буквальному.

Может быть, из-за этого дефекта в важнейшем для личности душевном механизме Сталин и отвратился в свое время от Бога, который запрещает молиться себе с черными чувствами в сердце, и ушел в революцию, в ту среду, где ненависть культивировалась, превозносилась, объявлялась святой? Классовая, неклассовая — какая разница?

Сердцевина этой ненависти — страх, примешивающийся ко всем переживаниям, связанным с отцом. Гнетущее ощущение своей слабости перед ним, ожидание унижений, боли. Не дать себя избить! Этот глагол — бить, избить, очевидно, постоянно сверлил сталинский мозг. В известной работе «Вопросы ленинизма», в коротком отрывке, он повторяется 16 раз. О постоянно владевшей Сталиным тревоге, переросшей в старости в бред отношения и маниакальную подозрительность, писали многие, объясняя ее если не муками совести, отягощенной чудовищными злодеяниями, то неотступными мыслями о возможной расплате. Но у этого конкретного, рационального объяснения страха была, думаю, и более глубокая подоплека, таящаяся в бессознательном. Ненависть отца, внушающего ему такой страх, Сталин не мог покуситься на его прямое убийство, а если перевести это в реалии жизни — не мог обогатить мертвого Ленина, идентификация с

которым была наиболее близка к идентификации с отцом. Не мог лишить его посмертной славы, отнять заслуги, позволить небытию поглотить его образ. Но, полностью выплачивая отцу дань почтения и покорности, Сталин избрал иной, более изощренный способ восторжествовать над ним, сделать его для себя безопасным. Овладеть матерью-родиной, полностью подчинить ее себе, добиться ее преданной любви, постепенно превращая в служанку, в рабыню, не смеющую ни в чем выйти из его воли...

И кто скажет, что это ему не удалось?

### **«Вождь думает за нас»**

Пришествие «светлого царства» — коммунизма сталинская система всегда связывала с успехами в воспитании новой человеческой генерации.

Никогда не существовавший в реальности, образ человека «коммунистического завтра» был разработан до мельчайших штрихов. Он силен, смел, благороден, свободен от всех пороков, объявленных «родимыми пятнами» капитализма и иных эксплуататорских формаций. Он не нуждается в материальных стимулах: работает за десятерых, движимый исключительно душевной потребностью в самоотверженном труде и сознанием долга. Он чужд эгоизма, стремления к личному благу, вплоть до готовности в любую минуту, если потребуются, отдать жизнь... Поколение за поколением подрастали, неся в душе этот прекрасный идеал, то открывая в себе долгожданные признаки сходства с ним, то признаваясь с огорчением, что завершение великой воспитательной работы еще не близко.

Верил ли Сталин в возможность такого радикального изменения человеческого естества? Ожидал ли, что его подданные и в самом деле в один прекрасный момент достигнут предначертанного совершенства? Мне трудно судить об этом. Но очевидно, что в практических действиях он мало руководствовался искомыми образцами, отдавая предпочтение более простым и примитивным рабочим чертежам.

Какой народ нужен был Сталину? Народ-исполнитель, послушный и покорный, готовый слепо исполнять любой приказ. Нетребовательный и терпеливый, согласный на любые жертвы — даже и в тех, противоестественных для человека, случаях, когда на алтарь требовалось принести родных детей. До последних проблесков сознания преданный ему, вождю, и системе, которую он олицетворял.

Как перевести эти требования на язык психоанализа? Воспи-

тание нового человека по-сталински предполагало и в самом деле нешуточную реконструкцию личности. Надежной опорой власти могли стать только люди с жесткой, по сути социальной конструкцией своего Я. С управляемой (или легко направляемой на определенный объект) агрессивностью. С мощной цензурой, бдительно охраняющей Я от незапланированных эмоциональных потрясений, от всего, что рождается в душе спонтанно и неподконтрольно, — то есть от любых проявлений бессознательного. Радующиеся по команде, негодующие по команде, лишенные творческого воображения и каких бы то ни было черт индивидуальности.

Нетрудно увидеть, что Сталин стремился сделать людей такими же «социальными роботами», каким был он сам. Это не удивительно: Богу так и положено — лепить человека по своему образу и подобию. Вместе с тем — тоже повторяя в этом взаимоотношения божества со смертными — Сталин не стремился к тому, чтобы подданные идентифицировали себя с ним, осмеливаясь ему подражать. Слишком высоко для этого стоял он над ними, недостижимый и не до конца постижимый.

Идеал совести — он, вождь. Эталон нравственности — он же, вытесняющий из Сверх-Я все, что не связано с его волей, с его великими замыслами...

В понятийном аппарате, который выработала для себя система, появилось точно отражающее суть дела выражение «человеческий материал». Он труден в работе, он бывает неподатливым, нужно особое искусство, чтобы поддерживать в нем необходимую отзывчивость и пластичность. Но это всего лишь материал, то есть нечто неодушевленное, несамостоятельное, лишенное собственного разума и воли.

Сталин преуспел в создании «нового человека». За поразительно короткий срок, как массовое явление, исчезла способность к самостоятельному мышлению, даже сама потребность в нем. «За нас думает вождь». Установился тотальный контроль не только за словами, высказываниями — в истории такое уже бывало, — но и за мыслями, беззвучно проносящимися в мозгу. Печать, радио, кино, бесчисленные доклады и речи плотно утрамбовали в сознании набор представлений и идей, необходимых, чтобы действовать по заданной программе. Отступить от этого набора нельзя было даже наедине с самыми близкими людьми — и друзья, и сослуживцы, и даже члены семьи могли оказаться «стукачами». Но это все же была всего лишь внешняя цензура. Психологически гораздо примечательнее цензура внутренняя. От множества людей я слышал, что их смертельно пугала

собственная, внезапно вспыхнувшая крамольная мысль, и они, казня себя, старались прогнать ее, забыть.

Один из феноменов тоталитаризма — лозунговая культура, возникшая еще при Ленине, при Сталине же во многом принявшая на себя функции массовых коммуникаций. Афористически короткая, легко запоминающаяся, а значит — лапидарная, одномерная мысль. Лозунг портативен, он без натуги встраивается в сознание и так же просто может быть заменен другим. Лозунговая культура продержалась до последних дней существования системы. Никогда не забуду: в ужасающе запущенной Брянской психиатрической больнице — грязной, голодной, с потерявшим человеческий облик персоналом и замученными, полностью бесправными больными — во всю стену красовался лозунг: «Человек человеку — друг, товарищ и брат».

Над лозунгами смеялись, их пародировали, десятки раз подтверждалось, что можно проходить каждый день мимо и даже не запомнить, что же там написано... Но мы явно недооценивали проникающую способность этого идеологического оружия. Как средство «компостирования мозгов», массового гипноза, лозунги во все времена оправдывали средства, затраченные на их изготовление.

Кадры старой кинохроники кажутся необъяснимыми. Убогая обстановка, изможденные, в нищенском тряпье люди — и сияющие глаза, радостные лица, огромный трудовой порыв. Непохоже, что это инсценировка, демонстрация перед камерой. Время невиданного энтузиазма, героизма, пламенных патриотических чувств. Как психологически расшифровать этот феномен?

Родители — отец и мать — в условиях тоталитарной системы утрачивают свое главенствующее значение в жизни ребенка. Их место занимают — я уже пытался показать это на собственном примере — образы вождя-отца и родины-матери.

Мы принадлежим им. Наша судьба — в их власти. Иметь таких родителей — происходить от них — великая честь. Но за нее надо платить: беспрекословным послушанием, безоговорочной верностью. Страшно вызвать чем-то их неудовольствие. Их гнев грозен, испепеляющ. От нас немедленно отвернутся другие их дети.

Через множество каналов эти символы не только подчиняли себе сознание, но и проникали глубоко в бессознательную сферу. А дальше шла фронтальная эксплуатация вживленных в духовный мир представлений.

Родина-мать в опасности! Это подчеркивалось постоянно. Враги угрожают ей гибелью. Они хотят отнять ее, опозорить,

изнасиловать, довести до истощения. Но отец наш на страже. Он этого не допустит. Он суров и беспощаден к врагам.

Голодный ребенок уносит колосок с колхозного поля... В системе общечеловеческих представлений что может быть понятнее, извинительнее? Но Я, перенасыщенное символами, воспринимает любой поступок в его символическом значении. Ты нарушил распоряжение родины-матери, а значит — изменил ей. Ты низкое, неблагодарное существо. Она делает для тебя все, она о тебе заботится, а ты посягнул на ее достоинство, растоптал ее честь. Нет тебе пощады!

Система карала жестоко. Но люди боялись не только кары как таковой — ареста, тюремного заключения, высылки, расстрела. Их незримо давил страх отвержения — постоянно висящая над каждым угроза за провинность разрушить его Я, отняв право идентифицировать себя с социальными символами.

Располагая огромными людскими ресурсами, Сталин и система в целом ставили человеческую жизнь ни во что. Потери даже всерьез не учитывались. Следовало лишь умело маневрировать — заселить плодородные земли, опустошенные голодом, или на место выбитых воинских частей своевременно подвести свежие. Этот взгляд на человека сверху был полностью поддержан изнутри — его собственным отношением к жизни и смерти. С малолетства приученный к тому, что его жизнь принадлежит не ему (родине, партии, народу, вождю), что целью его существования является счастье грядущих поколений, человек переставал ощущать собственную ценность. Инстинкт жизни ослабевал, над ним бессознательно превалировал инстинкт смерти. «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин...» Бой при этом мог быть не только на войне. На поле загорелся трактор. Тракторист кинулся спасать машину — и спас, но при этом погиб сам. Молодежная газета посвятила подвигу пространный очерк. Логика рассуждений автора была в своем роде безупречна: трактор колхозный, он стоит очень дорого. Парень поступил как герой, ценой своей жизни он отстоял народное добро... Ни журналист, ни читатели не ощущали кощунственность этого сопоставления — жизни с машиной, потому что оно полностью соответствовало тогдашнему мировоззрению.

А теперь, когда портрет «нового человека» — человека сталинской эпохи — вчерне набросан, попытаемся определить: кого он нам напоминает?

Несамостоятельность, доверчивость, особая управляемость психики... Конечно же, это ребенок! Я специально консультиро-

вался с коллегами — знатоками детской психологии. Они полностью подтвердили эту догадку.

Ребенок ощущает свою слабость, беспомощность, ему хорошо, когда им распоряжаются старшие; он полагается на их ум, знание жизни, верит, что они подумают и позаботятся о нем.

Разве не то же самое было присуще массовому сознанию при Сталине? Вспомните гнетущее чувство сиротства, охватившее многих, когда Сталин умер: что с нами теперь будет?

У детей необычайно сильно развито воображение. Они живут в мире фантазий, порой с трудом различая границу между собственным вымыслом и реальностью. Они легко погружаются в мир сказок, красивых, неправдоподобных приключений и, пока остаются детьми — даже наученные уже опытом, что «так не бывает», краешком души продолжают верить в истинность сказочных персонажей и сюжетов. И в этом тоже угадывается прямая аналогия...

Дети простодушны, доверчивы, внушаемы. Весь комплекс представлений о мире, о его закономерностях, о населяющих его людях первоначально принимается ими на веру. Силой своего авторитета, не нуждаясь ни в каких доказательствах и аргументах, взрослые могут вложить в их сознание все, что посчитают нужным. Попытка анализа, перепроверки, появление сомнений служат для психолога сигналом, что рубеж детства в чем-то уже перейден.

Детям недоступна сложность и противоречивость мира. Для них все сводится к двоичной системе оценок: да-нет, черное-белое, хорошо-плохо, можно-нельзя.

Детское, несформировавшееся Я неотделимо от Мы. Мы — семья, мы — одноклассники или члены дворовой компании. Общие чувства, общие поступки, общие привязанности. Беспокойство и тревога. Когда намечается расщепление, появляется угроза отторжения.

Вспоминается старая, сталинских времен, песня: «Как один человек, весь советский народ...»

В детях сильно развит инстинкт подражания. Они повышенно нуждаются в похвале, в одобрении. Огромная потребность в любви заставляет их постоянно следить за собой: правильно ли я себя веду, будут ли родители довольны мной?

Перечислять можно еще долго, и всякий раз поражает точность совпадений.

Но дети детям рознь, и зависит это в огромной степени от того, кто их родители, какие царят в семье нравы.

Если родители видят и уважают в ребенке человека, доверяют

ему, поощряют его самостоятельность, он рано взрослеет, набирается опыта. В нем развивается адаптивность, готовность полагаться во всем на собственные силы.

В семьях же, где царит жесткий диктат, где старшие пытаются контролировать всю жизнь детей и не выпускают их из своей воли, период детства неоправданно затягивается. Возникает состояние инфантилизма, означающее острый конфликт между биологическим и социальным в человеке, между созревшим интеллектом и задержавшейся на пути к взрослости эмоциональной сферой. Сложно жить таким людям — но еще сложнее тем, кому приходится иметь с ними дело. Нередки случаи, когда, при сохраняющейся психической норме, приходится прибегать к врачебной помощи...

Именно по этому, наиболее неблагоприятному типу, и развивалось в условиях тоталитаризма массовое сознание.

Период детства был для него неизбежен: любое формирующееся общество, как и отдельный человек, на своем жизненном пути должно пройти этот начальный этап со всеми присущими ему психологическими особенностями. Но ребенок растет с каждым днем и с каждым часом. Он начинает лучше понимать себя и управлять собою, в нем проявляется свой, особый характер — далеко не всегда тот, что хотелось бы видеть родителям. Задолго до наступления полной взрослости он пытается заявить о своем Я, критически оценивает родителей, вступает с ними в дискуссии...

Но можно ли дискутировать с отцом-богом? Можно ли бросать на него пытливый, оценивающий взгляд?

Диктатор задавил в зародыше силы саморазвития, органически свойственные любой общественной системе. Он насильственно затормозил процессы взросления общества. Массовое сознание на десятилетия застыло на первоначальном, инфантильном уровне. В этом я вижу объяснение многих его феноменальных особенностей, до сих пор переполняющих нашу жизнь трудно разрешимыми загадками.

Что движет людьми, и сегодня поднимающими на митингах портреты Сталина, словно призывая его вернуться?

Я уже говорил о психологических механизмах явления, вошедшего в нашу историю под достаточно случайным названием «культ личности». Теперь настало время сделать одно принципиально важное уточнение.

Проецировать образы, сложившиеся в детской душе, на все ситуации, встречающиеся в жизни, — свойство общечеловеческое. В том, как воспринимается людьми руководитель, началь-

лик, тем более глава государства, очень часто прослеживается давнее, детское, полузабытое восприятие отца: в отношениях с начальством воспроизводятся, проигрываются заново давние и во многом уже забытые отношения с биологическим отцом. Такие же глубинные основания имеет и любовь к своей земле: хотя слово «патриотизм» образовано от мужского корня, природа этого, также всем знакомого чувства, объединяет его с сыновними и дочерними переживаниями. С благодарной преданностью матери, с признанием своего долга беречь и защищать ее...

Но в отношении американцев к своему президенту или француза к Франции эта первооснова предстает уже значительно преобразованной. Это отношение взрослого, духовно зрелого и самостоятельного человека. При всем почтении, возможно даже преданности — он способен видеть в родителях слабости, противопоставлять их мнению собственное, их воле — свою волю. При всех неисчезающих отзвуках детства диалог в основе своей ведется на равных.

В противоположность этому культ вождя-отца тоталитарной системы несет в себе многое от специфической психологии непреодоленного детства, когда священный трепет перед величием и всемогуществом лидера своеобразно сочетается с ощущением собственной малости, незначительности, беспомощности. Как бы ни было ребенку трудно и страшно при грозном, непредсказуемом, не скупящемся на наказания отца, он все равно льнет к нему, потому что без него — не уцелеет, пропадет.

Только инфантильностью массового сознания можно объяснить, почему сталинский культ был не только насильственно навязан обществу, но и добровольно, с готовностью принят огромной его частью, чтобы через многие поколения, десятилетия спустя, оживать в детях и внуках бессознательной потребностью вручить свою судьбу новому вождю.

## ПОСЛЕДНИЙ КОММУНИСТ

Хрущев верил в грядущую победу коммунизма абсолютно, непререкаемо. Когда он кидал в лицо «акулам империализма» свое знаменитое «мы вас похороним!» — скандальным это было только по форме. По существу же он просто сообщал собеседникам некий факт, не подлежащий ни малейшему сомнению.

С какими чувствами вспоминают сейчас решимость Хрущева построить за 20 лет коммунизм? В лучшем случае — с насмешкой, но кто-то и со злым осуждением: морочил, бессовестный, голову



народу! Сейчас это стало неактуально, а десять лет назад в километровых очередях за сахаром, крупой, сигаретами, водкой то и дело кто-нибудь говорил: вот он и настал, хрущевский коммунизм! — после чего обычно шло непечатное.

Но почему мы так твердо держимся за эту альтернативу: если не глупость, то надувательство, если не надувательство, то глупость?

Не могу отказать себе в удовольствии процитировать Анатолия Стреляного. Блестящий публицист, один из тех, кого я называю «детьми Хрущева», он именно поэтому сумел так точно разобраться в подоплеке действий своего «отца»: «Сумбурный человек, Хрущев был кем угодно, в том числе и утопистом, только не авантюристом. Ринувшись, косолапя, догонять Америку, испытывая детище Сталина на большом деле, он дал системе нагрузки, объявленные в паспорте. Он верил тем, кто заполнял этот паспорт, — всем этим струмилиным, кронродам, Островитяновым, с бородками и безбородым, в косоворотках и при галстуках — бравым победителям разных пораженцев и прочих уклонистов. Вот он и устроил проверку...»

Я бы еще только добавил, что клич к великому походу он кинул не сразу. Сначала он совершил несколько пробных пробегов на небольшие дистанции, и этот опыт его убедил, что паспорт заслуживает полного доверия.

Страну после смерти Сталина он принял в чудовищном состоянии. Никто среди советских вождей не ощущал этого с такой беспощадной ясностью, как он, хотя бы потому, что все остальные, слепо копируя привычки «хозяина», не выбирались за пределы треугольника «кабинет — квартира — дача», а неугомонный Никита рвался все не только осмотреть, но и руками пощупать. Урожайность зерновых скатилась на дореволюционный уровень. Всюду, где появлялся Хрущев, он видел голодных, смертельно запуганных людей — начиналась очередная грандиозная партийная чистка.

Почему это происходило, Хрущеву было ясно. Машина не виновата, если за руль садится обезумевший водитель и направляет ее прямо в пропасть.

«Сталин придумал закон, по которому каждое фруктовое дерево на приусадебном участке облагалось налогом, — читаем в воспоминаниях Никиты Сергеевича. — Я еще тогда рассказывал Сталину, как посетил свою деревню, заехал к двоюродной сестре в село Дубовицы. Она сказала, что осенью вырубят свои яблони. Сталин носился с идеей обязать каждого колхозника посадить какое-то количество фруктовых деревьев. А тут даже плодонося-

щие деревья собираются вырубать. Он на меня очень зло посмотрел, но ничего не ответил. Конечно, и налог не отменил. Сталин рассматривал и колхозы, и приусадебные участки как место, где можно с крестьян стричь шерсть, как с баранов. Мол, новая отрастет...» Двадцать лет деревня терпела, но должен был в конце концов настать момент, когда шерсть перестанет отрастать, — и вот он наступил.

Отношение к Сталину, выплеснувшееся в докладе о разоблачении «культа личности» на XX съезде, сложилось задолго до смерти тирана, хотя в период борьбы за власть с другими претендентами на престол Хрущев избегал его обнаруживать.

Однако в первые годы своего правления он сохранял полную лояльность к памяти Сталина не только в публичных выступлениях, но и во внутрикремлевских разговорах. Он не упускал случая подчеркнуть заслуги Сталина, его разносторонние таланты, дар вышающего лидера. Я не исключаю, что в этот период мысль о ниспровержении тени диктатора рассматривалась им наравне с идеей использовать эту тень для укрепления собственного имиджа и права на власть.

Но деревню он не мог «отдать» Сталину ни при каких условиях. С первых дней, будучи еще малоприметным членом «коллективного руководства», кажется еще даже до схватки с Берией, он усвоил привычку стучать себя пальцем по лбу, а потом по крышке стола, как только разговор заходил о сталинской сельскохозяйственной политике. При распределении обязанностей он взял на себя патронирование аграрного сектора и уже летом 1953 года распорядился созвать Пленум ЦК, посвященный его проблемам, подготовил и прочел доклад, который длился целый день и занял пять с половиной полос в «Правде». Прямой критики Сталина, насколько я помню, в докладе не было, но имеющие уши хорошо слышали: его установки отменены, крестьян теперь будут не только стричь, но и хотя бы подкармливать.

Отменили душегубский налог на яблони, еще какие-то сняли повинности с крестьян. Ввели денежную оплату в колхозах. Повысили закупочные цены. Стали выдавать колхозникам паспорта, сняв с них тем самым статус полурабов-полукрепостных. Как очень точно выразился впоследствии сам Хрущев — «открыли шлюзы», другими словами — повернули руль государственной машины в сторону от пропасти, вывели ее на верную дорогу. И вот теперь-то она могла показать все свои блестящие ходовые качества.

И ведь точно — колеса закрутились! Кто наблюдал, как идет выздоровление после тяжких болезней, может вспомнить, что

еще до появления бесспорных признаков улучшения в состоянии организма наступает обычно психологический перелом. Порой даже на фоне по-прежнему высокой температуры или плохих анализов, но появляется откуда ни возьмись твердая уверенность, что худшее позади и завтра будет лучше. Те, кто описывал начало экономического расцвета в разных странах, переживших до этого период отчаянного упадка, отмечают тот же самый феномен: настроение в обществе улучшается раньше, чем большинство населения начинает предметно ощущать перемены в собственном положении.

Первые слова правды о Сталине были сказаны в 1956 году. Но тот поворот в самочувствии, о котором я говорю — предвестник возрождения, сигнал экстраординарной энергетической готовности общества к взлету, — обозначился значительно раньше. Мало кто из нас напрямую связывал это с уходом из жизни Сталина. Но что разжалась железная десница, душившая страну, — почувствовали все.

Мышление Хрущева отличалось удивительной конкретностью. «Наиболее полное удовлетворение растущих потребностей» и тому подобные алхимические формулы он, конечно, выучил и умел к случаю произносить, но это была не его стихия. В одной из первых послесталинских речей он, как бы от имени народа, задает вопрос партии: «Мясо будет или нет? Молоко будет или нет? Штаны хорошие будут? Это, конечно, не идеология. Но нельзя же, чтобы все имели правильную идеологию, а без штанов ходили!.. Если мы не обеспечим своему народу более высокий жизненный уровень, чем в развитых капиталистических странах, то, спрашивается, какие же мы коммунисты?»

Я не допускаю мысли, что при таком складе ума объем производства того же мяса на душу населения рисовался ему в виде каких-то абстрактных цифр. Это был ряд подробных картинок — как выглядит это мясо, пока оно еще ходит на четырех ногах и мычит, в каких условиях и за счет чего нагуливается его живой вес. И в таких же картинках рисовался ему лозунг: «Догнать и перегнать Америку».

Он любил цитировать Некрасова: «Воля и труд человека дивные дивы творят» — и никогда не забывал, по какому поводу это было сказано. Горстка раскольников, высланных в дикий сибирский край, казалось бы, на верную гибель, за считанные годы сумела обустроиться, обзавестись хозяйством, обеспечить себя всем, в чем нуждаются люди. Когда человек хочет, он может добиться всего! Для нашего царя Никиты это был главный символ веры, которую он исповедовал даже более искренне, более пламенно, чем веру в непобедимость и всесилие Марковского учения.

И разве он в этом был не прав?

Даже теперь, столько лет спустя, стоит мне настроиться мысленно на эту волну, воскресает в душе то давнее ощущение силы и безграничных возможностей. «До счастья осталось немного — всего лишь один поворот!» — пелось в нашей любимой песне, и остановить это движение, казалось, не могло ничто.

Конечно, в наших планах, в самой их грандиозности, глобальности было много наивного. Но я и теперь убежден — не были наши замыслы пустопорожней маниловщиной, их основа была реальной. В главном наш лидер не ошибался. Он верно оценивал энергетический потенциал общества, нетерпеливо ожидающий своего часа. И если даже преувеличивал что-то, считал ситуацию более благоприятной, чем она была на самом деле, то, право же, не так уж значительно, не принципиально. Сроки могли потребоваться иные, более протяженные. Но уж это-то ему простили бы легко.

Ошибка была в другом.

Для Хрущева, выпестованного сталинской системой, которая и строилась, и функционировала в расчете исключительно на принуждение, успех любого дела был успехом правильного руководства. Подозреваю, что даже образ, который вставал за вдохновлявшими его некрасовскими строками, будто раздваивался. Трудится, творя дивные дивы, один человек, но воля исходит от другого — его начальника, руководителя, который уже в силу одного этого больше знает, лучше понимает, имеет право требовать, контролировать и призывать к ответу.

Перечитывая сейчас не один десяток знаменитых хрущевских речей, я на каждом шагу натывался на это трагическое противоречие. Он понимает, какую силу несет в себе слово «хочу». Он знает, миллион раз убеждался на опыте, что человек, одержимый каким-то желанием, способен проявить чудеса трудолюбия, смелости, выносливости, найти выход из любого тупика. Самое поразительное, что именно это свойство Хрущев выше всего ценит в людях, он коллекционирует в памяти каждый эпизод, в котором оно ярко проявилось.

И когда он обращается к народу, в каждом слове сквозит этот настойчивый импульс — заставить людей захотеть, увлечь их своей мечтой, воспламенить своим страстным желанием. То, что потом стало восприниматься как несбыточные, шапкозакидательские обещания, было, если вслушаться в каждое слово, попыткой зарядить всех нас этим созидательным азартом. Не сомневаюсь: если бы эта попытка удалась, то сбылось бы и все обещанное.

Но «хочу» работает только в условиях свободы, а азарт тем и

прекрасен, что снимает необходимость в понукании, в постоянном вьедливом контроле. Свои личные задачи нормальный человек лучше всего решает самостоятельно.

Перед этим, необходимым по логике шагом мысль Хрущева заклинивало. Сразу же после дифирамбов безграничным творческим ресурсам, заложенным в каждом человеке, он начинал с тем же пылом говорить о «более конкретном планомерном руководстве», о «повышении ответственности партийных органов за руководство всей экономикой». Он кроил и перекраивал схемы этого руководства, подключал к каждой живой экономической клетке все больше и больше управленческих рычагов, лишая ее малейшей возможности реагировать на бесчисленные внешние сигналы, предусмотреть которые не в силах ни одна вышестоящая инстанция.

Мне кажется, Хрущев сам ощущал, что это противоречие загоняет его в тупик. Но бессилён был из него выбраться.

Самый чёрный день хрущёвского десятилетия — 1 июня 1962 года. Накануне было объявлено народу решение о ценах. Во многих городах в ответ началось открытое выражение недовольства: в Москве, Нижнем Тагиле, Ленинграде, Владимире, Тамбове, Донецке... Самодельные плакаты и листовки призывали бросать работу и выходить на улицу. Но только в одном городе, в Новочеркасске, за словами последовали и дела.

Вот как описаны события в Новочеркасске в книге Дмитрия Волкогонова «Семь вождей»: «1—3 июня 1962 года на электровозном заводе Новочеркасска начались стихийные волнения рабочих, которые прекратили работу и выдвинули лозунг: «Мяса, молока, повышения зарплаты». Собравшиеся перед заводоуправлением выдвинули только экономические требования. Три дня рабочие бастовали, требуя повышения заработной платы, улучшения условий труда и быта. Толпа бастующих, собиравшихся на заводском дворе, достигла четырех-пяти тысяч. Местные партийные власти, естественно, вызвали войска, танки. Но рабочих электровозного завода поддерживали на других предприятиях города.

Председатель КГБ СССР В. Е. Семичастный доложил в ЦК: «В 9 часов 50 минут все волынщики (около 5000 человек) покинули территорию заводов и двинулись в сторону гор. Новочеркасска, просочившись через первый танковый заслон. Впереди основной колонны они несут портрет В. И. Ленина и живые цветы».

Около горкома партии начались стычки с милицией. Толпа «срывала портреты»... Митинг проходил под красным знаменем и портретом Ленина, что было расценено КГБ как «провокация».

По митингующим рабочим войсками был открыт огонь на поражение... Пролилась кровь. Были убиты 23 человека, десятки ранены; все рабочие и учащиеся. «Захоронение трупов, — докладывал Н. С. Хрущеву В. Е. Семичастный, — произведено на пяти кладбищах области. Органами госбезопасности... проводятся мероприятия по выявлению наиболее активных участников беспорядков и аресту их. Всего арестовано 49 человек...»

Этого показалось мало. По инициативе КГБ в течение недели в Новочеркасске прошел «открытый судебный процесс», на котором поочередно присутствовало около пяти тысяч представителей разных заводов. Семеро «преступников» были приговорены к расстрелу, остальные получили по 10—15 лет лишения свободы.

Подробности того, что случилось в Новочеркасске, мы узнали двадцать с лишним лет спустя, на пике перестройки. Исследовалась главным образом мера вины Хрущева: сам он избрал этот жестокий, кровопролитный путь пресечения беспорядков или предпочел самоустраниться, перепоручить принятие решений своим присным? А вот о том, что вызвало бунт, никто всерьез не размышлял, это казалось само собой разумеющимся. Конечно, ухудшение условий жизни! Продукты вздорожали, денег стало не хватать, а народ к этому времени расслабился, привык распускать языки; когда шумели на заводе, тем более когда строились в колонну, понимали, конечно, что власти никого по головке не погладят, но не ожидали, что будут встречены огнем и что суд расценит их в общем-то вполне мирный протест как тягчайшее преступление против государства.

Но не слишком ли просто такое объяснение? Когда я знакомился с этими материалами, мне все время казалось, что авторы приписывают тогдашнему, начала 60-х годов, человеку просто-душие и доверчивость, которых у него вовсе не было.

Поговорить — это пожалуйста. И покричать на собрании, не церемонясь с администрацией, — в случае чего, придут комиссии, станут разбираться, всегда возьмут сторону рабочих. Анекдот рассказывать, называть лидера Никитой или Никиткой — тоже не страшно. Все это было опробовано, проверено, стало нормой. Но выйти многотысячной колонной на улицу? Неважно даже, под какими лозунгами и с какой целью, важно, что сделано это было самостоятельно, тогда как демонстрация — в строго определенных дни и по раз и навсегда установленному регламенту — входила в круг акций, которыми распоряжается только руководство, причем достаточно высокое. Например, я хорошо помню, что даже могущественный директор завода-гиганта, обладавший колоссальной властью в городе, не мог по своей воле организовать

митинг в цехе — только по распоряжению горкома партии, но ц там исходили не из собственных соображений, а просто «спускали на места» еще более высокую команду.

Выйти на демонстрацию самовольно — по степени запрети, по прочности внутренних табу это было вполне равносильно тому, чтобы, например, ворваться в заводскую бухгалтерию, взломать сейфы и разделить между собой те самые деньги, которые рабочие электровозного завода требовали себе в прибавку к зарплате.

Не случайно ведь и к событиям в Новочеркасске перестроечная печать обратилась не с самого начала эпохи гласности, а спустя немалое время, когда массовые публичные акции стали потихоньку входить в обычай и табу в сознании было снято. До этого самый либеральный журналист не знал бы, как в этом сюжете свести концы с концами.

Все это я говорю к тому, что люди, оказавшиеся в эпицентре новочеркасских событий, не могли относиться к своей затее как к чему-то невинному. Прежде чем бросить вызов властям, каждый из них должен был переступить через себя. А для этого требовались чрезвычайно сильные, непреодолимые побудительные мотивы.

Таким мотивом вполне мог бы стать голод. Но не будем преувеличивать снабженческих и финансовых трудностей начала 60-х годов. Люди реагировали скорее на символическое значение события. Сталин каждый год снижал цены — а Никита смотрите что делает, и ведь сам еще Сталина ругает. Обещал изобилие, хлеб во всех столовых разложил бесплатный и вот до чего докатился... Это была досада, она вызывала сильнейшее раздражение против Хрущева, обернувшееся через пару лет оскорбительным равнодушием народа к его отставке. И все же это был — по жгучести, накалу, непереносимости — совсем не тот шок, который разрушает систему внутренних запретов.

И еще одно важное соображение появляется, когда мы сопоставляем даты. 31 мая принимается постановление о повышении цен — 1 июня начинаются волнения. То есть никто, значит, еще ни разу не успел сходить в магазин, чтобы своими глазами увидеть новые ценники, сделать покупку, с гневом убеждаясь, что привычных сумм, предназначенных на питание, теперь будет не хватать.

Весь психологический контрапункт новочеркасских событий заставляет предположить, что повышение цен стало всего лишь спичкой, поднесенной к бочке с порохом. И чрезвычайная сила прогремевшего взрыва дает полное представление о том, как велико оказалось скопившееся к началу лета 1962 года напряжение.

Его невозможно привязать к какому-то конкретному дейст-

вию Хрущева. Ведь мы должны были бы найти среди них такое, которое, во-первых, сильнее всего шокировало массовое сознание, а во-вторых, было бы всеми воспринято одинаково. А ничего подобного не припоминается. Все, что потом стали привычно именовать «ошибками» царя Никиты — свертывание личного крестьянского хозяйства, гигантомания, строительство агрогородов и прочее и прочее, вплоть до маниакального проталкивания кукурузы чуть ли не за Полярный круг, — вызывало противоречивое отношение, споры. Кто-то возражал, кто-то сомневался, но многие вполне одобрительно относились к тому, что, например, крестьяне из кривобоких изб переедут в городские дома со всеми удобствами. Чем плохо?

И уж подавно не принимались близко к сердцу управленческие эксперименты, о которых, по крайней мере в период последней (при Горбачеве) ревизии событий того времени, больше всего было разговоров. Совнархозы вместо министерств, разделение партийных комитетов на промышленные и сельскохозяйственные... Конечно, чиновников эти реорганизации доводили до бешенства, нарушали их ведущий жизненный процесс прирастания к креслу, создания «междусобойчиков», завязывания и укрепления связей. Ну, представьте, только найдешь ход к нужному человеку, только доведешь отношения с ним до необходимой степени делового «интим» — и вдруг узнаешь, что вся структура перестроена, и он неизвестно где, и ты непонятно чем будешь заниматься...

Но аппарат свое слово сказал в другой момент и другим способом, людям же, к номенклатуре не причисленным, было ровным счетом наплевать на все эти пертурбации.

Нет, сколько я ни думаю, сколько ни сопоставляю разнородные факты, вижу только одно объяснение: причиной взрыва в Новочеркасске было глубочайшее разочарование. Его вызвал необъявленный, но безошибочно распознанный массовым сознанием конец хрущевских реформ. Разбуженная энергия так и не нашла выхода и применения.

Как государственный деятель, Хрущев продолжал поражать динамизмом, феерической активностью. Но как реформатор именно где-то здесь, на рубеже 50—60-х годов, он остановился. А общественные процессы не могут стоять на месте — как и в психике человека, они либо развиваются, либо начинается регресс. Застой в экономике постиг нас позже, в брежневские годы. Но душевная депрессия дала о себе знать еще при Хрущеве. И ничто не изменилось бы, если бы он в 1964 году сумел удержать власть. То, что хотел, он сделал. А о большем, как свидетельствуют его воспоминания, даже не задумывался.



До последнего дня, отпущенного ему природой, он продолжал бы реформы в своем понимании — удлинял и укорачивал управленческие коммуникации, передающие команды от центра к рабочим клеткам, добавлял и снимал промежуточные звенья, сдваивал, страивал, а потом опять вытягивал в одну линию нити соподчиненности и контроля. И все больше бы недоумевал: почему его замыслы так плохо реализуются, если все так четко отрегулировано и каждая клетка функционирует строго по утвержденным фафикам и планам? И с новым пылом принимался бы изобретать новые схемы, позволяющие еще жестче требовать и еще надежнее контролировать... Ничто иное не пришло ему в голову на покое — и не могло бы, я думаю, прийти за сколь угодно долгие годы активной деятельности.

Но почему? Много лет не оставляет меня этот вопрос. Слишком был стар? Нет, Хрущев был удивительным человеком, у него по каким-то особым законам строились возрастные циклы, активность, жажда нового, способность впитывать и перерабатывать информацию сохранялись до самых преклонных лет на уровне, присущем обычно гораздо более молодым людям.

Слишком был идеологически зашорен? Но ведь это не мешало ему, как мы помним, разменять коммунистическую идею на житейскую мелочь вроде мяса или штанов, что по сталинским меркам было неслыханной крамолой. Вот где он сделал невероятный, неслыханный по смелости шаг в сторону от твердо усвоенных им идеологических доктрин. Разве можно сравнить с этим расстояние, которое он оставил пройти Горбачеву?

И ведь была, была в Хрущеве глубоко заложена детская непосредственность мышления, та самая, которая позволила андерсеновскому мальчику вскричать: «Король голый!» И даже недостаток образования, который так подводил его в иных случаях, здесь мог оказаться полезен: он шел в восприятии жизни не от вычитанного и кем-то приведенного в систему, а от того, что видел и как мог объяснял себе сам.

Конечно, у него было одно принципиальное отличие от поколения вождей, ставших, по доброй воле или вынужденно, могильщиками системы. Он не видел ее финала, ее агонии, когда обнажилось и лезло наружу все ее прирожденное лицемерие и фальшь, когда история жестко поставила перед выбором: или вы меняетесь, или исчезаете с лица земли. Но ведь и Горбачев не сразу это понял, а многого не сумел понять, похоже, и поныне. Плана уничтожения административно-командной системы и возложения функций общественного регулирования на свободный рынок у него уж точно не было. По давню не вынашивал

таких планов и Хрущев. Но мог он хотя бы усомниться в том, что почитаемый им план и есть вершина совершенства, счастливая гавань, куда наконец-то, после стольких мытарств и скитаний по бурным волнам, приплыло многострадальное человечество? Хотя бы начать об этом думать?

Меня поразило, с каким упорством феноменальная хрущевская интуиция вылавливала и накапливала, держала на изготовку в памяти именно те факты и наблюдения, которые он смело мог бы бросить в лицо своим оппонентам, если бы решился на продолжение реформ.

Вот он вспоминает о далеком прошлом, о разрушенном гражданской войной Донбассе, где начиналась его карьера, о страшном голоде и лишениях, доводивших до людоедства. Правда, замечает он мимоходом (и ведь никто, заметьте, не тянет его за язык!), за несколько лет все изменилось — когда начался нэп. Сельское хозяйство росло как на дрожжах. Голод кончился чуть ли не за считанные месяцы, появились продукты, пришло — любимое слово — изобилие! Ну, а с концом нэпа опять начались проблемы.

Вот он рассказывает о том, как была возведена Берлинская стена и как сразу возникла драматическая необходимость бороться с перебежчиками. Опять никто не требует таких уточнений. Никита Сергеевич сам, по собственной инициативе, с печальным вздохом признается, что не помнит случая, когда бы из Западного Берлина кто-то стремился просочиться в Восточный. Ну, разве на время, повидаться с родными, если официальные пути пересечения границы почему-либо оказывались закрыты для человека. Нет, все беглецы упорно рвались из социализма в проклятый и тогда еще далеко не такой благоустроенный капитализм. И не кулаки, не коммерсанты, не предприниматели, не интеллигенты с их ослабленным классовым чутьем — рабочие! И даже не говорит при этом Хрущев, что кто-то задурил им голову, заманил мнимыми благами: нет, буквально открытым текстом признает он, что пока еще человеку, ищущему лучшей жизни, приходится избирать именно этот маршрут...

Такой же многозначительный пассаж нашел я в рассказе о поездке в Югославию в период «замирения» с Тито. Два наблюдения сделал Хрущев, знакомясь с этой страной, — и сохранил в памяти, и счел необходимым включить в свое повествование. В Югославии хотя бы в примитивных формах присутствует частная собственность, частнопредпринимательская инициатива. Югославы живут лучше, чем трудящиеся в Советском Союзе. Ну, уж эти-то две мысли должны где-то пересечься! Нет. Чрезвычайно понравилось Хрущеву в Югославии, как там удачно исполь-

зованы приморские территории для устройства фешенебельных курортов — сколько приезжает гостей со всего мира, сколько денег оставляют в отелях и местах увеселений, как оживляет это экономику всей страны! И опять интуиция заставляет Никиту Сергеевича сделать акцент на том, что именно в этих благодатных краях многое отдано на откуп частнику, который, следовательно, не только набивает свой карман, но и укрепляет потенциал государства. Но когда фантазия естественным образом возвращает его в родные края, то тут он рассуждает только о том, почему у государственных учреждений руки не доходят заняться обустройством собственных курортов. Разве на Черном море, в Крыму, на Кавказе нет условий для отдыха? Почему они не могут процветать, как западные курорты?

Вручает он орден Московской области, занявшей первое место в Союзе по удоям молока. И вдруг, ну совершенно ни к селу ни к городу, комментирует: «Возьмите финнов, датчан, голландцев. Они такие удои получают давно, и орденов им за это не дают!» Вы только вчитайтесь в рассуждения Хрущева: как будто это пишет какой-нибудь отпетый диссидент! «Мой помощник Шевченко как-то беседовал с крупнейшим селекционером Юрьевым, возглавлявшим научно-исследовательскую станцию близ Харькова. Когда Шевченко зашел к нему в кабинет, тот сидел задумавшись. «Видимо, размышляете над какой-то проблемой?» — спросил Шевченко. Юрьев с грустью ответил: «У меня работает доктор сельскохозяйственных наук, но абсолютный бездельник, вот я и думаю, как от него избавиться, но ничего не могу придумать, потому что закон защищает его...» Работа... служит нередко кормушкой для трутней...»

В Сибири, в хорошем животноводческом колхозе, Хрущев спрашивает у директора: «Какую культуру вы считаете наиболее выгодной для посадки в ваших условиях?» — «Могар». — «Почему? Могар — бобовая кормовая культура. Неплохая, но отчего она выгоднее других?» — «Вовсе не выгоднее, но если мы посеём другие культуры, государство заберет урожай себе, а траву могар государство не отбирает, все остается совхозу». Следовательно, наше государство воздействует на деревню не с позиций экономической выгоды, а как вымогатель».

Хрущев ездил в Сибирь, когда имел даже большее право сказать о себе «государство — это я», чем французский король. Но сейчас он трезво отдаёт себе отчет в том, что с этим вымогательством бессилён был справиться.

Конечно, вспоминает он и о кукурузе. «Партийная печать стала навязывать кукурузу даже там, где не нужно... Всем навяз-

зывали одно и то же, убивая на корню местную инициативу. Верховодила отчетность: такая-то республика закончила сев, такая-то область закончила уборку, убрано столько-то гектаров... Процветает безответственная болтовня. Как пошло это со времен коллективизации, так и сохранилось...

Врагами кукурузы у нас были и лентяи, и глупцы, и умные колхозные председатели с агрономом. Они-то получают определенную ставку, им заработок обеспечен. Он может быть повышен в результате более продуктивного ведения хозяйства, но разница выйдет небольшой. И они взвешивают, стоит ли овчинка выделки? Проезжая по дорогам, я не раз видел посевы подсолнуха на силос, жалкие, бедные, больно на них смотреть. Однако их сеют, потому что хлопот меньше. Если кукурузу посеять, за ней придется больше ухаживать. Правда, и отдача иная. Но нет, лучше жить спокойнее, по принципу «посеял, убрал, отчитался». Экономический эффект у нас не подвергается анализу, отсутствует сравнение и получается, что все кошки серые. Выделяются же те, кто лучше справился с полевыми работами на бумаге».

А можно ли при социализме вообще накормить народ? Наконец-то вопрос, все время плававший в подтексте, формулируется в лоб. «Противники социализма делают вывод, что условия преобразования жизни на социалистических началах приводят к безответственности, снижают эффективность труда. Поэтому Советский Союз и не может выбраться из трясины, в которой находится. А как нам их опровергнуть?»

Держа в голове все, о чем рассказывает Никита Сергеевич, опровергать противников социализма действительно трудновато. Но он и не останавливается на этом, а сразу начинает развивать свои излюбленные идеи. «Главное, от чего мы страдаем, — несовершенное руководство сельским хозяйством... Чтобы труд людей, занятых в сельском хозяйстве, стал продуктивным, надо, чтобы оно велось на должном научном уровне, имело техническое обеспечение и четкую организацию дела... Поэтому я и предложил создать производственные территориальные сельскохозяйственные управления, которыми будут руководить крупные специалисты...»

Мысли же о том, что люди сами могут наладить дело — и внедрять новое, использовать познания, вносить удобрения и т. п. не по указке, а потому, что сами окажутся в этом заинтересованы, — Хрущев не допускает. Не желает он признавать и того, что деньги могут поступать к людям прямо от тех, кто нуждается в их продукции. Он возмущается, когда хороших работников заставляют трудиться «на голом энтузиазме». Конечно,

надо создать материальную заинтересованность! Но сделать это должен все тот же управленческий орган, все тот же чиновник, только улучшенной формации: профессионально подготовленный, честный и тоже трудолюбивый. Он распорядится результатами крестьянской работы — и он же, по своему разумению, выделит часть доходов в пользу наиболее отличившихся.

«Я вообще придаю исключительное значение организационному фактору. В этом заключается основная деятельность социалистических органов. Или же придется прийти к частнокапиталистической прибыли с частной собственностью».

Я просто слышу, каким тоном произносит Никита Сергеевич последнюю фразу, — так говорят обычно врачи недисциплинированным пациентам: «Если вы не будете выполнять моих назначений, вы умрете».

Что же помешало Хрущеву увидеть мир и себя в нем другими глазами? Додумать до логического конца свои мысли об американских фермерах, о голландских производителях картофеля, о финнах, способных напоить молоком весь мир? Для меня это вопрос глубоко личный. Я убежден: если бы такое случилось, то и моя жизнь сложилась бы по-другому, и все мы жили бы сейчас в совершенно иной стране, в здоровом, а не медленно, с трудом выздоравливающем обществе, и от множества несчастий и унижений уберегла бы нас судьба.

Проще всего сказать: Хрущев замкнулся на сумме представлений, смолоду им усвоенных, и оказался неспособен с них сдвинуться. Но для меня это не ответ. Есть люди косные, ограниченные, у которых мыслительный процесс по характеру напоминает бесконечный повтор одного и того же фрагмента на заедающей грампластинке. Но Хрущев решительно не был таким человеком, как не был он и фанатичным упрямым. Лишний раз я убедился в этом, читая заключительную главу воспоминаний, надиктованную им буквально за неделю до смерти. Он кается в том, что допустил травлю Пастернака, оскорбил Эрнста Неизвестного, вообще пытался командовать художниками, в творчестве которых так мало понимал...

Его ограниченность особого рода. Она не была свойством небогатого интеллекта, а формировалась специфической, во многом уникальной структурой его личности. Вот почему я и решил попытаться с помощью психоанализа разрешить эту загадку.

Разбираясь в парадоксальнейших свойствах его натуры, я все время думал о тех, в ком и поныне сохранились следы его влияния. О его постаревших, ослабевших, выбитых из колеи «детях»,

которые чувствуют себя в сегодняшней России, как на терпящем крушение корабле. Которые страстно призывают спасителя — лидера, способного заделать пробоины и вернуть судно на прежний курс.

\* \* \*

Передо мной два уникальных документа. Поэт Андрей Вознесенский и кинорежиссер Михаил Ромм описывают одно и то же событие — памятные всем встречи Хрущева с творческой интеллигенцией, на одной из которых оба были подвергнуты примерной экзекуции.

Для Вознесенского это была настоящая гражданская казнь, так он это воспринял и пережил. Более зрелый и больше на своем веку повидавший Ромм оказался покрепче, но и его публичная расправа едва не сломила. Глубина стресса плюс профессионально натренированный аппарат восприятия совершил маленькое чудо: не часто встречались мне страницы, создающие такой мощный эффект присутствия.

Что же мы видим, перенесясь под своды Свердловского зала Кремля?

«В нескольких метрах от меня вопило искаженное злобой лицо Хрущева... Вскочил, потрясая над головой кулаками...

Раздался микрофонный рев...

Взмок от получасового крика, рубашка прилипла темными пятнами...»

Это — Вознесенский.

У Ромма — подробнее.

«Сначала он вел себя как добрый, мягкий хозяин крупного предприятия, вот угощаю вас, кушайте, пейте... И так это он мило говорил — круглый, бритый. И движения круглые. И первые реплики были благостные.

А потом как-то взвинчивался, взвинчивался и обрушился раньше всего на Эрнста Неизвестного. Трудно ему было необыкновенно. Поразила меня старательность, с которой он разговаривал об искусстве, ничего в нем не понимая, ну ничего решительно... Долго он искал, как бы это пообиднее объяснить, что такое Эрнст Неизвестный. И наконец, нашел, нашел и очень обрадовался этому, говорит: «Ваше искусство похоже вот на что: вот если бы человек забрался в уборную, залез внутрь стульчака и оттуда, из стульчака, взирает бы на то, что над ним, ежели на стульчак кто-то сядет. На эту часть тела смотрит изнутри, из стульчака. Вот что такое ваше искусство...» И тут же: «И что это

за фамилия — Неизвестный? С чего это вы себе псевдоним такой выбрали — Неизвестный, видите ли. А мы хотим, чтобы про вас все было известно».

— Это моя фамилия.

А ему:

— Ну что это за фамилия — Неизвестный?»

Андрей Вознесенский, оказывается, ничего не преувеличил в своем описании — наоборот, из зала все выглядело еще страшнее: «Хрущев почти мгновенно его прервал — резко, даже грубо — и, взвинчивая себя до крика, начал орать на него. Тут были всякие слова: и «клеветник», «что вы тут делаете?», и «не нравится здесь, так катитесь к такой-то матери», «мы вас не держим...» Трудно даже как-то и вспомнить весь этот крик, потому что я не ожидал этого взрыва... Мне даже показалось, что это как-то несерьезно, что Хрущев сам себя накачивает, взвинчивает...»

Но по-настоящему сюрреалистическим было то, что зафиксировал Ромм в самом конце: «— Вот, — говорил Хрущев, — товарищ Эренбург пишет — он-де уже после тридцать седьмого года понял или после войны понял, что такое Сталин и прочее, — понял, но вынужден был молчать; выходит, он понял, а мы не понимали. А если понял, почему молчал? А вы, товарищ Эренбург, говорите: все молчали... Вы думаете, легко было нам? Между нами говоря, это же был сумасшедший последние годы жизни, су-ма-сшед-ший. На троне — заметьте... Нет, не все молчали, товарищ Эренбург. А вот товарищ Эренбург думает, что это легко...»

«Он что, рехнулся?» — была первая, непосредственная реакция Вознесенского. Очень похожий вопрос самопроизвольно возник и у меня. Для проверки я постарался представить, что передо мной не носитель верховной власти (это все-таки как-то завораживает), а просто имярек, психическое состояние которого меня попросили по этим штрихам оценить. Он буйствует, он исходит диким криком, он еле способен сдерживать агрессивные аффекты, у него потоком льется спутанная, почти бессвязная речь, причем выпаливает он то, чего явно не собирався говорить.

Первое, что спросил бы я, увидев такого пациента в жизни: «Что он курит?» — почти не сомневаясь, что передо мной наркоман с немалым стажем.

Об этом говорят не только описанные сценки. В пользу наркомании свидетельствует и сверхъестественная энергия Хрущева, прорывающаяся в многочасовых речах, в неумолимой жажде передвижений. За время посещения ООН в 1960 году меньше чем за месяц он наговорил на 300 с лишним страниц! За 9 месяцев последнего в его карьере 1964 года он провел в разъездах 136 дней,

посетил какое-то астрономическое число стран и городов, везде выступал, выступал, выступал... А ведь уже 70 лет стукнуло человеку!

В этот же ряд я поставил бы и необузданность фантазии. Мне рассказывал бывший работник Министерства культуры, присутствовавший при сдаче Хрущеву памятника Тарасу Шевченко, как проходила эта церемония. То, что Хрущев даже для приличия не поинтересовался ничьим мнением и сразу приказал приступить к водружению, — это уж, как говорится, Бог с ним. Но вдруг посреди разговоров о монументе, никто и не понял в какой связи, перескочил на подвесные монорельсовые дороги и сразу же загорелся: «Немедленно сооружаем такую между Севастополем и Симферополем!» И чуть ли не правительственные распоряжения начал с ходу диктовать. Кто-то, самый смелый, робко напомнил о рельефе местности. «Ах, да, — сказал Хрущев. — Ладно, будем строить между Домодедовом и Москвой». И уже не вспоминал больше ни о скульптуре, ни о самом Шевченко, вообще, похоже было, забыл, где он и как сюда попал.

Очень сложный случай, тяжелый, запущенный, — сказал бы я о больном, взвесив эти симптомы.

А между тем доподлинно известно — никаких наркотиков Хрущев не принимал. Думаю, сам вкус их был ему неведом. Его наркомания имела другую, органическую природу. Роль наркотика, срывающего психику с колес, играла для Хрущева сама власть. И лишний раз это подтверждается тем, что, расставшись с нею, этот человек волшебным образом преобразился. Все исчезло: и вулканические выбросы энергии, и приступы неукротимой ярости, и маниакальная непоседливость. Он просил прощения у тех, кого готов был уничтожить, словно бы диву даваясь, как могло с ним происходить такое.

Ничего специфически хрущевского в этом феномене нет. Как воздействует на психику какой-нибудь гашиш, точно так же влияют на нее и гормоны, поступающие в кровь в ответ на внешние ситуации. Я думаю, что только поэтому на человека действуют наркотики, — они, как поддельный ключ, отпирают те замочки, которые природой подготовлены для саморегулирования организма. И механизм, и результат воздействия одинаковы. Тот же «кайф». И так же формируется неотвязная потребность, превращающая человека в раба привычки.

Число жизненных факторов, запускающих этот механизм, безгранично. Но роль абсолютного лидера среди них принадлежит Власти. Конечно, к началу 50-х вкус власти был Хрущеву Достаточно хорошо знаком. Но при жизни Сталина никому не



было дано в полной мере ощутить ее дурманящую сладость. Сравним два эпизода — об одном пишет Волкогонов, другой приводит в воспоминаниях сам Хрущев.

Председательствует Никита Сергеевич на большом совещании по вопросам сельского хозяйства, положение в котором, как всегда, критическое. По всему видно, что руководить для него — значит орать, угрожать, нагонять страху. Короче, показывать кузькину мать.

Наконец встает директор МТС, говорит: есть серьезная трудность. В деревнях скопилось много навоза, зараженного бруцеллезом. Скоро весна, талые воды донесут заразу до самой Астрахани. А принять какие-то защитные меры колхозам не под силу.

Но Хрущев не дает себе даже труда дослушать:

— Пришел тут чепуху рассказывать! Давайте отчет! А то зацепились за навоз и будем сидеть на навозной куче!

А вот вторая история. Сразу в нескольких областях начинается массовый падеж лошадей. Первая мысль — вредительство. Враги хотят обескровить народное хозяйство, подорвать боевую мощь армии! Сажают всех, кто имеет хоть какое-то отношение к лошадям. Безрезультатно. По наводке арестованных, тут же во всем признавшихся, снимают еще один слой якобы причастных к злодейской акции. И снова нулевой эффект. Одна за другой отправляют на место несколько комиссий. Те тоже почти сразу же оказываются в тюрьме. А лошадиное поголовье продолжает сокращаться.

И тут за дело берется Хрущев и начинает с немыслимого — он ставит под сомнение выводы органов! Созывает новые комиссии — из светил ветеринарии. Добивается для них, с неясным исходом для себя самого, гарантий безопасности. И выясняет — не было в помине никакого вредительства. Была, по его выражению, обычная бесхозяйственность. Вечно запаздывали с уборкой соломы, она намокала на поле, прела, и в ней размножался ядовитый грибок. Исправили эту ошибку — падеж тут же прекратился.

Понятна простодушная гордость Хрущева. Ведь он не просто проявил выдающуюся смекалку — он буквально голову клал под топор. При желании ничего не стоило и его объявить соучастником. Но уж слишком сильно было в нем желание покончить с этой дьявольской напастью!

И первое, что приходит в голову, — эти два портрета, категорически отказывающиеся слиться в один, относятся к двум этапам в развитии личности Хрущева, если угодно — и в развитии общества. Первый — к поре расцвета иррациональной, репрессивной сталинской системы. Второй — к временам финального кризиса, с медленно пробуждающимся реализмом восприятия.

Но в действительности все было как раз наоборот!

История с лошадьми — это предвоенные годы, почти сразу после того, как Сталин, решая, кого назначить своим главным палачом, долго колебался, выбирая между Хрущевым и Ежовым.

И кандидатуру Хрущева отвел только из-за его скандальной необразованности, а вовсе не потому, что посчитал его менее пригодным к исполнению палаческих функций.

А стенограмма, которую цитирует Волкогонов, датирована 1950 годом. Это тот самый период, когда Хрущевым должна была уже достаточно прочно овладеть главная антисталинская мысль, озарившая начало его царствования, — что не может быть хорошим труд из-под палки!

Я вижу только одно объяснение этого загадочного парадокса: лошадиной эпидемией занимался украинский секретарь, а страх на безответных деревенских руководителей наводил московский.

Конечно, эти два эпизода — не более чем иллюстрация к тому, что показывает подробный анализ: в Киеве Никита Сергеевич и вправду поворачивался к народу другими гранями своей личности. Что-то важное в нем неуловимо менялось, даже если проявиться это могло всего лишь в оттенках, в нюансах поведения. Ведь, например, пересказав, с явным самодовольством, эпопею с лошадьми, Хрущев ничего не сообщает о судьбе невинно пострадавших: сняли с них бредовые обвинения или же так и оставили гнить в лагерях?

Но вот крошечный штрих. Известно, что Сталин вел ночную жизнь. И во всех высоких кабинетах светились по ночам окна. Если вождь, как внушалось нам с детства, был всегда «на посту» (что он отсыпался в дневное время, как-то ускользало от внимания), то не должны были покидать своих постов и все крупные государственные деятели. Вдруг потребуется какая-то справка? Вдруг последует какой-нибудь срочный приказ? А вот Хрущев был типичным «жаворонком», ночные бдения его утомляли. Работая в Киеве, он и сам уходил отдыхать вовремя, и подчиненных отпускал. И Сталин, как утверждает в своих записках зять Хрущева, талантливый журналист Алексей Аджубей, почему-то считался с этим. Он мог, конечно, в любой час поднять «Микиту» с постели, но не делал этого никогда. Чем бы это ни объяснялось, он принимал это подобие независимости, появлявшееся в Хрущеве, когда тот был «у себя» — на Украине.

Я бы не удивился, получив доказательства того, что важную роль играло само дистанцирование от Сталина, физический уход из его магнетического поля. Хрущев отваживался перечить Сталину, вот что выглядит почти неправдоподобным! И тем не менее

на страницах его воспоминаний, относящихся к 1946 году, рассказана правда.

1946 год был страшно засушливым, пишет Хрущев. К осени вырисовывался ужасно плохой урожай. А план «спустили» чуть ли не больше того, что выросло. И началось — так это и называет Хрущев — выколачивание хлеба. От председателей колхозов приходили душераздирающие письма. «У нас ничего не осталось. Помогите». А от первого секретаря ровно ничего не зависело! «Я не мог ничего сделать, при всем своем желании, потому что, когда хлеб сдается на государственный приемный пункт, я не властен распоряжаться им, а сам вынужден умолять оставить нам какое-то количество зерна, в котором мы нуждались. Что-то нам давали, но мало...

Назревал голод. Я поручил подготовить документ в Совмин СССР с показом наших нужд. Мы хотели, чтобы нам дали карточки с централизованным обеспечением не только городского, а и сельского населения каким-то количеством продуктов и кое-где просто организовали бы питание голодающих...»

В ответ Сталин прислал грубейшую телеграмму, в помощи отказал. «Пошел голод. Стали поступать сигналы, что люди умирают. Кое-где началось людоедство... Кириченко (он был тогда первым секретарем Одесского обкома партии) рассказывал, что, когда он приехал в какой-то колхоз проверить, как проводят люди зиму, ему сказали, чтобы он зашел к такой-то колхознице. Он зашел: «Ужасную застал я картину. Видел, как эта женщина разрезала труп своего ребенка, не то мальчика, не то девочки, и приговаривала: «Вот уже Манечку съели, а теперь Ванечку засолим. Этого хватит на какое-то время». Эта женщина помешалась от голода и зарезала своих детей. Можете себе это представить?»

И Хрущев снова ехал в Москву, снова и снова связывался со Сталиным по телефону, получал разносы, «какие только было возможно». Все знали, что Сталин не переносит правду, если она не ласкает его слух. Он считал, что все при его власти благоденствуют, а ведь Хрущев не только рисовал ужасающие картины — он требовал, чтобы вождь поступил вопреки своим намерениям! «Я был ко всему готов, даже чтобы попасть в графу врагов народа», — признается Никита Сергеевич. Что было у него в душе, когда, ни слова не дождавшись от Сталина, он слышал в телефонной трубке гудки отбоя?

Моя гипотеза сводится к тому, что именно в Киеве, задолго до смерти Сталина, неудержимая фантазия Хрущева уже сформулировала исподволь его будущий самоимидж — доброго, все понимающего царя, заботливого отца своего народа, который

только потому и держит его в строгости, что ему одному известно, как сделать всех счастливыми. И Украина стала первым его царством — в причудливом соединении призрачных, бессознательных образов с самой что ни на есть земной, весомой, зримой и очень грубой властью. Это уже потом он расширил свое царство, присоединив к Украине весь остальной Союз, а поначалу, и достаточно долго, она была его страной, его землей, населенной его символическими детьми. Он за нее отвечал. Вот что питало его отчаянную, самоубийственную смелость!

Но как связать эту прямо-таки несовместимую с закаленным большевиком совестью с ужасающей грубостью, порой жестокостью, неотделимыми от его образа для многих из тех, кто сталкивался с ним лично?

Хрущев, подробно рассказывая о своей жизни, сам дает на это ответ.

Как большинство из нас, Хрущев был сыном двух отцов — биологического и символического, и каждый сформировал его по своему образу и подобию. Но если на нас общий наш символический отец смотрел с фотографий, то Хрущев жил с ним рядом. Так живут дети при настоящих отцах, трепеща от почти мистического восторга («он видел сквозь стены и сталь») и столь же запредельного ужаса, далеко выходящего за границы вполне закономерного страха перед человеком, способным в любую минуту убить. Не сомневаюсь, что жители дореволюционной Калиновки строго соблюдали церковные правила и приучали к тому же своих детей. Вполне возможно, что в Сталине для Хрущева воплотились его самые ранние детские представления о Боге и дьяволе — в одном лице.

Помните, мы удивлялись, как мог Хрущев, своими глазами видевший переход от ужасов военного коммунизма к ренессансу при нэпе, не сделать никакого вывода из этого кричащего сопоставления? Но вот еще более показательный пример. Известно, что началом большой политической карьеры Хрущев был обязан непримиримой борьбе с «правыми», которую он вел в стенах Промакадемии. На одном из витков этой борьбы идейные враги, чтобы удалить крикуна Хрущева из Москвы в момент какого-то ответственного голосования, отправили его в подшефный колхоз в Самарскую область. До этого Хрущев «действительного положения» в селе не знал. Теперь приехал и увидел... буквально голод. (Чувствую, что становлюсь несколько монотонным, но ничего не поделаешь — таковы были реалии, сопутствовавшие моему герою на протяжении почти всей его жизни.) Люди ходили как осенние мухи, машины, подаренные шефами, не произвели

на них никакого впечатления, они просили об одном — дать им хлеба. То есть своими глазами Хрущев убедился в том, что «правые» не просто интриговали против генеральной линии. Но это его ни на сантиметр не сдвинуло, и он, вернувшись в Москву, с новыми силами включился в борьбу... Неважно, что видели его глаза. Важно, что заявлял Сталин.

Все, что делал и говорил вождь, приводило его будущего преемника в состояние трепетного восторга. Сталинская проницательность казалась почти нечеловеческой, он знал все и все мог. Хрущев с трудом подбирает слова для передачи своих чувств, жизнь в нем не воспитала способности к рефлексии, к анализу собственных переживаний. Но, переносясь мысленно в 30-е годы, воскрешая в своей душе тогдашние свои эмоциональные реакции, он внезапно находит поразительно точное слово, заимствуя его из чужой, не свойственной ему лексики. Он говорит о Сталине: «Я обоготворял его личность». В устах человека несентиментального такое признание дорогого стоит.

И это божество приблизило его к себе! Возвысило своим доверием! Выделило из толпы, включило в круг избранных, дало ощутить с пронзительной остротой собственную значительность, необычайную ценность! И при этом не возносилось, не демонстрировало, какой пропастью отделено оно от обычного человека, каким был сам Хрущев, — хотя, бесспорно, имело на это право. Сталин ввел Хрущева в дом, познакомил с семьей, приглашал к столу, на который, подумать только, подавали такую же простую, всем доступную еду, какой довольствовались рядовые граждане. Недостигаемый, окруженный тайной Бог внушает почтение и трепет. Бог, спустившийся на землю, разделяющий с людьми все тяготы их бытия, погружает душу в волны сладостного экстаза.

«Однажды (по-моему, перед XVII партийным съездом) мне позвонили и сказали, чтобы я позвонил по такому-то телефону. Я знал, что это номер телефона на квартире Сталина. Звоню. Он мне говорит: «Товарищ Хрущев, до меня дошли слухи, что у вас в Москве неблагополучно дело обстоит с туалетами. Даже «помаленькому» люди бегают и не знают, где бы найти такое место, чтобы освободиться. Создается нехорошее, неловкое положение. Вы подумайте с Булганиным о том, чтобы создать в городе подходящие условия». Казалось бы, такая мелочь. Но это меня еще больше подкупило: вот даже о таких вопросах Сталин заботится и советует нам. Мы, конечно, развили бешеную деятельность с Булганиным и другими ответственными лицами, поручили обследовать все дома и дворы, хотя касалось это в основном дворов,

поставили на ноги милицию. И это тоже было сделано. Потом Сталин уточнил задачу: чадо создать культурные платные туалеты. И это тоже было сделано. Были построены отдельные туалеты. И все это придумал тоже Сталин.

Помню, как тогда не то на совещание, не то на конференцию съехались товарищи из провинции. Эйхе (он тогда, кажется, в Новосибирске был секретарем парторганизации) с такой латышской простотой спрашивал меня: «Товарищ Хрущев, правильно ли люди говорят, что вы занимаетесь уборными в городе Москве и что это — по научению товарища Сталина?» «Да, верно, — отвечаю, — я занимаюсь туалетами и считаю, что в этом проявляется забота о людях, потому что туалеты в таком большом городе — это заведения, без которых люди не могут обходиться даже в таких городах, как Москва». Вот такой эпизод, казалось бы, мелочевый, свидетельствует, что Сталин и мелочам уделяет внимание. Вождь мирового рабочего класса, как тогда говорили, вождь партии, а ведь не упускает из виду такую жизненно необходимую мелочь для человека, как городские туалеты. И это нас подкупало».

В двадцать с чем-то лет Хрущев, малограмотный слесарь (не навидевший его Шепилов уверял, что своими глазами видел его собственноручную резолюцию на каком-то документе — «Азнакомца»), стал заместителем управляющего рудником — вступил в инженерную должность, предполагавшую руководство квалифицированными специалистами, и с этого момента занимался командованием в стремительно расширявшихся масштабах. Для революционного самосознания это было в порядке вещей. И все же я не сомневаюсь, что невозможность понять и осмыслить нечто, требовавшее знаний и эрудиции, постоянно его угнетала, подрывала в самых чувствительных точках самоимидж. На чем-то ведь должна была вырасти его феноменальная самоуверенность — гиперкомпенсация, спасительная психологическая защита!

Сталин не только всем своим поведением амнистировал ужасающее невежество Хрущева, — когда он говорил, тому все становилось понятно. Весь мир приобретал в сознании Никиты Сергеевича ту элементарную, схематическую простоту, к какой так виртуозно умел вождь свести любую, даже самую мудреную проблему. Никто не мог бы так точно передать целительную силу сталинского догматизма, как это сделал сам Хрущев: «Сталин резко выделялся (на фоне других вождей. — А. Б.), особенно четкостью своих формулировок... Раз присутствовал я на совещании узкого круга хозяйственников. Это было в 1932 году, когда Ста-

лин сформулировал свои знаменитые «шесть условий» успешного функционирования экономики... Слушая Сталина, я старался не пропустить ни одного слова и, насколько мог, записал его выступление. Потом оно было опубликовано. Повторяю, краткость выражений и четкость формулирования задач, которые были поставлены, подкупали меня, и я все больше и больше проникался уважением к Сталину, признавал за ним особые качества руководителя».

Наделенный от природы неординарно живым, восприимчивым умом, цепкой наблюдательностью, Хрущев даже не замечал, как встраиваются в его сознание эти сталинские клише, парализуя творческую жизнедеятельность мозга. Неразрешимые на уровне его подготовки вопросы вызывали тревогу, беспокойство, мучительную неуверенность. А когда мысль на своем пути встречала готовый, все расставляющий по местам блок, дискомфорт как рукой снимало.

Обе составляющие понятия «нерассуждающая преданность» — сложнейшего по обеспечивающему его психологическому механизму! — оказались у Хрущева возведенными в квадрат, если не в куб. Какое же психическое насилие предшествовало тому, чтобы привести в такое состояние человека, которому от рождения была дарована сильнейшая потребность рассуждать, до всего доходить своим умом! И все же даже не в этом заключается феноменальность личности Хрущева.

Не могу сосчитать, в каком множестве самых причудливых вариантов наблюдал я трагические последствия кому-то навязанной силком, а кем-то добровольно, восторженно воспринятой идентификации со Сталиным — символическим отцом, живым, спустившимся на землю Богом. Если бы с Хрущевым произошло только это, то лишь своей высокопоставленностью он выделялся бы над многомиллионной массой своих современников. Но он демонстрирует и другое — то, чего не должно было быть, строго говоря, не могло быть, если исходить из канонических представлений психоанализа.

В упрощенной формулировке крупнейшие античеловеческие извращения большевизма, вообще революционного радикализма как особого психического устройства объясняются тем, что идентификация с Учителем, Лидером, по-русски — вождем затеняет, заглушает, а случается — вытесняет начисто первичную идентификацию с родным отцом. У Хрущева же она сохранилась почти нетронутой. Я слишком мало знаю о нем, о его детстве и ранней юности, чтобы пытаться объяснить, почему так случилось, но эта уникальная, чуть ли не противоестественная особенность посто-

янно дает себя почувствовать и в поведении Хрущева, и во всех его реакциях, и в том, что составляло его величие, и в том, что навек покрыло его имя несмываемым позором.

Каким человеком был отец — Сергей Никандрович Хрущев? Трудно сейчас восстановить его облик. Не сохранилось даже фотографии. Никита Сергеевич не захотел ничего сказать о своих родителях. Все, чем я располагаю, — это несколько скупых строчек в записках жены лидера, Нины Петровны Хрущевой, появившихся, строго для семейного пользования, незадолго до смерти: «...Когда у нас уже была квартира в Доме правительства на Каменном мосту (4 комнаты), к нам переехали родители Н. С. Тогда продукты распределяли по карточкам, мой распределитель находился недалеко от завода (то есть в районе Электrozаводской. — А. Б.), а распределитель Н. С. — в теперешнем Комсомольском переулке. Отец Н. С, Сергей Никандрович, ездил в эти распределители за картошкой и за другими продуктами и носил их «на горбу» (на спине), другой возможности не было. Однажды с таким грузом он спрыгнул с трамвая на ходу, да еще в обратную от хода сторону; хорошо, что не убился насмерть. Он же носил Радочку в ясли на 11-й этаж нашего дома, когда лифт не работал... Рада очень любила дедушку.

Бабушка, Ксения Ивановна, больше сидела в своей комнате или брала табуретку и садилась на улице возле подъезда. Возле нее обязательно собирались люди, которым она что-то рассказывала. Н. С. не одобрял ее «сидения», но мать его не слушала».

Как можно понять, у Нины Петровны, которая в ту пору сама «горела» на партийной работе, не много оставалось времени, чтобы близко общаться со «стариками»; да и не ставила она в этих записках такой задачи — описывать лица, характеры. Там больше говорится о событиях, об обстановке...

На удивление бедной выглядит и информация о самом Хрущеве. Каким он был в ту пору, когда в человеке наиболее ощутимо влияние семьи? Эта тема Никите Сергеевичу тоже была явно неинтересна, обращался он к ней главным образом для того, чтобы подчеркнуть чистоту своего происхождения. Родился в деревне, в бедном доме (где-то он упоминает, что печка топилась «по-черному»), мальчишкой отец увез его в Донбасс, но все же он успел полюбить деревню, деревенский быт. Отец работал на угольных коях, при этом и мальчика семья была вынуждена с двенадцати лет послать на работу, из-за чего и учиться в школе ему довелось всего «две зимы». И вместе с тем, едва успев повзрослеть, Никита начинает вполне прилично себя обеспечивать. Несколько раз, описывая свое материальное положение в быт-



ность крупным партийным руководителем, подчеркивает: до революции я жил гораздо лучше. Несмотря на молодость, вступает в Общество трезвости, увлекается фотографией, гоняет по улицам поселка на мотоцикле, который сам ухитрился собрать. Очень красноречива фотография пяти дочерей шахтера Ивана Андреевича Писарева, в семье которого восемнадцатилетний Хрущев «столовался»: одна из этих прелестных барышень, по-другому не скажешь, через два года стала его женой...

Все это слишком бегло, неопределенно, чтобы строить какие-то гипотезы, мне даже не хочется облекать в слова те смутные ассоциации, которые невольно связываются с этими штрихами. Но что-то определенно обнаруживается, — может быть, по сходству с семьями, с которыми я соприкасался близко, наблюдал в разных жизненных обстоятельствах, часто в испытаниях, в несчастьях. Конечно, я ничего не могу утверждать, но когда я думаю о пронзительном хрущевском жизнелюбии, о его мощнейшем созидательном начале, о многом, многом другом, органически вырастающем из этих фундаментальных качеств, — почти не сомневаюсь, что все это было заложено в нем отцом.

Две идентификации, тяготевшие к двум разным мирам, к двум несовместимым сверхидеям и потому одна другую исключавшие, сосуществовали, судя по всему, достаточно мирно, пребывая в некоем подвижном равновесии. В этом мне видится и ключ ко всем загадкам, которыми ошеломлял Хрущев страну и мир, и психоаналитическое обоснование образа, рожденного интуицией Эрнста Неизвестного, когда тот работал над надгробным памятником. Белое и черное в игре мраморных блоков — извечные символы света и тьмы, добра и зла, правды и лжи, во всем их антагонизме, несовместимости, здесь, благодаря композиции, предстают в раздражающем и вместе с тем притягивающем единстве, они неразделимы...

Скульптор оказался одним из немногих, кто не только увидел, но и правильно понял этого человека.

\* \* \*

Из всех людей, писавших о Хрущеве, мне, как я уже упоминал, наиболее близок Анатолий Стреляный. Когда он называет Никиту Сергеевича человеком целомудренным, и вообще на редкость цельным; когда говорит о его трезвом чутье и здравом смысле, о том, что он «не был ни чиновником, как Маленков, ни, как Брежнев, обывателем, — им владело острейшее чувство личной ответственности перед народом», — мне сразу становится

понятно, чем это можно подкрепить или проиллюстрировать. Только одну грань хрущевского характера мы воспринимаем по-разному.

«Хрущев, вспомним, был из команды, которую Сталин набирал и воспитывал специально для уничтожения нэпа и для строительства казарменного социализма. Никита Сергеевич был создан не для торговли. Рожденный витать в облаках торговать не будет. Если бы в конце 20-х годов требовалось не кончать нэп, а укреплять его, Хрущева никуда бы не вынесло, вернее, вынесло бы совсем-совсем не туда. Он оставался бы слесарем, может быть, открыл бы свою мастерскую, а скорее всего был бы профсоюзным вожаком, состоял бы в оппозиции к правительству, кричал бы, что оно идет на поводу у торгашей, предает идеалы...»

Из чего следует, что Хрущев был рожден витать в облаках? Наоборот! Он сам очень точно говорит о себе: «Я — человек земли», не только в смысле крестьянской приверженности к ее возделыванию. Он имел в виду важную особенность своего мышления — инстинктивное недоверие к отвлеченным построениям, теоретическому мудрствованию, потребность поминутно сверяться с земной реальностью, с практикой. Таким свойством Хрущев не только не гордится — наоборот, он сокрушается, завидует партийным златоустам, способным с любого места воспарить в теоретическую высь, в его представлении это важное достоинство вожака масс. Он даже на основоположников не умел сослаться. Обязательные цитаты встречаются только в тех местах его докладов, которые были для него написаны кем-то другим. И не случайно его так и подмывало отбросить эти скучные страстицы и поговорить на своем, «земном» языке.

К моменту разгрома нэпа Хрущев уже слишком много пережил крутых переломов, чтобы было легко разобраться, что он нес в себе изначально, а что приобрел по пути. Если же из всего, что мы о нем знаем, попытаться выкристаллизовать какой-то основной, первичный образ, то у меня в сознании сразу возникает слово «хозяин». Деятельный, аккуратный, вникающий в каждую мелочь, испытывающий ни с чем не сравнимое удовольствие, когда из ничего рождается что-то полезное, нужное, мастерски сработанное.

Во время войны, на Сталинградском фронте, рядом со штабом, где находился Хрущев, упал потерпевший аварию самолет, и так удачно — почти не разбился, и летчик, сумевший спланировать, уцелел, и других жертв не было. А наутро оказалось — машина полностью «раздета». Все, что можно было оторвать, отковырять, отломать, солдаты унесли на свои поделки — ножич-

ки, мундштуки, зажигалки... «А ведь можно было тот самолет отремонтировать!» — горестно восклицает Хрущев в своих воспоминаниях. Какой же силы была эта досада — типичнейшая реакция хорошего хозяина на пропадающее зря добро, — если через столько лет и событий в памяти не стерся такой пустячный эпизод!

Когда он выходил из себя при виде тощих, заросших сорняками колхозных полей, это была не только ярость главы государства, сталкивающегося с тем, что буксует проводимая им экономическая политика. В нем бунтовало и возмущалось все то же оскорбленное хозяйское чувство, органически не переносящее криворукости и халтуры.

Аджубей рассказывает о жизни Хрущева в начале 1950 года, когда он вторично обосновался в Москве: «Он предпочитал проводить свободный день где-нибудь в колхозе, на стройке или у своих знакомых: профессора Лорха — выведенные им сорта картофеля были лучшими в стране, селекционера сирени Колесникова, садовода-мичуринца Лесниченко. Люди сельского труда, «волшебники земли» вызывали у Никиты Сергеевича чувство уважения. Он всегда ценил яркие способности, таланты. Поддерживал их, увлекался. От этого и его вера в чудо. Яблоки Лесниченко, сирень Колесникова, торфокомпост Лысенко, мульчирование почв, предложенное учеными Тимирязевской академии, гидропоника, торфо-перегнойные горшочки, квадратно-гнездовой способ посадки картофеля, позже — кукуруза, убежденность в спасительной силе идей Прянишникова о поддержании плодородия земли неорганическими удобрениями и многое, многое другое постоянно завораживало его. Если учесть его деятельную натуру, необычайный напор, с которым он брался за дело, то естественно, что не все и не всегда оказывалось приемлемым, не всегда вело к той пользе, на которую он рассчитывал, но берусь утверждать: единственной его целью было — улучшить жизнь».

По-видимому, Хрущев и в самом деле видел страну как большое-большое хозяйство, которое он обязательно должен обегать, все проверить, распорядиться, как вести работы. Если бы он действительно мог повсюду поспеть, и он, и мы были бы избавлены от многих разочарований... Стиль самый неподходящий для крупного государственного деятеля, но зато естественный и органичный для хозяина, получающего не меньше удовольствия от процесса, чем от результата. Увидел, что сосед что-то новенькое применяет, — дай и я попробую!

Если бы Хрущев и вправду рожден был витать в облаках, он

не выдержал бы и года жизни в опале, но он и здесь повел себя как истый «человек земли».

«Когда я сегодня встречаюсь с какими-то людьми и мы беседуем по текущим вопросам, то часто меня спрашивают, чем я занимаюсь? Отвечаю, что летом заполняю вакуум, в котором сейчас нахожусь после бурной политической жизни, работой на природе. «И что вы сеете?» — спрашивают. «Патиссоны». — «А что это такое?» Поясняю. Начинается аханье. Люди не слышали о тарельчатых тыквах. «Да разве они у нас растут?» — «Верно, — говорю я, — и сам только в третий раз буду их сеять, а прежде не знал, что они могут произрастать в Московской области. Вот уже два года взращиваю их и имею прекрасный деликатес к столу. В подмосковных условиях они удаются лучше огурцов». — «А что еще вы сеете?» — «Кукурузу». Тут реагируют по-разному, улыбаются, знают, что я заядлый кукурузник. «Да, и она растет в Московской области, но не у всех, у умного растет, у дурака — нет, она не терпит глупого обращения с собой. А тех, кто со знанием дела берется за нее, она обогащает», — заостряю я тему. Единственный бич, с которым мне приходится бороться, — грачи. Эти разбойники полюбили кукурузу, выклеивают зерна, клювами выдергивают всходы, а росток отламывают и бросают».

Именно этот отрывок, в котором сказано гораздо больше, чем написано, заставил меня задуматься. Хрущев говорит, что кукуруза обогащает того, кто найдет к ней подход. Себя он явно не имеет при этом в виду. А как, интересно, он вообще относился к богатству, к деньгам — не как политик, а как человек, в своей частной жизни? Кто бы мог рассказать об этом — не из биографов, исследователей, а из людей, близко соприкасавшихся с этой семьей?

Мне повезло больше, чем я мог рассчитывать. Рада Никитична Аджубей, дочь Никиты Сергеевича, согласилась дать мне интервью.

Рада Никитична родилась в Киеве, незадолго до того, как Хрущев уехал в Москву учиться в Промакадемии. Примерно через год семья последовала за ним. Поселились в общежитии на Покровке, в двух комнатах, находившихся в разных концах коридора. В одной родители с маленькой Радой, в другой — дети Никиты Сергеевича от первого брака вместе с няней. Хрущев пишет в воспоминаниях, что эти жилищные условия казались ему роскошными. Главное — ходить на занятия было близко.

Из рассказа Рады Никитичны я сделал два важнейших вывода. Во всем, включая денежные дела семьи, между Никитой Сергеевичем и Ниной Петровной царил полное взаимопонимание.

И второе. Стил ь жизни, каким он сложился в их семье в момент ее создания, не менялся потом никогда — ни в дни величия, ни в унижении опалы. Говорила Рада Никитична об отце или употребляла слово «родители» — это определялось какой-то очень тонкой, сугубо интимной работой ее памяти, имелось же в виду всегда одно и то же.

Фамилию Хрущева Нина Петровна стала носить в Донбассе, в поселке Рутченковка, где улицы после дождя так раскисали, что ноги «выходили» из сапог, обувь надо было «подвязывать» особым способом. «Когда я читала лекции в клубе, — читаем в ее записках, — то приходило много женщин. Оказалось, что их интересовала я как жена их приятеля Никитки Хрущева: какую такую он нашел не на руднике, а на стороне...» Потом она стала одной из «кремлевских жен», еще через полтора десятка лет — первой леди Советского государства, дальше — женой бесправного пенсионера, в последние годы — вдовой... Ошеломляющие зигзаги судьбы! А была всегда при этом — самою собой, головокружением не страдала, дом вела твердой, властной рукой. Если считать цельность одной из доминирующих черт в характере Хрущева, жену он выбрал себе под стать.

— Мои родители оба — из крестьянских семей, — рассказывала Рада Никитична. — Про отца вы знаете, мама тоже росла в очень бедном доме, в деревне недалеко от Львова, на Западной Украине. Видимо, она была способной девочкой, каким-то образом ее определили в гимназию. С этой гимназией во время первой мировой войны она была эвакуирована в Одессу, после войны оказалась в России, а все ее родные — в Польше. Когда родители познакомились, мама преподавала, а отец учился на рабфаке.

Крестьянская психология устойчива. Мама, отец — они никогда не говорили о деньгах и не очень их ценили. Но вместе с тем я бы назвала их людьми прижимистыми. Не жадными, нет, но они строго следовали определенному распорядку: нельзя деньги тратить просто так, расходы должны быть разумными и учитываться. Отец получал зарплату, приносил домой и отдавал маме. Расходами ведала она. О том, чтобы собирать, копить деньги, речи никогда не было. Развлечения, семейные праздники? Что касается отца, он никогда об этом не думал. Это было в мамином ведении.

Конечно, было, как сейчас можно говорить, множество льгот. Бесплатный особняк, дача, которая обслуживалась за государственный счет, — уборщицы, повара.

— А правда, что даже на мебели в этом особняке были железные инвентарные бирки?

— Да, это тоже было государственное имущество. Время от времени приходили люди, все это осматривали, делали пометки в grossбухах: все ли на месте? Личного имущества у родителей не было вообще. Когда отца в одну секунду отправили в отставку, оказалось, что у него ничего нет. Он вообще не знал, что с ним будет, достаточно долгое время... Посадят в тюрьму? Дадут пенсию? Какую? Смогут ли они на нее жить? И где будут жить? У него не было в Москве квартиры.

При мне он сказал маме: «Слушай, а сколько у тебя денег? Хоть какие-то деньги на книжке есть?» — «Да, книжка есть», — ответила мама. Какая-то там была мизерная сумма, сейчас точно не помню какая, а может быть, и не знала — я же сказала, что говорить о деньгах в семье было не принято. Эти деньги мгновенно разошлись. Пенсия была назначена — 400 рублей, но они не бедствовали. Мама была человеком очень строгим. Ничего тратить зря не разрешала. Она совсем не была жадной, но не позволяла деньгам расходиться впустую.

Такой она была всегда. Недавно я где-то прочитала: жили, как цари, заказывали на кухне что душе угодно. Совсем не так это было! Была положена определенная сумма, сверх зарплаты. На эту сумму мама могла раз во столько-то дней делать заказы. Потом ей подавали счет, и она с ним сверяла дальнейшие траты: что-то дописывала, что-то вычеркивала. Она всегда так вела хозяйство — очень продуманно, очень педантично. Ничего лишнего!

Я думаю, это было нормально в то время, не только для моих родителей, а и вообще. В Москве в те времена существовала мастерская для очень узкого круга людей, самой-самой «верхушки». Там можно было бесплатно заказать все: платья, шубы, само собой шинели. Жена Микояна, например, одевала там своих детей и многочисленных невесток. Но сам Микоян всегда следил: кто идет в мастерскую, что хочет там приобрести? Ни о чем лишнем, о каких-нибудь там норковых шубах, не могло быть и речи! А мама моя — та вообще в эту мастерскую почти не ездила.

— У нее внутри как бы работал счетчик? — уточнил я. — Какие-то бесплатные блага она принимала спокойно, они были вашей семье положены, а того, что ей казалось чрезмерным, она не хотела?

— Отец был точно таким же. Я очень хорошо помню, как к нему пришел дачный комендант — естественно, это была государственная дача — и сказал, что пора делать ремонт и обновлять

мебель. Отец посмотрел смету и больше чем наполовину ее зарубил. Зачем? И так все прекрасно! Ну, покрасить там, отциклевать пол — еще куда ни шло. А с мебелью нечего мудрить. Зачем? И эта хороша!

Так же, помню, относился и к кагэбэшникам, которые должны были обеспечивать его охрану. Кстати, он всегда своего водителя, который его возил года, наверное, с 35-го, прошел весь фронт, — всегда его просил: «Александр Георгиевич, куда мы спешим? Мы едем на дачу, вот давайте и будем держать нормальную скорость, как едут все машины. И зачем это за мной едет один хвост, другой?» Его возмущала ненужность этих штатов, этих трат. Когда по трассе проезжала его машина, кагэбэшники в кусты прятались. Чтобы их не увидели и, не дай Бог, не сократили. Может, это было смешно, но ведь и во всех странах нормальных следят, чтобы деньги тратились рационально. Я сейчас смотрю на роскошную отделку отреставрированного Кремля, президентских покоев... Просто так, чтобы было красиво! Отец никогда бы этого никому не позволил, в том числе и себе. Он вышел из достаточно аскетичной среды и сохранил в себе это. Человек он был бережливый, но к деньгам — равнодушный. Вот так, одновременно.

И хозяйство в стране — может быть, это примитивно, наивно — он пытался вести так же.

Напоследок я спросил: как сейчас, столько лет спустя, оценивает дочь Никиты Хрущева перспективы, которые открылись бы перед страной, если бы ее отец не был отстранен от власти?

— Я думаю, свою программу — она, безусловно, у него была, он вовсе не действовал так спонтанно, как это часто изображают, — он исчерпал. Он уже не видел, что дальше. Шла пробуксовка. Так, как он все себе представлял, — не получалось, а радикальных новых идей не было. Подспудно он все время думал о том, как ограничить власть — с одной стороны, партийную, с другой — чиновничью. Тогда — я честно скажу, хоть это прозвучит наивно, — и мне казалось: вот придут новые люди, и это будет новый толчок в развитии... А получилось — все на сто процентов наоборот. Пьер Сэлинджер, пресс-секретарь Белого дома во времена президентства Кеннеди, наш с мужем приятель, высказал свое ощущение. Если бы Кеннеди не убили, если бы Хрущева не отстранили — мир бы пошел по другому пути. Я часто вспоминаю эти слова...

Правда ли, что в скромности материальных притязаний,ходящих до аскетизма, Хрущев был всего лишь сыном своего времени? Скромность вождей революции — одна из излюблен-

ных тем пропаганды, пронзавшая простодушные сердца, как сам Хрущев был в свое время сражен наповал сталинским вниманием к уличным туалетам. Такой человек — а в своей отцовской заботе о людях не гнушается подобной бытовой шелухой! Такие люди — а не позволяют себе ни лишнего куска, ни лишних, сверх самого необходимого, удобств! Свергнутая власть укрепляла свой имидж фантастической роскошью. Новая, пролетарская власть по элементарным законам психологии обречена была работать на контрасте. Партмаксимум, «зарплата руководителей страны не должна быть выше зарплаты среднего рабочего»... Этические нормы тесно переплетались с официально установленными.

Эдвард Радзинский, с книгой-исследованием которого я сваялся, приводит письма жены Сталина Надежды Аллилуевой мужу. «Иосиф, пришли мне, если можешь, рублей 50, мне выдадут деньги только 15 октября в Промакадемии, сейчас я сижу без копейки»; «Сегодня утром нужно было в Промакадемию к 9 часам, конечно, вышла в 8.30. И что же — испортился трамвай. Стала ждать автобуса — нет его! Тогда я решила, чтобы не опоздать, сесть на такси... Отъехав саженной сто, машина остановилась. У нее тоже что-то испортилось. Все это ужасно меня рассмешило. В конце концов в Академии я ждала два часа начала экзамена...» Такими были нравы, когда Сталин приблизил к себе Хрущева, и я думаю, что Никита Сергеевич принял их, даже не заметив, как должное.

Последние годы жизни Брежнева, когда все знали о его любви к дорогим подаркам, о том, что его жена скупает драгоценности, а сам он собирает коллекцию дорогих автомобилей и это «хобби» разделяет вся партийная вертикаль, я от многих слышал: да, Сталин был диктатор и кровопийца, но он жил скромно и своих приближенных принуждал к тому же. Действительно, Сталин был равнодушен к деньгам и ко всему, что на них покупается. Зачем ему было тешиться символической игрой во власть, которая, если присмотреться, стоит за влечением к деньгам, когда все его помыслы были прикованы к реальной, абсолютной, не знающей никаких ограничений власти? В молодости, когда он был террористом-экспроприатором, через его руки проходили гигантские суммы — но все они предназначались Ленину, партии, к его рукам не прилипало ни копейки, притом что он был нищим. Он похоронил первую жену — она заболела, а в доме не было денег на лечение, он пережил эту утрату как величайшую трагедию. Так же рассказывает об отце Светлана Аллилуева. При огромном внимании к мельчайшим штрихам быта о деньгах она не упоминает. В их доме денег как бы не существовало.



Но так было не всегда. С начала 30-х годов Сталин отменил суровый аскетизм первого десятилетия революции. Радзинский цитирует известного деятеля Коминтерна академика Е. Варгу: «Под Москвой на огромных участках земли возводятся роскошные правительственные дачи со штатом охраны. На них трудятся садовники, повара, горничные, специальные врачи, медсестры — всего до полусотни человек прислуги — и все это за счет государства. Персональные спецпоезда, персональные самолеты, персональные яхты, множество автомобилей, обслуживающих руководителей и членов их семей. Они практически бесплатно получают все продукты питания и предметы потребления. Для обеспечения такого уровня жизни в Америке нужно быть мультимиллионером».

Но мультимиллионер — собственник, а советские вожди и в этом смысле представляли собой нечто совершенно иное: они были пользователями. Слово «роскошь» в описании академика Варги употреблено совершенно напрасно. Сколько бы ни стоили, в денежном выражении, эти дачи и автомобили, во сколько бы ни обходилось содержание прислуги — никакой игрой символов это не оборачивалось. Просто — удобства, элементы среды, не вызывающие никаких эксклюзивных психологических резонансов. Конкистадоры, впервые попавшие в Вест-Индию, были потрясены при виде того, как небрежно, равнодушно пользуются местные жители золотом. На золоте, в точном смысле слова, едят и пьют, по золоту ходят — и хоть бы что, ноль эмоций!

Из всего, что символизируют деньги, богатство, важнейшее — свобода, расширение границ выбора. И в этом смысле среда обитания высших советских руководителей тоже была в то время мертва. Вслушайтесь, как это звучит: царский дворец. Мы живем в царском дворце. Головокружительно! Но как попадала, например, семья Хрущевых на летний отдых в Ливадию? Звонил Власик, начальник охраны Сталина, и передавал его распоряжение, куда нынче едет семья. Сказать: «Не хотим, у нас другие планы», — категорически исключалось. Летом 1949 года, рассказывает Аджубей, уже бывший в то время мужем Рады, назначено было ехать в Крым. «Во флигеле для свиты отдыхала семья Хрущева, во дворце — Светлана Сталина и ее второй муж Юрий Жданов. Никакого общения между нами не было, семейные знакомства не поощрялись. Мало ли что могло случиться завтра...»

Любопытно, что вожди, точно так же, как и все советские люди, подписывались на заем. Облигации хранили среди самых важных документов, с волнением склонялись над таблицами очередного выигрыша... Ну, может быть, не сами вожди — их жены,

но это дела не меняет. Точь-в-точь как в еврейском анекдоте: «Если бы я был царем, я жил бы лучше, чем царь, — я бы еще немножечко шил».

В один прекрасный день (это тоже из рассказов Аджубея) жена Булганина, возглавлявшего в первые хрущевские годы правительство, обнаружила, что самый крупный выигрыш — 100 000 рублей — выпал им! В руках у нее был только перечень номеров, сами облигации хранились в сейфе, в служебном кабинете Булганина. Но когда достали всю пачку и стали перебирать в поисках счастливого номера, его как раз не оказалось. Скандал!

«Булганин тут же позвонил Хрущеву и рассказал о странной пропаже, — читаем у Аджубея. — Никита Сергеевич порекомендовал сообщить по всем сберегательным кассам, чтобы задержали предъявителя. Через несколько дней в сберкассах на улице Горького явилась женщина. Ее поздравили с выигрышем, сказали, что день-два уйдет на экспертизу, как положено, а затем ей выплатят деньги. Назначили срок, когда прийти. Когда женщина явилась, ее задержали. Она призналась, кто ей дал облигацию, назвала фамилию, имя, отчество человека. Тут же было установлено, что это помощник Маленкова. Но как она попала к нему? Скоро все прояснилось. После ареста Берия Маленкову поручили составить опись всех предметов, хранившихся в многочисленных сейфах. Работа заняла у него не один месяц. Чего только не было в тех сейфах: косметика, отрезки тканей, драгоценности, рулоны картин выдающихся мастеров живописи, конфискованные в свое время у арестованных, оружие. Один из сейфов был туго набит облигациями. Помощник Маленкова признался, что, когда он переписывал час за часом, день за днем тысячи облигаций, его черт попутал. Несколько пачек бериевских, то есть теперь уже как бы ничьих, облигаций он сунул к себе в карман. Одна из них и оказалась выигрышной, но одновременно и дважды уворованной...»

Можно сказать: то — Берия, личность со многими признаками патологии, была среди них, следовательно, и эта, полностью иррациональная алчность. Но я все же думаю несколько по-иному. Берия выделяется главным образом тем, что его сейфы были подвергнуты ревизии. Другие имели лучшую возможность до конца сохранить свои тайны. Но к Хрущеву, я почему-то уверен, это не относится.

В исполненных яда записках Шепилова подробно описывается, как работал Хрущев над своими докладами. Он вызывал стенографистку и наговаривал ей куски, которые считал самыми важными. Говорил сбивчиво, многословно, но всегда требовал, чтобы эти места вставляли в текст. Шепилова выводила из себя

эта манера. Есть аппарат, есть целая армия консультантов, они эту работу выполняют профессионально. Как поступал Брежнев? Ему вручали готовый текст, он его зачитывал с трибуны и, к слову сказать, за работу над докладом получал деньги особо. И все были довольны.

Но что поделать? У этих двух людей ведь и цели были противоположные. Брежнев стремился к одному — сохранить все в неизменности, законсервировать систему. Хрущева же сжигало страстное желание ее изменить, очеловечить. Ему постоянно мерещился тот самый, последний поворот, за которым распадется сказочный мир всеобщего счастья (непреренно всеобщего, иное его не устраивало). Сколько раз, догадываюсь я, ему казалось, что он все понял, придумал, как достичь этой заветной черты, как ее перешагнуть!

Никита Сергеевич Хрущев был настоящим коммунистом, последним представителем этого племени, изведенного Сталиным под корень. Он был тем самым новым человеком, рождение которого провозвестил коммунистический миф, — человеком, полностью очищенным от влечения к собственности и абсолютно равнодушным к запаху денег. И только таких людей, как он сам, мог представлять себе впереди, на повороте к счастью.

И даже ему, за всю его веру и муку, миф этот не принес ничего, кроме несчастья.

Но он не ошибался, когда говорил о себе: «Умру я... Положат люди на весы дела мои. На одну чашу дела худые, на другую — добрые... И добро перетянет...»

## СКУЧНЫЕ ЛЮДИ

### Закат

Ничего не могу с собой поделать: писать, даже просто думать о Брежневе мне невероятно скучно. Все понимаю — без него не будет картины, останется необъяснимым и то, что было при нем, и то, что наступило после... Но не за что зацепиться воображению. Пытаюсь нарисовать мысленно его портрет — а через минуту ловлю себя на том, что думаю о чем-то постороннем. Любил жизнь — в примитивном, плотском понимании: вино, охоту, женщин. Говорят, не был злобным, мстительным — или был не более, чем требуется, чтобы сохранить свое положение. Понимал толк в дружбе — но тоже специфической, аппаратной: окружать себя своими, опираться на своих, покровительствовать в расчете на преданность. Ну и что?

Специально перечитал его автобиографические книги. Я

знаю, и никто никогда на этот счет не заблуждался, что они написаны не его рукой, что это даже не литературная запись им рассказанного. Кто-то собрал документы и справки, талантливые журналисты обработали этот материал. Но все равно — он выступал как заказчик, он направлял эту работу, а потом ее принимал. Должен же был, думал я, хотя бы косвенно отразиться в тексте! Каким хотел бы быть. Каким хотел, чтобы его воспринимали. Это ведь тоже ключ к характеру! Даже когда человек заказывает костюм, так и то при виде этого костюма можно догадаться, чем он в себе дорожит, а чего стесняется, что старается подчеркнуть, а что скрыть...

Но в результате такого анализа передо мной предстала фигура, лица не имеющая. Иллюстрированная памятка: как должен действовать и говорить партийный работник в одной, в другой, в третьей ситуации. О своих истинных авторах — хоть и безымянных, старательно прятавших все индивидуальное — эти тексты могут рассказать и то больше, чем о центральном герое.

Если бы не поразительное равнодушие, с каким мы встретили известие о падении Хрущева, первая реакция на нового лидера должна была бы быть если и не резко отрицательной, то хотя бы очень настороженной. Такое лицемерие, такое грандиозное предательство!

Только что пышно праздновался хрущевский юбилей. В ту пору мы уже жили с телевизорами. Редко, очень выборочно, но народу позволялось заглянуть краешком глаза в святая святых — в обители «народной» власти. Все видели, как проходили юбилейные торжества. И все запомнили, что самым любящим, самым преданным выглядел на них Леонид Ильич Брежнев. Он весь сиял, он душил именинника в жарких объятиях, осыпал его поцелуями.

И вот года не прошло — и этот же человек принимает самое активное участие в закулисной интриге, ниспровергает «дорогого Никиту Сергеевича» и занимает его место. Когда такое происходит в их учреждении или институте, люди реагируют очень остро, возмущаются, негодуют. А тут, как я вспоминаю, было больше иронии, чем возмущения. Этот эпизод очень ярко показал, что от иллюзий, связанных с моральным обликом высших инстанций, к тому времени мало что осталось.

Среди прочих грехов Хрущеву инкриминировались попытки создать свой культ. Работая на контрастах, пришедшие к власти держались подчеркнуто скромно и как бы обезличенно: старательно поддерживался имидж «коллективного руководства». Меньше стало речей, на газетных страницах перестали мелькать фотографии, цитаты. «Встречи с народом» почти ушли из ритуала

ла. «Нам не до пустяков — мы занимаемся серьезным делом. Хрущев все завалил, теперь надо наводить порядок». Брежнев не давал себя рассмотреть, его индивидуальность растворялась в абстрактном образе «партии и правительства».

Как единовластный правитель, как лицо, задающее тон эпохе, Брежнев предстал перед нами уже тяжело больным. Он с трудом передвигался, речь была нарушена, все чаще возникало впечатление, что он не до конца понимает, где находится и что его заставляют делать. В этой мертвеей глыбе невозможно было уловить никаких человеческих проявлений: чего он хотел, чему радовался, что вызывало его гнев. Огромная заводная кукла, имитирующая движения и жесты человека и механически воспроизводящая его речь.

Люди, соприкасавшиеся с Брежневым на разных этапах, опубликовали свои воспоминания. С некоторыми из них я встречался, говорил. Итоговое впечатление — поразительной серости, заурядности. Масштаб личности, не предполагающий права руководить людьми — разве только на самых нижних иерархических ступенях. Мне даже трудно поверить, что Ильич Второй в самом деле был таким непревзойденным знатоком тайных пружин власти, мастером аппаратных интриг, как это ему приписывается. Эта иезуитская техника все же предполагает недюжинный интеллект, а я ни в чем, убейте меня, не вижу его отблесков.

Можно ли считать проявлением его воли все, что происходило с нами за эти 20 лет? Можно ли сказать, что это он развернул экономические реформы, а потом спустил их на тормозах, он инициировал процессы разрядки, он начал войну в Афганистане? Мне кажется, нет. Ему лично принадлежала только подпись на документах. Но это не была и персональная воля кого-то другого, стоящего за его спиной. Механизм принятия решений, созданный тоталитарной системой, действовал в автоматическом режиме. Требовался высший авторитет, чтобы освятить каждое из них и придать ему непререкаемость. Брежнев подходил для этой роли не хуже, чем любой другой, даже когда болезнь и старость окончательно его поглотили. Возможно, что и лучше многих. Система, как всякая система, стремилась к своему увековечению — Брежнев, как человек, случайно вспрыгнувший неизмеримо выше своих возможностей, стремился только к тому, чтобы удержаться на этой вершине.

Мир смотрел на нас в глубоком изумлении. В том состоянии, в каком провел последние годы Брежнев, даже домоуправ, даже незаметный, ни за что не отвечающий клерк считался бы категорически нетрудоспособным. Но внешне дипломатические ритуалы исполнялись безукоризненно, и главы государств, обща-

ясь, делали вид, что ничего не замечают. Для них он тоже существовал не как личность, а как символ — воплощение стареющей, как он, и, как он, деградирующей системы.

Что значили для Брежнева слова: коммунизм, коммунистический?

Полагаю — ровным счетом ничего. Как личность, он не был затронут мифом и ничего не вкладывал в него от себя. Он принял как данность, что его роль требует произнесения определенных слов, что есть традиции, которые необходимо исполнять, что его власть, кроме армии и КГБ, должна быть подержана и мощным идеологическим аппаратом. Он знал — но и тут больше опираясь на заведенный порядок, чем испытывая искреннюю оскорбленность верующего, — что любая атака на «основы» крайне опасна и должна быть жестко подавлена. Свое предназначение — Верховного Бога — он в этом смысле исполнял вполне добросовестно, но абсолютно формально. Мне кажется, для мифа это имело роковые последствия.

Как и все, что происходило в брежневскую эпоху, его судьба распадается на два не равных по времени отрезка.

Первые несколько лет были очень динамичны. Миф еще не оправился после разгрома «культа», но в нем было слишком много жизненных сил — он внутренне перестраивался, приспособлялся к изменившейся ситуации. Тяжелейший удар стал для него импульсом к развитию. Общество готовилось к реформе, самой крупной со времени нэпа, необычайно активизировалась научная мысль, да и весь народ, на пороге обещанных перемен, стал задавать себе еретические вопросы: а что мы, собственно, строим и так ли строим, как следовало бы? Все это реформаторство ни на шаг не выходило за рамки догм, но в их черте не осталось ни одной постройкой, которая не была бы критически осмотрена со всех сторон и не предназначена либо на снос, либо на полную реконструкцию. Стала прорисовываться принципиально новая концепция — чехи ее называли «социализм с человеческим лицом», — подразумевавшая степень политической и экономической свободы, немыслимую не только при Сталине, но и при Хрущеве. Миф на удивление легко и динамично вбирал в себя эти новые представления. Людей охватывала вера, что именно во имя такого коммунизма была совершена революция, именно этим путем завещал нам идти Ленин.

Навсегда осталось загадкой: были ли эти планы заведомо неисполнимы? Сейчас мы в этом твердо убеждены. Неудача пере-

стройки, предпринятой Горбачевым, привел всех к выводу — система нереформируема, партия нереформируема. Ведь пробовали же, и что вышло? Однако при этом забывается, как мало общего у нас теперешних и нас тогдашних. Неудача нынешнего опыта не может служить прямым доказательством, что он был обречен и 25 лет назад.

Главное, что несли с собой новые программы, — это была попытка включить задушенные Сталиным механизмы саморазвития. В жизнь вступало поколение, родившееся после Сталина, не отравленное страхом, более реалистичное, более гибкое психологически. Я не берусь оценивать планы политических и экономических преобразований — их проработанность, их осуществимость. Но психологически готовность к движению была, за это я ручаюсь, и движение могло начаться. Едва ли — к той, «конечной цели», к которой был привязан миф. Его утопизм, как и сомнительность самих представлений о том, что развитие общества может иметь конечную цель, становились бы, надо думать, все более очевидными. Но сознание, не засоренное догмами, корректировало бы эти взгляды.

Сравнивая миф образца конца сороковых и конца шестидесятых, мы видим, что и он обладал достаточной пластичностью. Можно предположить, что и он мог бы плавно эволюционировать, впитывая появляющиеся жизненные реалии, как эволюционировал, к примеру, христианский миф от времени инквизиции к нынешнему своему состоянию, делающему его способным гармонично сопрягаться с современным развитием науки, со всей европейской цивилизацией.

Этот упущенный, неиспытанный шанс, я полагаю, долго еще будет сидеть занозой в массовом сознании, вызывая брожение умов.

Переломным моментом стал разгром «Пражской весны». Чехословацкая, наиболее продвинутая и последовательная модель реформ погибла под гусеницами танков. Внутри же страны видимость неизменности «курса на преобразования» сохранялась еще очень долго. Мне даже трудно вспомнить сейчас, когда именно прозвучало в последний раз слово «реформа». Да и никто, я думаю, этого не заметил, поскольку никакого реального содержания оно давно уже в себе не несло.

С этого времени начался распад мифа.

Брежневское руководство делало все, что считало необходимым для его поддержания. По-прежнему трудились многочисленные научные коллективы — теоретики научного коммунизма,

философы, историки, политэкономы. Да и вообще любое научное направление, не только в обществоведении, чтобы успешно развиваться, должно было доказать свою прямую коммунистическую направленность. (Помню выступление ортопеда, рассуждавшего о «двигательном аппарате советского человека».) Вся система образования — от яслей до аспирантуры — была нацелена на формирование коммунистической убежденности. Идейность оставалась главным критерием искусства. Любое событие, любой факт трактовались в печати и в системе политического просвещения с обязательной опорой на многочисленные мифологемы.

Культ Ленина, никогда у нас не ослабевавший, при Брежневе приобрел фантасмагорический размах и монументальность. В 1970-м, когда отмечался столетний ленинский юбилей, страна в течение целого года жила как бы в присутствии покойного вождя и общение с ним с помощью средств массовой информации, искусства и бесчисленных политических мероприятий значительно потеснило весь остальной спектр общественных интересов. Из многочисленных титулов, которыми величали Брежнева, самым употребительным и самым, по-видимому, приятным для него был титул «верного ленинца». Престарелому генсеку льстило даже совпадение отчества...

Кроме верности традиции, свойственной человеку с таким гипертрофированным стремлением к стабильности, я вижу за этим и более глубокие личные мотивы. В отличие от народа, быстро утратившего всякий интерес к особе свергнутого Хрущева, его преемник никогда не забывал о совершенном предательстве — отцеубийстве, выражаясь языком психоанализа. Не представлявший никакой реальной опасности Хрущев продолжал внушать ему сильнейший бессознательный страх. Призывая тень Ленина, Брежнев как бы надеялся, что бессмертный вождь выступит высшим арбитром в этом конфликте, подтвердит, что Хрущев, совершивший множество прегрешений, заслужил свою позорную судьбу, Леонид Ильич же был и во всем остается прав. Не исключая также, что, не поднимаясь до уровня отчетливо сформулированной мысли, в душе Брежнева таилось ожидание предстоящей встречи — там, за порогом жизни, и он заранее, с присущим ему угодничеством (вспомним еще раз, как стелился он перед Хрущевым), старался расположить Ленина к себе.

Были сделаны и серьезные попытки реанимировать культ Сталина: в пику тому же «Никите», для подавления ненавистного критикантского духа, для придания еще большей монолитности власти. Не удивился бы, узнав, что там, наверху, прокручивались и планы возрождения сталинского террора.



Но все эти усилия привели к укреплению одних лишь только внешних оболочек мифа. Внутри же он все больше выхолащивался, и это несоответствие было, пожалуй, самым для него губительным.

Если говорить о массовом сознании, это не было прозрением, освобождением от мифа. Но люди дистанцировались от него, он с каждым годом терял для них актуальность. Его заслоняли иные заботы и переживания — личные прежде всего, а если и связанные с делами общества, то тоже более предметные, конкретные. Вера не вытеснялась знанием — она просто тихо умирала, причиняя одним тяжкие душевные страдания, а у других заменяясь бесплодным, разлагающим душу цинизмом.

Общественное сознание стало раздробленным, внутренне конфликтным. Стержень противоречий составляло различное отношение к мифологическим ценностям. Молодежь резко отказывалась от старших. По другим же социальным признакам я бы затруднился выделить определенные группы — кризис веры затрагивал более глубинные структуры личности, чем те, что формируются под влиянием места жительства, образования, профессиональных занятий. Самым тяжелым и невыгодным для мифа было то, что полюс неверия и цинизма во многом совпадал с верхушкой социальной пирамиды, и духовная пустота тех, кто был облечен авторитетом и властью, становилась очевидной для всех.

Помимо этого, и сам миф уже не воспринимался как нечто цельное. Его отдельные составляющие были подвержены коррозии в разной степени. Самые грубые деформации произошли в том, что касалось партии коммунистов, взаимоотношений человека и власти. Представление о партии как об уме, чести и совести общества делалось все более и более эфемерным. Так же быстро распадалась вера в то, что «родная власть» заботится о человеке и выше всего ставит его интересы. Вступление в партию утратило всякий флер высокого духовного акта, стало делом расчета и поиска конкретной выгоды. Сохранявшийся же в неизменности ритуал приема лишь сильнее это подчеркивал. И в то же время, когда люди, возмущенные чем-то, восклицали: «И это — коммунист?» или «Да куда же смотрит советская власть?» — это не обязательно было циничной демагогией.

Наиболее стойкими оказались те мифологические построения, которые соотносились с местом, ролью, значением нашего общества в истории и в мире. Великая страна. Великий народ. За это массовое сознание держалось буквально зубами. Критика, затрагивающая идею величия, воспринималась очень болезнен-

но. Беспрецедентная борьба, которую в одиночку вел с режимом А. Сахаров, не получила массовой поддержки не столько в силу общей оболваненности и страха, сколько потому, что его позиция унижала этот царивший в воображении великий образ.

Кризис веры сказывался и в том, что она все больше отделялась от мотивов, управляющих поведением. Равнодушие к труду, повальное пьянство стали наиболее зримым проявлением этого. Власть с тупым упорством пыталась заделать этот зияющий разрыв заплатами из грубой лжи, фальши и пустых, ничего уже не выражающих слов. Но на духовную сущность человека это действовало только еще более разрушительно.

И все-таки тоска по вере, омертвевшей на глазах, заметно перевешивала стремление сознания освободиться от оков. Я помню резонанс, вызванный спектаклем «Так победим!» М. Шатрова во МХАТе — с эпически мощным, трагическим образом Ленина. Обессиленный, смертельно больной Ленин предстал в борьбе со своим недалеким, эгоистичным, самодовольным окружением, в ухватках которого угадывались прямые намеки на сегодняшнюю, последний авторитет теряющую власть. Предатели Ленина! На этот спектакль люди шли как в храм, за причастием. Им казалось, что ими движет жажда правды. На самом же деле гораздо сильнее томила жгучая потребность хоть на миг вернуть веру.

Недостаточно жизнеспособный, чтобы жить и развиваться, но и слишком сильный, чтобы отойти в вечность, — в таком состоянии встретил наш Великий Миф начало перестройки.

### **Агония системы**

Раздвоенность — то, что Оруэлл называл двоемыслием, — от самых корней была присуща нашему массовому сознанию. В брежневский период двоемыслие вступило в особую фазу. Правильнее всего было бы назвать ее имитаторской.

Главный импульс шел сверху — от власти. Ее сверхзадача — сохранить все в неприкосновенности, не допустить перемен — прикрывалась имитацией бурной деятельности. Разрабатывались программы, принимались постановления, проводились какие-то эксперименты. Перед каждым таким шагом имитировался всплеск общественной активности: власть «советовалась с народом». «Волонтерист Хрущев принимал свои решения в одиночку — а мы не начинаем действовать, пока не услышим мнения буквально каждого человека».

Имитировалась грандиозность, сверхмонументальность «дел

и свершений»; самым масштабным по объему поглощенных ресурсов был БАМ.

Имитировалась забота о человеке. Бюрократия, занятая исключительно собственными интересами, ревностно соблюдала ритуал обхождения с заявителями и жалобщиками. Ни одно обращение или письмо не должно было оставаться без ответа.

Как это и свойственно имитации, все было шито белыми нитками. Но народ с готовностью включался в игру. Он тоже вносил свой вклад в общую фантазмагорию притворства и очковтирательства.

Появилась особая разновидность мнимой активности — обозначение деятельности. Родилась особая категория людей, сильно в этом преуспевших. Полное сохранение формы — при отсутствии реального дела. Обсуждения, дискуссии превращались в парад пустословия. Праздность имела вид неутомимой суеты. В науке, в производстве можно было подняться, ничего не делая реально — за счет умения создавать видимость. При этом человек, в действительности хотевший заниматься делом, вызывал не только удивление, но и неприязнь. Хорошо помню, как была у нас приостановлена карьера прекрасного специалиста с единственным резонансом: слишком инициативен.

Ложь перестала искать тонких, изощренных способов маскировки — ей хватало самого легкого прикрытия. Человек вступает в партию, чтобы продвинуться на более высокий пост? Ну, естественно, а как же иначе, все так делают. Пусть только напишет какие положено слова в заявлении.

Поведение людей становилось все более иррациональным. Это была единственная возможность уравновесить иррациональность, идущую сверху в виде законов, распоряжений, правил. Усилия мозга направлялись не на то, как их выполнить, а на то, как их обойти.

Успехи, которых в действительности было немного, возмещались пышными торжествами по случаю начал и окончаний, нескончаемым дождем наград. Люди, вслух смеявшиеся над генсеком и его фарсовой страстью к орденам и знакам отличия, тем не менее испытывали такое же ребяческое удовольствие, когда непонятно за что награждали их самих. Не находя себя в списках, приходили в отчаяние. Исчезла всяческая шепетильность. Открыто домогаться награды или премии стало в порядке вещей.

Говоря языком психоанализа, стремительно разрушалось Сверх-Я, вышший эшелон человеческой психики. Тотальная, всеохватная ложь развела совесть, мораль, нравственность. Исчезла брезгливость к подлости, к низкому поступку: «Всем хочется

жить...» Воровство, коррупция процветали у всех на глазах. Начинали складываться крупные мафиозные кланы.

Человеческое Я уходило в глубокую защиту. Это позволяло верхушке общества беззастенчиво манипулировать массовым сознанием. Цензура жестко контролировала информацию о войне в Афганистане, но зачем были нужны газетные заметки, когда в таком количестве поступали цинковые гробы? Однако народ бессловесно принял наложенное высшим руководством табу. Отрицание — один из самых мощных видов психологической защиты — позволяло сознанию не воспринимать очевидного. Это облегчало жизнь, но это же и делало нас рабами системы, даже в период ее нарастающей немощи.

Вряд ли во всей стране хоть один человек идентифицировал себя с личностью Брежнева. Его не уважали, над ним открыто смеялись. Никто не заблуждался насчет того, что вокруг творятся величайшие безобразия и он в них прямо или косвенно повинен. Особый подъем духа происходил в минуты, когда за чтением, за просмотром спектакля или в дружеском разговоре можно было услышать и самому высказать острое критическое замечание в адрес власти. По рукам ходили запрещенные или изначально предназначавшиеся для «самиздата» книги.

Увы — это тоже была имитация свободы мысли, гражданского протеста. Кипение праведных чувств не мешало очень точно видеть границы, в которых проявлять их было безопасно. За исключением сравнительно немногочисленной группы людей — правозащитников, диссидентов, — никто не хотел нарываться на неприятности.

Агония мифа стала предвестником распада системы. Как бы мы ни старались подчеркнуть свое неприятие брежневской системы — все были ее неотделимой частью и всем неотвратимо предстояло разделить ее судьбу.

Период между снятием Хрущева и разгромом «Пражской весны» был очень короток — даже по меркам одной человеческой жизни. Но это был единственный отрезок времени, когда в общественном сознании проявлялись черты зрелости. Общество значительно продвинулось в самопознании, стало более реалистичным в представлении о целях, шло накопление созидательных сил. Если бы процесс окончательного взросления не был искусственно прерван и мог идти своим ходом, продлился бы он, я думаю, долго. После всех деформаций нашего детства и запоздавшей, тоже во многом неестественной юности требовался срок, чтобы изжить черты инфантилизма, юношеской наивности, — так, как это бывает в психическом развитии личности. Но такой

срок нам дан не был. В зените общество пробыло недолго, и сама его зрелость оказалась неполной, редуцированной — настолько, что порой меня охватывает сомнение: да была ли она в самом деле, зрелость?

И сразу общество вступило в этап стремительного постарения.

Это было заметно даже зрительно. Вожди на огромных портретах — главное украшение праздничных городов — выглядели молодцевато, но все знали, что такими они были много лет назад. Когда мысли сосредоточивались на этом, становилось страшно. Собирище глубоких, впадающих в маразм старцев, цепко держащих в судорожно сжатых пальцах огромную страну.

Сверху вниз — весь естественный ритм смены поколений оказался грубо нарушен. Предложение уйти на покой, освободив место, стало звучать величайшей бестактностью, в нем слышался политический намек. В начальственных креслах повсеместно сидели люди, которым, по объективным данным, давно бы следовало разводиться на даче клубнику, и они «запирали» всю кадровую цепочку. Исказились все представления о возрастах. Сорокалетние считались молодыми: младшими научными сотрудниками, начинающими писателями, инженерами, конструкторами. Способные люди занимали должности, в которых не могли проявить себя. Энергия гасла, не находя применения, идеи умирали невоплощенными. Застой, о котором говорят сейчас как о явлении экономическом, был прежде всего патологическим застоєм кадров, старческим затуханием жизненных процессов.

Старость не любит мыслей о будущем. Они сразу включают для нее поток тягостных ассоциаций, страхов, предчувствие близкой смерти. При Сталине сегодняшний день приносился в жертву завтрашнему. При Хрущеве настрой на будущее сохранялся, принимая форму безудержных фантазий. В брежневскую эпоху появился обратный крен: общество перестало заглядывать вперед. Назвав свое состояние «развитым социализмом», на нем и остановилось. Даже разговоры о коммунизме — цели по-прежнему прекрасной, но очевидно далекой — стали реже и тише.

Старость обидчива. Сознывая свою немощь, способность совершать бесчисленные промахи, она особенно болезненно реагирует на замечания. И у нас сложились целые «зоны вне критики». Только хорошее можно было говорить о милиции и об армии, о республиках и областях, где сидели могущественные руководители. Сам тон хвалебных спичей напоминал наивное старческое бахвальство.

На закате жизни меняется ключевое для психики соотношение между принципами удовольствия и реальности. Реализм сла-

беет, желание побаловать себя выходит на первый план. Трудно при нашей бедности всерьез говорить о погоне за удовольствиями, но контраст с прежним нашим аскетизмом был разительным. Еда, бытовой комфорт, страсть к всевозможным побрякушкам приобрели огромное, самодовлеющее значение. Элита и тут задавала тон. Скромность и неприхотливость — основа канонического ленинского образа — перестали считаться обязательными для руководителей, для коммунистов. «Белые люди» дразнили обывателя роскошью служебных зданий и специально, по особым проектам, строившихся для них домов. При этом со старческим же своеобразным эгоизмом проедалось не столько свое, сколько чужое богатство — природные ресурсы, по праву принадлежащие потомкам.

С приближением конца в человеческой психике усиливается инстинкт смерти — Танатос, описанный Фрейдом. Очевидно, этот феномен может быть уловлен и в массовом сознании — в катастрофическом нарастании деструктивного, саморазрушительного начала. В том, что мы называем бесхозяйственностью и за чем на самом деле стоит глубочайшее психологическое нарушение: равнодушное, даже издевательское отношение человека к плодам собственного труда. В садистическом надругательстве над природой. В упадке культуры — в том глобальном смысле, которым наделял это понятие Фрейд: как единственной силы, способной держать в узде темные инстинкты и низменные побуждения, что делает возможным само наше существование.

Набрасывая этот портрет, я старался найти в памяти светлые контрасты — ведь в старческом возрасте, кроме немощей и уродств, появляется, бывает, и спокойная мудрость, благородная отрешенность от всего мелкого и суетного, понимание жизни и людей. Но таких аналогий не возникало. Складывающаяся перед моим мысленным взором картина последовательно воспроизводила облик не просто увядания и затухания биологических и психических процессов, но и патологической, лишенной духовного света дряхлости, которая венчает тоже далекий от нормы, отягченный органическими нарушениями жизненный путь.

Особенно много совпадений я нашел, сравнивая старческие феномены в массовом сознании эпохи Брежнева со старостью евнухоидов, хорошо мне знакомой благодаря клинической практике.

Евнухоидами в медицине называют людей с врожденными, то есть полученными еще во внутриутробном развитии, нарушениями в системе нейроэндокринной регуляции. Все, что биологически определяет специфику пола, у такого человека «на

месте», но не функционирует посредник между психическими и гормональными центрами. Пишу об этом лишь для того, чтобы объяснить слово, не всем, возможно, известное.

Для психического развития евнухоидов характерно такое же смещение этапов жизненного пути, какое мы наблюдаем и в истории советского общества.

Затянувшееся во времени, тяжело протекающее детство — с особой, утрированной несамостоятельностью, зависимостью от родителей, внушаемостью. Люди нормальные даже детьми редко бывают так покорны, так безропотно принимают все установления, идущие от старших, имеющих власть. Уже в детстве у евнухоидов обычно формируется стойкий комплекс неполноценности. Они подмечают все, в чем сверстники сильнее их, но, смертельно им завидуя, избегают в этом признаваться. Любое напоминание о собственной несостоятельности крайне болезненно их задевает, в виде реакции они выдают демонстративно-истерические вспышки.

С запозданием наступает, наконец, пора юности, с ее полетом, стремлением чего-то достичь. Но желание вырваться из привычного круга не может пересилить еще более стойкую боязнь нарушить привычный ход вещей, отойти от того, что уже апробировано. Как правило, кто-то — мать, возможно, врач — становится для евнухоида абсолютным авторитетом, которому он верит свою судьбу. Ощущение неудовлетворенности жизнью — ведь у всех, кого он видит, она складывается интереснее и лучше! — он компенсирует безудержным бахвальством, рассказами о несуществующих успехах, в которые он сам начинает верить. Казаться, производить впечатление для евнухоидов важнее, чем быть: они особо дорожат внешними атрибутами положения, должности — формой, значком, визитной карточкой.

Но главный их феномен — это короткий и тоже по-своему деформированный период зрелости. Старость наступает стремительно, обвалом, в годы, когда обычные люди переживают пору расцвета. Резко меняется облик, подступают болезни, неполноценность становится разительной, очевидной. Но чем заметнее эти изменения, тем меньше способен евнухоид к трезвой самооценке. Мощно развитые системы вытеснения и отрицания делают его психически неадекватным. У него все в порядке, если же нет — в этом непременно кто-то виноват. Нередко появляется склонность к сутяжничеству с элементами величия — кажется, что все его обманывают, обкрадывают, незаслуженно унижают, в суде или в «высших инстанциях» евнухоид ищет силу, которая восстановит справедливость и вернет ему все, принадлежавшее по праву. При этом — если знать и учитывать в общении их пси-

хические особенности — нет более легких, управляемых больных. Достаточно поддерживать их притязания, без спора выслушивать порой совершенно неправдоподобные, в духе барона Мюнхгаузена рассказы, и пациент с готовностью подчинится воле врача.

Быстрое постарение сопровождается еще одним любопытным феноменом. Если в более ранних периодах можно, применяя препараты, как-то восполнить дефект организма, уменьшить его травмирующее влияние на весь ход жизни, то в этой стадии лекарства перестают действовать.

Изъяны старческой психики у евнухоидов проявляются особенно резко. Многие из них становятся злобными, нетерпимыми, конфликтными. Я наблюдал немало случаев, когда у таких людей развивалась гипертрофированная скупость, при том, что по отношению к не принадлежащему им лично они проявляли такое же непомерное расточительство.

Так завершают свой жизненный путь эти несчастные, обделенные природой люди, не получающие настоящих радостей от жизни и не способные подарить их другим...

Случайно или нет таким похожим на их ущербную, уродливую старость оказалось духовное состояние системы перед ее закатом? Полной аналогии, естественно, быть не может, но общую закономерность, объединяющую оба феномена, я вижу в скомканности, неполноценности периода зрелости. Вершина жизни, пора максимального расцвета, раскрытия, реализации — говорим мы о человеке или об обществе, именно это золотое время определяет их истинное значение, именно оно в полной мере позволяет ощутить вкус бытия. В нормально сложившейся судьбе это и самый длительный период. Полнота самораскрытия дает силы долго сопротивляться подступающей старости, сохранять и в начавшем увядать теле высокую энергию духа. Если же период зрелости оказывается не развернутым во времени, в достойных ее действиях и переживаниях, неоткуда взяться таким силам. И старость являет себя как антипод активной, здоровой жизнедеятельности.

Неподвижность, маразм, распад... Еле передвигающий ноги вождь, с нечленораздельной речью и затухающим сознанием, увешанный таким количеством незаслуженных наград, что их можно было бы оценивать по весу, становился символом, живым воплощением доживающей системы.

Возникает вопрос: в чем причина упадка, какими механизмами обусловлено это губительное снижение динамизма во всех общественных сферах?



Советское общество должно было погибнуть уже в силу того, что оно однажды родилось, — сам цикл развития, напрашивающийся на уподобление биологическому циклу человека, несет в себе фатальную неизбежность конца. На этом, кстати, строились и исторически-философские концепции марксизма, так что представления о «вечном блаженстве» в царстве коммунизма противоречат духу и букве Марксова учения.

Проблема в другом: почему так коротки оказались назначенные судьбой сроки? Почему так сместились, одна относительно другой, все фазы развития? И почему, самое главное, таким мимолетным, еле намеченным оказался период зрелости — золотой период вершинного раскрытия возможностей, максимальной отдачи?

Когда я задумываюсь над этим, в памяти встает картина, созданная малоизвестным, но очень талантливым художником, наделенным, помимо прочего, богатым даром интуиции. На картине изображен величественный, невыразимо прекрасный, но рухнувший храм. И хорошо видно, почему произошла эта катастрофа: один-единственный кирпичик в фундаменте был положен неверно. Этот перекокс воспроизвели все элементы выросавшей над фундаментом конструкции, и великолепное здание в конце концов развалилось. Автор дал своему полотну название — «Ошибка архитектора».

Мне представляется, что такого рода ошибка была допущена архитекторами нашей системы — и именно ею была запрограммирована вся ее судьба.

Этим единственным камушком, сыгравшим такую роковую роль, было ложное, основанное на глубочайшем незнании и ни на чем не основанных иллюзиях представление о человеческой душе.

## **ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ**

### **Первый и последний**

С того дня, как я увидел на экране телевизора трагическое, потрясенное, вмиг утратившее привычную защитную маску лицо Михаила Горбачева, возвращенного из Фороса, политический смысл пережитых страной событий отступил для меня перед глубочайшей, шекспировского масштаба человеческой драмой, разывравшейся на наших глазах.

Как могло свершиться предательство? Для тех, кто привык задумываться над внутренними, потаенными пружинами поведе-

ния, — это не менее важный вопрос, чем почему, с какой целью, как технически оно было совершено. Жертва вероломства — сторона страдательная, по видимости, пассивная. Но возможность измены создает именно она. Враг может напасть — но не предать. Предают близкие, обремененные доверием, только они.

Почему же Горбачев оказался в таком плотном кольце изменников? Почему для него осталось нераспознанным их истинное отношение к нему — не могло же оно сложиться вдруг, под влиянием каких-то внезапных импульсов?

И почему он оказался таким незащищенным, таким одиноким перед этой бандой?

Он наивен? Простодушен? Недалек? Детски доверчив? Смешно даже рассматривать такие предположения.

Так почему же? Эта загадка преследовала меня, как наваждение. И думаю, что не только меня.

Шесть лет я прожил под знаком этого человека. В день, когда умер его предшественник, «Правда», в нарушение всех канонов, вышла не с траурной рамкой, а с портретом нового лидера на первой полосе. Покойнику было отведено скромное место где-то внутри номера. Имеющие глаза могли прочесть: «Я пришел». Он взбаламутил сонное болото, в которое мы успели погрузиться по макушку, воодушевил ослепительными надеждами — и заставил пережить множество разочарований... Отношение к нему стало главной осью, вокруг которой сближались и расходились люди. Когда кто-то в моем окружении пришел советоваться, надо ли сейчас вступать в партию, я ответил: мне уже поздно, но ты — разве ты не хочешь помочь Горбачеву? Гигантская дистанция, отделявшая нас, простых смертных, от главы огромного государства, казалась не длиннее обычной человеческой руки.

Но кто он? Не как политик, не как лидер или реформатор — как человек? Я никогда не разговаривал с Горбачевым. Тем более не проводил психоанализ (что, к слову сказать, начисто исключало бы для меня возможность любых высказываний). Но мало кого даже из близких друзей я видел так часто и так помногу — хотя бы и с помощью телетрансляций. Конечно, то был специфический ряд — официальные, далекие от интимности события. Но и в этих ситуациях камера, микрофон обладают фантастическим свойством — приближать, укрупнять все человеческие проявления. Я видел его воодушевленным и подавленным, распахнутым и старающимся скрыть чувства, искренним и актерствующим. Слышал продуманные, тщательно составленные речи — и не предназначенные для посторонних ушей реплики, случайно Уловленные микрофоном. Размышляя над действиями, поступ-

ками, решениями — генсека, президента, — я старался, отбросив политическое наполнение, разглядеть их человеческую, психологическую подоплеку: понять личность.

Есть и еще одно, поистине безграничное поле для анализа. Не знаю, как в других краях, но в нашей стране внутренняя связь всех людей с лидером огромна. До сих пор, проводя психоанализ с немолодыми людьми, я вижу в глубине их души отсветы зловещей личности Сталина — и многое в ней могу понять через это отражение. То же — и с этим лидером, разрушившим все наши священные представления о вождях. Соприкасаясь, в силу профессии, с самыми затаенными душевными состояниями десятков и сотен, я могу с уверенностью сказать: одобряли мы его или порицали, кричали «да здравствует» или «долой» — мы все несем в себе какой-то отпечаток его личности, а не только той жизненной обстановки, которая сложилась благодаря его усилиям, потому что на самом деле это неразделимо. Даже наша феноменальная, страстная захваченное политикой, совершенно непонятная для людей с иным менталитетом, — след его личного влияния.

Стараясь понять себя, мы снова и снова будем задаваться тем же вопросом: кто же такой Горбачев?

Есть свидетельства, что еще в школе, мальчишкой, он проявлял ярко выраженные черты лидера. По-моему, он сам говорил, что и выбор учебного заведения — Московский университет — был продиктован очень рано и четко осознанным призванием. В студенческие годы он прошел и первоначальную школу комсомольской работы. В 1952 году — за год до смерти Сталина — вступил в партию. Наверняка имел шанс остаться в Москве, осуществить мечту множества начинающих юристов — стать адвокатом, заняться криминалистикой, наконец, посвятить себя науке. Но путь в большую политику со столичных плацдармов был для него закрыт — и Горбачев вернулся домой. Получил еще одно высшее образование — не для того, чтобы профессионально заниматься сельским хозяйством, но понимая, что в крае, где преобладает аграрный сектор, без этого нельзя стать заметным лицом. Прошел все ступеньки комсомольской, партийной иерархии...

Нечасто бывает, чтобы человек с самого детства так ясно видел свою цель и так упорно, неуклонно к ней стремился. Я могу представить себе, каких трудов, какого неимоверного напряжения стоил ему каждый последующий шаг. В эпоху, на которую пришлась его молодость, уже сложился потомственный характер партийно-государственной элиты: начальство всюду

продвигало своих сынков. Я знаю, с какой кровью приходилось пробиваться в эту среду чужакам, чего стоило утвердиться в ней, тем более продвигаться вверх, переигрывая каждый раз множество соперников. Без труда можно себе представить, что в такой борьбе тренируются и упражняются не только лучшие человеческие качества, но и цинизм, особого рода приспособленчество, умение переступать через нравственные запреты.

Почему вообще из всех занятий, открывающих простор для способностей, талантов, созидательного начала, люди выбирают политику? Чем она их привлекает — если иметь в виду не осознаваемые, поддающиеся словесной передаче мотивы (стремление послужить народу, сделать лучше его жизнь), а глубинные, лежащие в основе личности побуждения? Существует ли какая-то психологическая предрасположенность к тому, чтобы политика стала не только профессией, но и смыслом жизни, верховной страстью?

\* \* \*

Немного теории... Психоанализ определяет тип личности человека в зависимости от того, куда направляется либидо — то есть, в широком смысле, его психическая энергия. Она может устремиться на внешние объекты — сублимироваться в художественное творчество, в разведение рыбок, в обучение детей, в ту же политику — куда угодно: мир велик, и люди находят миллионы способов для приложения своих сил. Но вновь перед нами случай, когда весь этот энергетический заряд устремляется на собственное Я и образуется феномен, который в теории Фрейда называется нарциссизмом (по имени героя античного мифа, сраженного любовью к своему отражению).

Мы все в своем развитии проходим нарциссическую стадию. Есть периоды, когда дети целиком сосредоточены на себе. И в общем-то Нарцисс никогда в нас не умирает окончательно. Своеобразие нарциссического типа заключается в том, что и в зрелом возрасте все энергетические ресурсы психики замыкаются на Я. Это — одна из сложнейших психоаналитических концепций.

У нас в стране психоаналитик сильно рискует, используя этот термин в конкретном описании. Ему грозит остаться непонятым — и нанести ущерб репутации того человека, портрет которого он пытается воспроизвести.

В быту широко используются такие понятия, как эгоизм, эгоцентризм, самодовольство, самовлюбленность, зазнайство и т. п., — и качества, обозначаемые ими, относят скорее к недо-

статкам. Есть опасность, что люди, незнакомые с психоанализом, с его концепциями и подходами, поставят в этот ряд и нарциссизм — как один из синонимов. И сразу включится привычный строй ассоциаций и мыслей.

Но это было бы ошибкой.

Психологические механизмы, определяющие тип развития личности, нарциссический или какой-либо иной, лежат в бессознательном. Мы не улавливаем этих особенностей. Не можем их контролировать или от них избавляться.

Почему, выбирая название для открытого им феномена, Фрейд остановился именно на этом античном мифе? Нарцисс полюбил... нет, не себя, в том-то и дело! Он проникся чувством к своему отражению. Разница тонкая, но чрезвычайно существенная. Эгоист или человек самовлюбленный заняты собой. Им нет дела до вас. Они озабочены только собственным благом. Нарциссическая же личность захвачена главным образом своим отражением в душах других людей.

Великие полководцы, религиозные деятели, ученые, художники... Фрейд считал нарциссической личностью Леонардо да Винчи. Судя по всему, похожими свойствами натуры обладали Петр I и Наполеон. Неутолимая жажда признания феноменально обостряет все способности, придает личности необычный блеск, позволяет далеко выходить за границы обычных человеческих возможностей.

Политика магнетически влечет людей такого склада. Можно даже сказать, что ни в какой иной сфере деятельности живущий в них Нарцисс не может получить такого полного удовлетворения. Публичность, волны всеобщего внимания и интереса, повседневно подтверждаемое ощущение своего величия, своей необыкновенной роли, наконец, власть — они живут и дышат всем этим. Структура личности помогает их взлету — часто они действительно становятся блестящими политиками. Но она же, как это ни парадоксально, часто обуславливает их неудачи и даже провалы.

Предположив, что именно к этому человеческому типу принадлежит Горбачев (полной уверенности при наблюдениях издалека, естественно, быть не может), мы получаем разгадку и его карьеры, его своеобразнейшего политического почерка, и тех его неуспешных действий, которым комментаторы присвоили родовое имя «ошибок Горбачева», и драматического финала.

Горбачев поразительно многолик. Думаю, не у одного меня часто возникало чувство, что перед нами не один, а несколько разных людей в одной телесной оболочке.

Великий человек. Я его вижу таким. Не только в меру бесспорных исторических заслуг: по масштабу личности. Сила. Энергия. Воля. Интеллект. Редчайший дар: способность переламывать настроение огромной, противоположно заряженной аудитории.

И вдруг — образ совершенно иной, несовместимый с первым. Утомительное многословие, при том, что мысли порой высказываются либо банальные, либо давным-давно всеми усвоенные. Склонность к демагогии. Хорошо говорит (сильнейшее качество Горбачева — вербальная одаренность), но плохо слушает. А порой, когда обстановка предрасполагает, просто не может слушать: перебивает, спешит высказаться сам.

Явился — и изменил весь мир. Фантастика! Но сколько раз в то же самое время вредил собственному делу отсрочками, проволочками, запаздыванием? Не мое дело судить о политических аргументах, которыми Горбачева убеждали поторопиться и которыми он, в свою очередь, доказывал, что предлагаемое — будь то отмена 6-й статьи, введение президентского поста или дарование независимости Прибалтике — не нужно и вредно. Но вижу общую особенность всех этих ситуаций: категорически отвергаемые идеи исходили от других, потом он как бы «усыновлял» их — и они проходили.

От людей, знающих Горбачева, я слышал о его удивительной способности мгновенно схватывать суть любой проблемы. Казалось бы, такой человек должен особенно точно и верно судить о людях, обладать повышенной проницательностью. Но нет — в отношениях с окружающими Горбачев допускает самые поразительные и необъяснимые проколы. И это тоже зависит от свойств его личности. Внутреннее зрение у таких людей устроено особым образом — как бы загорожено фильтрами, пропускающими психологическую информацию только определенного толка и задерживающими многое из того, что необходимо для формирования адекватных представлений о себе подобных. Вновь подчеркну — этот отбор происходит подсознательно, бесконтрольно.

Кто же не понимает, что нужно дорожить сильными, яркими, самостоятельно мыслящими друзьями? Что именно в них следует искать опору? Но логика преувеличенного, ревнивого Я направлена на то, чтобы всеми правдами и неправдами ослаблять свое окружение. Человеку тяжело, когда с ним спорят, возражают ему, подрывая тем самым его фантазии на темы собственного всезнания и всемогущества. Он неспособен делить с кем бы то ни было другим успехи и заслуги. И этот иррациональный внутренний

голос перекрывает все, что подсказывают и политические, и элементарные житейские расчеты.

Как по-иному объяснить, что судьба страны оказалась вверена такому человеку, как Валентин Павлов? Пусть бы даже он был сильнее прочих как экономист, как знаток финансовой системы; но даже самые верные его действия в качестве заведующего всем хозяйством страны были обречены на провал в силу чисто человеческих качеств. По Фрейду — это анатный тип личности, застрявшей в том самом раннем детском периоде, когда ребенок проявляет «вредность»: ему нравится перечить, злить окружающих, исподтишка и явно пакостить, наслаждаясь всеобщим раздражением. При каждом своем публичном появлении — а их было множество — Павлов только тем и занимался, что дразнил народ, не упуская ни малейшего повода вызвать на себя негодование и злость.

А Янаев? А покойный Пуго? Что они могли внушить к себе, кроме антипатии и глубочайшего недоверия?

Секрет, видимо, в том, что особо высоких требований к индивидуальности, к интеллекту приближенных Горбачев и не предъявлял. Светило не нуждается в дополнительной подсветке, исходящей из других источников. Ему вполне хватает самого себя. Предназначение же окружающих — отражать его благодатные лучи.

По количеству людей, с которыми он соприкасался, по сгущенности событий, инициатором и активным участником которых он был, судьба Горбачева, возможно, имеет мало равных во всем человечестве. Огромный опыт, наивысшая из возможных жизненная школа! Если мое представление о нем верно — он должен был множество раз испытывать неудобства, терпеть неудачи. Почему же они ничему его не научили?

Здесь мы сталкиваемся с совершенно особой системой защитных реакций, свойственных психике людей этого склада.

Быть побежденным, проигрывать — вещь для всех трудно переносимая. Но для людей такого типа это просто, без преувеличения, гибель. И с тем же энергетическим напором, с которым личность лепит свой собственный внутренний образ, она воздвигает бастионы психологических приспособлений, не пропускающих в сознание яд бесспорных, казалось бы, но губительных для нее истин: я виноват, я был о себе слишком хорошего мнения.

Это излишняя самоуверенность. «Я полностью владею ситуацией», — сказал, едва сойдя с трапа, возвращенный из Фороса Горбачев, хотя в тот момент не только не владел ею, но даже имел о ней весьма смутное представление. И это не была некая демон-

стративная декларация, призванная успокоить потревоженное общественное мнение. Он действительно в тот момент так считал, пряча за этой убежденностью невыносимую для него реальность, что подтвердили мгновенно сделанные им — и мгновенно же отмененные — назначения на освободившиеся после ареста заговорщиков посты.

Это чрезвычайно тонкий психологический механизм, именуемый проекцией: вынуть из своей души занозу, возбуждающую недовольство собой, чувство стыда, досаду на самого себя же, — и перенести на кого-то другого то, что не вписывается в собственный образ. Это они — недостойные помощники или коварные противники — виноваты в том, что не получается так, как я задумал, что результат не соответствует ожиданиям. Это они действуют из непохвальных побуждений, это им свойственны дурные черты характера, недостаток ума... Негативные эмоции при этом благополучно отыгрываются, но как бы в сторону, не затрагивая самое уязвимое место личности — самооценку.

Наверное, никогда в жизни не произносил Горбачев, по крайней мере публично, столько покаянных, жестоких к себе слов, как в дни, следовавшие за форосским пленением. Но стоило присмотреться, как сразу же на обожженное тягостным признанием место накладывался обезболивающий пластырь из совершенно других слов и сюжетов! Народ стал другим благодаря перестройке (а кому мы ею обязаны?); интриги заговорщиков разбивались о мужество и выдержку президента... Если это правда — то, что он говорил, он имел полное право упоминать об этом; но, когда человек вершит строгий суд над самим собой, ему как-то меньше вспоминается о собственных заслугах... Мне было больно присутствовать при этих минутах тягчайшего унижения человека, которому я искренне симпатизирую, и, видит Бог, не из мстительной или злорадной потребности как-то еще это унижение усилить были сделаны эти наблюдения. Но я не мог не поражаться тому, какой же мощи может достигнуть защитная броня психики, чтобы даже в убийственном для себя положении человек мог черпать поддержку и вдохновение!

Но, может, это и позволило Горбачеву вынести и драму Фороса, и отставку — удары, сокрушительность которых нам, вчуже, даже трудно оценить? Не просто выстоять — собраться, восстать, проявить себя с давно не виданным у него блеском? А когда уже все было потеряно, найти для себя новую, не имеющую аналогов в советской истории нишу, — активно действовать в мировой политике от собственного лица?



Как врач, утверждаю: на наших глазах человек совершил неправдоподобное.

Почему популярность Горбачева на Западе всегда была более очевидной и стойкой, чем в Союзе? Бывали и здесь у него звездные минуты. Но пришлось им главным образом на период сохранившейся заторможенности общества, когда без списков, предварительно составленных в парткоме, немыслимо было выйти на улицу что-то демонстрировать — тем более истинные, а не предписанные сверху чувства. Такой любви, таких ошеломляющих оаций, такого эмоционального признания, как в заморских краях, дома ему не дано было узнать.

Природа этого феномена в том, что мы видим перед собой одного человека, а они — другого.

Западные политики не раз и очень подробно рассказывали о своем потрясении, когда вместо одиозной фигуры закованного в бронированные доспехи кремлевского вождя, вызывающего оторопь в цивилизованном мире, перед ними впервые предстал живой человек. Умный, улыбающийся, контактный. «В Лондоне искал общества банкиров, предпринимателей, и сам походит на них в своем костюме, сшитом на заказ, и с золотыми часами», — изумлялся журнал «Шпигел<sup>1</sup>». Таким же чудом, по контрасту, показалась и жена «лидера новой генерации» — элегантная, обаятельная, и даже сам факт, что он привез ее с собою. О его политике, тем более о ее результатах, речи еще быть не могло. Но чисто человеческое впечатление сложилось, не ожидая, чтобы его подкрепили делом.

Ну а сам Горбачев: что испытал, что пережил он во время своего дебюта?

О его раннем детстве, о школьных и студенческих годах мне известно сравнительно немного. Но я хорошо представляю себе общую обстановку, условия жизни, царившие нравы — и по тому, что запомнилось, и по несмыслимым отпечаткам в моей собственной душе. И это притом, что я, в отличие от Горбачева, не рос в послевоенной деревне. Я не испытал на своей шкуре состояния крепостного, прикованного к месту, не имеющего даже паспорта. Школа, «веселое пионерское детство», университет, где всюду орудовал репрессивный аппарат... Ни одной мыслимой возможности не упускалось, чтобы задавить личность, вытравить самобытность, превратить неповторимое создание Божие в безликую частицу такого же безликого коллектива. Высшим грехом почиталось не только произносить слово «Я», но даже думать от первого лица.

Нарциссизм — не прирожденное, не генетически заложенное

свойство. Он возникает как реакция на особые, чаще всего неблагоприятные для личности условия, как своеобразный протест психики, задавленной во всех своих внешних проявлениях.

А комсомольско-партийная среда, с ранней молодости родная для Горбачева? С одной стороны, попадая в число избранных, человек получает признание своих особых дарований и заслуг; его слово, его мнение приобретают особую значительность; он может влиять на события, он окружен людьми, которым положено смотреть ему в рот и усердно поддакивать. Но его личная свобода не только не расширяется, — наоборот, при этом он пребывает в режиме ужесточенной несвободы, потому что проявлять себя — высказывать, что приходит в голову, строить отношения, как велит душа, действовать от своего имени — ему не дано.

Это невыносимое для душевных структур противоречие с развитием партийной карьеры могло лишь обостряться. Секретарь крайкома — полновластный хозяин края, он волен казнить и миловать, задавать направление рекам и ветрам... Но его давят те же тиски партийной дисциплины, тот же груз бесчисленных идеологических и поведенческих табу, те же страхи — перед доносами, перед угрозой испортить отношения, лишиться покровительства, — что и последнего клерка в его аппарате.

Может быть, все это нужно было писать в прошедшем времени. Но подождем.

Самолет за несколько часов перенес Горбачева в другой мир, в иную — если он даже этого не знал — психологическую атмосферу. Где выше всего ценятся именно индивидуальность, раскованность, непринужденность. Где скорее простят неудачное, чем неискреннее высказывание.

Я полагаю, что Горбачев серьезно рисковал, именно так проявив себя перед этим миром. Но он пошел на этот риск, движимый, возможно, не столько даже расчетом, сколько бессознательным порывом; так рыба, долго бившаяся в садке, устремляется в открытое море. Большой удачей оказалось и то, что не партнер ему подыгрывал в момент дебюта, а именно партнерша — и именно блистательная Маргарет Тэтчер, умеющая, как никто, всегда оставаться сама собой.

И тут перед нами раскрывается еще одна существенная грань личности. Я бы назвал ее актерством, хотя и не в профессиональном смысле, подразумевающим умение что-то изображать, исполнять роль. Но это действительно общая с мастерами сцены сверхподвижность, пластичность психики, мгновенно настраивающейся на встречную, от других людей идущую волну.

В принципе это общечеловеческое свойство. В комнате, где

строгий начальник собрал совещание, в группу детского сада, в зал ресторана, в кабинет следователя — входим разные мы: с разным выражением лица, с разными жестами и интонациями, не говоря уж о текстах. И нет даже нужды продумывать специально все детали — психика управляет нами в автоматическом режиме.

Ненасытная потребность в любви, признании, восхищении может поднимать к подлинным вершинам перевоплощения.

Разумеется, идея нового курса — выход из «холодной войны», отказ от коммунистической экспансии и прочее — могла созреть и в другой голове. Но при высоте барьеров, при ледяных глубинах недоверия все решали не только намерения и политические шаги. Первый толчок был дан чисто человеческим впечатлением. И не обладай Горбачев даром бессознательно улавливать волну симпатии и мгновенно перевоплощаться сам ради ее усиления — становиться именно тем, кто мог больше нравиться Тэтчер, больше нравиться Рейгану, Бушу и прочим, — еще неизвестно, в каком мире мы бы сегодня жили.

Он бывал предельно собран, оказываясь за рубежом. Он словно бы понимал, какую высоту предстоит взять, и мобилизовывал все резервы психики. Он не может проиграть. Он обязан подтвердить свой самоимидж, оказаться таким, каким видит себя внутренним зрением. Можно предположить, что таким он бывал и тогда, когда имя его разве что изредка появлялось в газетах — в период своего восхождения.

А дома он попадал в другую обстановку. Привычную, ослабляющую. Он выше всех. В подтверждениях этого нет недостатка. Поддержание самоимиджа не требует особых усилий.

Так было, по крайней мере, до последнего в его карьере, невыносимо тяжелого для него 91 года. И это давало те непосредственные впечатления, на которых строилось восприятие Горбачева собственной страной.

Думаю, что благодаря именно этим особенностям личности Горбачеву обычно гораздо лучше удаются встречи один на один или в небольшой, непременно однородной аудитории. Совсем хорошо, если при этом в воздухе не пахнет грозой. Он, как никто, умеет ломать предубежденность, парировать несогласие — покорять. А вот на улицах Вильнюса, пытаясь погасить волну стремления к независимости, он успеха не имел. И не в последнюю очередь потому, что перед ним были разные люди, от них шли разные, сбивающие самонастройку импульсы.

В один из последних дней его президентства в «Известиях» был напечатан стенографический отчет о встрече Горбачева с главными редакторами крупнейших прогрессивных изданий. Ему

необходимо было завоевать этих людей — особенно в момент, когда неизвестно какой (хотя он-то как раз это, возможно, знал) информации предстояло вырваться на свет Божий во время суда над путчистами. И трудно было бы сделать это лучше, точнее, успешнее. Сам уровень разговора (умнейший человек беседует с умнейшими людьми), доверительная интонация, бьющие в самую «десятку» реплики. «Мы впервые видим перед собой человека», — сказал кто-то из главных. Но это означает, что именно таковы были подспудные ожидания всех собравшихся. Так выстроить беседу за счет одного лишь рассудка, без предельно обострившихся подсознательных регуляторов просто невозможно! Но если бы тут же за столом сидели по-разному настроенные люди — встреча могла бы оказаться скомканной.

Что он нам дал? Ни много, ни мало — он изменил наш внутренний мир. Снял заклятие, подорвал мифы, в которых мы рождались, жили и умирали.

Все видели: король голый. Но кто-то должен был громко крикнуть об этом, чтобы с глаз спала пелена.

Психологические законы прозрения чрезвычайно сложны. То, с чем выступил Горбачев, то, что было при нем сказано другими, раньше него, резче него говорил Солженицын, говорили Сахаров, наши диссиденты и западные советологи, так или иначе прорывавшиеся к нам. Многому мы верили, со многим соглашались. Но эта разоблачительная информация затрагивала только верхний этаж сознания: даже ощущая себя в оппозиции режиму, мы не становились другими — по структуре — людьми.

Главный двигатель сознания — реальность. Но что если вместо реальности выступает массивованная, всеобъемлющая, бесстыдная ложь? Если это продолжается поколение за поколением? Психика приспосабливается к такому существованию, но мы еще не скоро сможем оценить всю тяжесть ее травмирования в этих условиях. На Западе, между прочим, давно писали о «шизоидизаций» советского общества, о раздвоении личности как о массовом, едва ли не всеобщем явлении. Видеть что-то своими глазами, трогать руками, слышать, обонять — и считать при этом, верить, что перед нами нечто совсем иное. Если бы не эксперимент, поставленный над нашей страной, — мир, наверное, и не Додумался бы до того, что такое в принципе возможно.

Горбачев пришел через 30 с лишним лет после смерти Сталина, когда народ уже многое пережил, приобрел другой исторический, социальный опыт. Сменились поколения. Две дубинки, которыми мастерски оперировал «отец народов» — страх и идеологическая зашоренность, — развалились в руках у предшествен-

ников Горбачева. Но внутренняя закрепощенность сохранилась почти что в прежнем виде, эпоха застоя ее не сняла. Лицемерие, обман, очковтирательство, характерные для этой эпохи, оказались несовместимы с открытым поведением. Люди стали открытее — но они стали открыто врать. Фальшь усиливала закрепощенность: ложь всегда заставляет держаться настороже, ее парализует страх разоблачения.

Да и перестройка, строго говоря, не принесла подлинной внутренней свободы. Может быть, даже ущемила ее из-за общей неуверенности, состояния неопределенности. Добавился страх перед будущим, боязнь не справиться с неминуемо предстоящими трудностями, самосознание материальной и духовной нищеты. Тоталитаризм как явление жизни разрушен — неодолимая тяга к тоталитарному порядку в глубинах психики сохраняется. От родителей к детям передается затаенный ужас перед тем, чтобы оказаться не таким, как все. Не дай бог — посмеяться над собой.

Но при Горбачеве — и благодаря ему — мы это увидели! Поняли, осознали — как свою слабость, свою несостоятельность. С трудом, с противоречиями, с мучительным преодолением себя, но стало формироваться новое отношение к людям воистину свободным, желающим и умеющим быть самими собой. Вместо отталкивания, неприятия появляется что-то похожее на робкое восхищение и даже зависть. В этом — надежда.

Фигура лидера — Верховного Бога — всегда занимала центральное место в той психологической системе, на которой держался тоталитаризм. Даже ставший живой карикатурой Брежнев, над которым смеялись, изощрялись в анекдотах, все равно сохранял какой-то мистический авторитет и вес. С ним невозможно было полемизировать. Ему невозможно было перечить.

Горбачев стал первым нашим лидером, которому мы впервые осмелились открыто говорить слово «нет». Чьи действия, решения, даже мысли стали нелицеприятно обсуждать, не останавливаясь перед самыми резкими выражениями и даже грубой бранью. Потребовался закон о защите чести и достоинства Президента! Да когда же такое было у нас мыслимо! Верховный Бог стал человеком — пусть вознесенным высоко, пусть обладающим огромной властью, но все равно всего лишь человеком, с которым любой из нас при желании может помериться силами!

И именно отсюда — с разрушения этой доминанты, этого опорного столпа в психике — начался истинный крах тоталитаризма в нашем обществе.

Думаю, что эта ситуация — хоть он сам ее создал — оказалась

для Горбачева чрезвычайно тяжелой, если не трагической. И его самоимидж, и с детских лет усвоенное отношение к месту, на которое он пришел вслед за Сталиным, Хрущевым и прочими, должны были делать его сверхчувствительным к любым проявлениям несогласия и непочтительности. Да не в узком кругу среди избранных, а на площадях! Судя по проскальзывавшим у него высказываниям, порой он чувствовал себя чуть ли не загнанным, погребенным под волнами критики и злых насмешек. Подозреваю, что это тяжелое чувство могло временами искажать в его сознании истинную картину процессов, происходящих в обществе, подталкивать к ложным шагам.

Но мне интересно: понимал ли он, что приобрел взамен ореола непогрешимости, неприкосновенности, который утратил, не успев, по существу, приобрести?

Он вызывал море отрицательных эмоций, но они не перерастали в ненависть. Он часто действовал против себя, но ему многое прощали, в том числе и несомненную вину в едва не совершившемся государственном перевороте, — другого тут же бы съели! Как ни странно, отставка только усилила симпатию к нему. Что за этим? Воздание должного тому, кто сделал первый шаг к нашему освобождению? Едва ли, такие вещи легко забываются. Секрет, я думаю, в том, что он для нас — свой. Мы срослись с ним — может быть, и не понимая этого, потому что такие связи лежат в бессознательной сфере. Кто-то огрызался: да ну его! Критиковали, ругали. Но как своего, как брата, как отца, который, вызывая раздражение, ярость, гнев, не перестает оставаться отцом или братом.

Мы были — и во многом остаемся — людьми Горбачева. Но и он, что бы ни случилось, — наш человек. И уж право каждого принять это как комплимент или как укор.

Знает ли Горбачев себя?

Полагаю, что нет. Люди, имеющие о себе полное и ясное представление, у нас вообще почти не встречаются. В ответ на просьбу описать себя, по опыту знаю, начинают обычно с названия профессии, хотя какое отношение она имеет к свойствам личности? Потом следует нечто вроде служебной характеристики («трудолюбив, исполнитель» и далее по трафарету). Максимум, чего можно добиться, — это попыток передать словами самоимидж. Но тут всегда очень много примесей — какими мы хотим себя видеть, каким, считаем, должны быть, причудливая паутина иллюзий и самообманов. Но и такой разговор дается с невероятным трудом — через неловкость, через смущение, через преодоление сильнейшего душевного протеста. Всматриваться в свой

внутренний мир, искать глубинные мотивы собственных поступков, искать слова для точного обозначения своих стремлений желаний — это у нас называется «копаться в себе» и считается неприличным.

Едва ли Горбачев когда-нибудь смотрел на эти вещи по-другому.

Врач у президента, безусловно, был, наверное, хороший. Так что если бы, на что намекали путчисты, у главы государства пострадал рассудок, было бы кому это заметить и принять меры.

Врач. Но не психолог. Есть вообще такое убеждение, что в помощи психолога нуждаются только слабые, неуравновешенные, в чем-то даже неполноценные люди, неспособные «держаться в руках».

Пианист не может работать, если у него нет хорошего настройщика. Вообще всем, кто имеет дело с каким-то инструментом, необходим для ухода за ним мастер, наладчик. У политика нет иного рабочего инструмента, кроме собственной души — такой же трудно познаваемой, хрупкой, уязвимой, как и у всех. Кстати, и материал, с которым он работает, — это тоже души. Поведение в контактах с ними так же нуждается в психологической экспертизе, как и политические решения — в консультациях юристов, экономистов, других высоких профессионалов. Восприятие идей не всегда зависит от их абсолютной ценности. Я, например, убежден: Горбачев много потерял от того, что некому оказалось ему подсказать — нельзя так мелькать на телеэкране Б его положении, нельзя произносить по любому поводу такие длинные речи...

Многие сильные люди уверены, что умеют управлять собой. Полагаю, что так думает о себе и Горбачев. И он прав — но только в одном смысле: сдерживаться, подавлять душевные порывы, усилием воли принуждать себя действовать вопреки желаниям. Это искусство он демонстрировал не раз. Но ведь внутренние проблемы таким образом не решаются.

Если я правильно представляю себе его личность, Горбачеву должно быть с собою нелегко. Вообще у людей такого склада внешняя неуязвимость часто скрывает тревожность, неуверенность в себе, причиняющие множество тяжких душевных страданий. Я записывал его оговорки — психоанализ вообще придает им огромное значение, полагая, что в них внезапно, не спровоцировано, неконтролируемо выплескивается глубоко скрытое в бессознательном. Вот телекамера следует за Горбачевым по кулуарам, кажется, Дворца съездов, во время перерыва. Подходит к группе женщин, здоровается, еще с кем-то перебрасывается

незначащими словами — и останавливается перед военными. «Ну что, заговорщики, о чем шепчетесь?» — и сам смутился, и стоящих перед ним ввел в смущение. Так странно, так неуместно, непонятно откуда взялось... Но такие непрошено сорвавшиеся с языка слова почти никогда не бывают случайными. Очевидно, чувство безопасности было сильно нарушено. Мысль о возможном заговоре, а следовательно, о прочности своего положения, настороженность, беспокойство постоянно присутствовали где-то внутри.

В палитре отношений Горбачева с женой, мне кажется, важной составляющей была способность Раисы Максимовны унимать его душевную тревогу. Это вообще удивительное свойство хороших женщин, хороших жен: они лучше любого транквилизатора умеют снимать с души тяжесть. И отсюда — потребность никогда, даже на время коротких поездок, не разлучаться, всегда быть рядом.

Незнание Горбачевым себя представляется мне важнейшей причиной того, что, на беду всему обществу и ему самому, так мучительно, противоречиво складывались его отношения с людьми, выступающими на политической арене под флагом демократии.

Он не лукавит, когда говорит о своей приверженности демократическим идеалам и свободам. Он видит их преимущества. Он искренне хотел подарить народу все блага, которые несет такой миропорядок. Но это относится к идеям, к политическим доктринам, к тем картинам жизни свободного общества, которые он наблюдает, бывая за рубежом. Но мало любить демократию, мало даже соглашаться подчинить ее требованиям свои действия как (главы государства. Демократия предполагает особое душевное устройство, особые качества личности: терпимость, способность к глубоким контактам с другими людьми, готовность к взаимопомощи. Грандиозное *Я* и демократия несовместимы.

Ярлык «так называемые демократы» — плод сильнейшего раздражения Горбачева — на самом деле справедлив и до сего дня. Эти люди действительно пока еще «так называемые». У них тоже существует расхождение между представлениями о справедливости, о прогрессе, о народном благе и особенностями собственной личности каждого. Им трудно быть другими, как трудно быть другим Горбачеву. Родившись, получив воспитание и столько лет прожив в тоталитарной системе, они так же несут ее в себе. Внутренний конфликт с нею мог у них начаться давно, но он не был слишком глубок, поскольку система им благоприятствовала,



весь жизненный путь говорит о способности успешно приспособиться к ней.

Но, каковы бы ни были эти люди, они составили новую, невиданную и немыслимую породу политиков. В их поведении, в их манерах появилось много такого, что было прежде исключено. Открытая полемика, яркая, наступательная речь, полное отсутствие в ней оборотов типа «генсек удостоил нас своим посещением»... Они действовали точно по тем рецептам, которые Горбачев прописал стране: широко пользовались гласностью, правом на плюрализм мнений. Но на ощупь, на вкус это должно было показаться непереносимо острым тому, кому в плоть и кровь вошли иные стандарты, иной стиль общения.

Пусть им было далеко до того, чтобы стать настоящими демократами, но к ним уже не подходили те методы, приемы руководства, которым без затруднений поддавались все, кого Горбачев соглашался оставить в своем окружении. А психологическим аппаратом, позволяющим вести за собой людей этого нового склада, он не владел...

Горбачев понимал, как много надо изменить в стране, в обществе, чтобы вывести их из тупика. И, возлагая эту миссию на себя, он не ошибся в своей энергии, волевых качествах. Понимания не хватило в одном: измениться было необходимо и ему самому. Перестройка обязательно должна была затронуть его личность, чтобы во главе государства вместо коммунистического вождя встал демократический лидер...

Увы, этого не произошло, что во многом подготовило в конечном итоге и предопределило его грандиозный проигрыш.

Форос стал для президента первым потрясением.

Власть часто делает людей трусливыми. События трех августовских дней показали, что это наиболее презируемое в народе свойство Горбачеву чуждо.

Но выстоять перед внешней опасностью, как бы ни была она огромна и реальна, порой бывает не так трудно, как вынести душевную бурю. Страна уже через несколько дней, когда высохли слезы по убитым, могла хохотать над путчистами, как над карликами, примерившими на себя великанские доспехи. Главной жертвой путча стал Горбачев, переживший крушение своего внутреннего мира.

Потрясения такого масштаба могут уничтожить человека — разрушить его личность, убить физически. В то же время только они могут вызвать катарсис, очищение, когда рушатся все внутренние барьеры и все, что пряталось в бессознательном — вы-

тесненное, скрытое от самого себя, — предстает перед внутренним взором в беспощадном и ярком свете.

Мне казалось, что в эти непереносимо трудные для него дни Горбачев не только переосмыслил многое в своей жизни, но пережил вновь. Это неимоверно мучительно — вести диалог с самим собой, совмещая в одном лице подсудимого и судью. Боль и сомнения, грызущее чувство вины... Но такой тяжелейшей ценой покупается освобождение от собственных душевных комплексов, от прошлого, гирями висящего на настоящем, от парализующих сознание догм. От мифов, затуманивающих ясный и трезвый взгляд на мир. Совершается огромный шаг в самопознании, в понимании необходимости совершенствовать свое Я.

Сейчас перед нами — новый Горбачев, с огромным мужеством и достоинством восставший из пепла своей политической карьеры. Именно после отставки, когда отпали все символы власти и нет свиты, играющей короля, яснее обозначился масштаб его личности.

Он бесконечно много потерял. Но порой мне кажется, что и приобрел не меньше.

Если бы это произошло раньше — возможно, судьба страны сложилась бы по-другому.

## **Царь Борис**

Ни один из лидеров бывшего СССР не вызывал к себе такого сильного и такого сложного чувства: восхищения и досады, доверия и настороженности. Его визитная карточка — открытость, бесхитростность и прямотушие. Но в самой этой открытости прячется дразнящая воображение загадка.

Вспомним, каким необычным, можно даже сказать, уникальным в условиях тоталитарной системы был ход его политической карьеры. Взлет — падение. Падение — взлет. Словно предчувствуя в Ельцине своего могильщика, система обрушивала на него ураганный огонь. Сколько раз всем казалось: ему конец. Но он неизменно поднимался еще более дерзким и неустрашимым.

Вынести, не сломавшись, цепь таких крутых виражей — одно это говорит о феноменальности его натуры. Загадка, однако, в другом.

Не припомню случая, чтобы схватка была Ельцину навязана. Он сам провоцировал столкновения. Его действия при этом казались нередко иррациональными, странно нерасчетливыми, едва ли не безрассудными — без надежды найти союзников, без Шансов на успех. Правда, за ним была горячая, тоже по-своему

беспримерная народная поддержка. Но она появилась позднее — и именно как итог массового сопереживания с человеком, осмелившимся бросить вызов режиму. Не будь Ельцина, всеобщий протест еще долго, возможно, оставался бы под спудом, не только не получая выхода, но и не осознавая себя, так же как и немощь одряхлевшей и почти растерявшей все зубы системы стала в полной мере очевидной именно в ее единоборстве с Ельциным.

Что же это было? Сверхъестественная прозорливость? Смелый, с дальним прицелом стратегический план? Полностью исключить такое предположение я не могу. Но все равно остается вопрос: почему именно такой план? Этап за этапом — и каждый раз риск проиграть намного перевешивал вероятность выигрыша. Непохоже, чтобы такую линию мог выстроить разум, опирающийся на анализ и расчет. Тем более — титаническая энергия, которая потребовалась, чтобы воплотить в жизнь этот своеобразнейший сценарий: для таких ее мощных выбросов необходимо, чтобы в сфере бессознательного был скрыт настоящий вулкан.

О становлении характера Ельцина известно немного и только то, что сам он нашел нужным рассказать о своем детстве, о существовании по ту сторону политики. Но если применить методы психоанализа, даже эта скупая информация способна приоткрыть тайну личности.

Спортивные пристрастия, увлечения — они никогда не возникают случайно. Выбором спорта как любимого занятия и еще конкретнее: выбором определенных видов спорта управляют те же душевные механизмы, от которых зависит характер, а в конечном итоге — судьба человека. Тот, кто от природы обладает низким болевым порогом, не станет боксером. А легкая атлетика не привлечет к себе того, в ком живет жажда поединка, захватывающая потребность в игре.

Ельцин — страстный волейболист. В молодости засыпал в обнимку с мячом, в зрелые годы, уже крупным партийным чиновником, переступал через неписанные запреты, устраивая турниры со своими подчиненными.

Присмотритесь к тому, как играют в волейбол, — и вам неожиданно зримо откроются особенности политического стиля Бориса Ельцина, его сильные и слабые стороны. Высочайший динамизм. Быстрота реакции. Умение, взмыв над сеткой в головоломном прыжке, в доли секунды определить слабое место в обороне противника и именно туда направить пушечной силы удар. Игра, в которой не бывает ничьих... Но для победы в волейболе не нужно глубоко изучать обстановку на поле соперни-

ков, предугадывать их действия, выстраивать многоходовые комбинации. Все решается максимум в три паса.

Коллективизация, потом война, полуголодное существование в убогом, на множество семей, бараке... Жизнь неласково приняла будущего лидера. По-своему заботливый, вызывающий уважение и любовь, но суровый, жестокий в наказаниях отец. Нежная, преданная мать, всегда рвавшаяся, но не всегда умевшая защитить мальчика... Согласно концепции Фрейда, эта комбинация факторов должна была вылепить личность, если и яркую, неординарную, то зажатую в тиски глубинных комплексов. Видимо, так и произошло.

Едва начав складываться, характер проявлял себя в склонности к неповиновению, бунту, в необъяснимой жажде риска. Мальчиком, потом юношей Ельцин участвует в кровопролитных — улица на улицу — побоищах. Увлекает товарищей в многодневные походы по дикой тайге, словно бы нарочно так усложняя и запутывая маршрут, чтобы как можно меньше шансов оставалось выбраться живым. Пускается в путешествие по белу свету на крыше вагона, которую делит с амнистированными уголовниками, позволяет им втянуть себя в карточную игру, спускает все до исподнего, и только поставив на кон последнее — собственную жизнь, получает возможность отыграться... Просто трудностей, просто препятствий, видимо, было недостаточно для этого темперамента, чтобы в преодолении их испытать пьянящее чувство полной самореализации, нужны были ситуации крайние, безнадёжные, уже по ту сторону черты, за которой все кажется потерянным. Только они могли дать импульс для сверхмощного напряжения всех сил, запредельной мобилизации внутренних ресурсов. И если жизнь не посылала таких ситуаций, Ельцин, едва ли не сознательно, но беспрерывно, настойчиво, с дьявольской изобретательностью создавал их себе сам.

Возможно, на этом свойстве личности Ельцина держится его магнетическая притягательность для множества людей, бессознательное ощущение родства душ. Люди видят в нем себя — и действительно, очень многое в натуре президента характерно для одного из сложившихся исторически типов русского национального характера. Ключевая его особенность — стихийность и все, что с нею связано: иррациональность, шаткий баланс между созидательными и деструктивными, разрушительными силами, трудности приятия плана и порядка; фатализм, вера в свою миссию; бунтарство, порой принимающее форму склонности к кутежам и разгулу; феноменальный прилив энергии, пробуждение

небывалой активности, когда дело кажется решительно проигранным...

Завязью многих черт такого характера последователи Фрейда считают бессознательное влечение к смерти. Инстинкт смерти — Танатос, по психоанализу, — всегда единоборствует с Эросом, инстинктом жизни. Перед нами же один из случаев, когда он получает перевес, начинает господствовать. В наиболее концентрированном виде это и проявляется в неосознаваемой потребности играть со смертью, дразнить ее, «дергать за усы».

Не всегда можно уловить, какие события запускают этот загадочный психологический механизм, ведь произойти они, как правило, должны в самом раннем детстве. Ельцин сам дает нам подсказку.

Его крестили. Пьяный священник разжал пальцы, и младенец погрузился на дно святой купели. К счастью, мать это вовремя заметила. Трагедии не произошло, случай остался в семейном предании скорее как забавный. Для сегодняшнего Ельцина, рассказывающего о нем, это тоже живописная деталь — не более. Мы вообще придаем мало значения тому, что происходило с нами в беспамятном детстве. Но для психики такой эпизод не может пройти бесследно: ужас фактически пережитой смерти, чудо воскрешения должны оставить в ней неизгладимый след.

В моей практике было несколько пациентов, с которыми случилось нечто подобное, и один раз — именно во время крестин. Это была девочка, и обряд над нею совершался уже не в младенчестве, а в таком возрасте, когда ребенок себя понимает и помнит. Но даже сознавая, откуда в ней эта потребность — постоянно играть со смертью, она не всегда может ей противостоять.

С первых дней пребывания президента во главе независимой России за ним уже стали числиться шаги, резко обострившие и без того непростую ситуацию. Может быть, не шаги — высказывания, но и их было достаточно в постсоветской, перенасыщенной электричеством атмосфере. И сразу же пошли разговоры об «ошибках Ельцина», как до того много лет муслировались «ошибки Горбачева»... Я же по большей части видел в них ту же не подвластную никакой логике, иррациональную, скорее даже не осознаваемую жажду конфликта, острого столкновения, бунта. Если не против личностей или политических сил, то против самого потока событий, которые после многолетнего балансирования над пропастью, после «пан или пропал» августовских дней и впрямь могли казаться чересчур размеренными, вялыми, пресными.

Глубинные свойства личности Бориса Ельцина идеально подходили для роли лидера оппозиции. Но не они ли помешали ему стать для России отцом-созидателем?

### **Взгляд из будущего**

Несколько лет мы следили за этим противостоянием, обостравшемся временами до подлинно эпического масштаба. Оно не укладывалось ни в один из распространенных стандартов: политические противники, соперники в борьбе за власть и т. п.

Не часто случается так, чтобы несомненная, безоговорочная победа, какую принес Горбачеву разгром бунтовщика Ельцина осенью 1987 года на Пленуме ЦК КПСС, оборачивалась в итоге таким выигрышем для побежденного и проигрышем для победителя.

Ельцин не просто восстал из руин. Он как бы присвоил роль, которую Горбачев изначально оставлял за собой: харизматического лидера, выполняющего великую миссию, открывающего новые, невиданные горизонты. Народного предводителя, выразителя всеобщих дум и чаяний. Человека, в непогрешимость которого верят все.

Горбачев первым заговорил о демократии. Первые шаги к ней были сделаны им. В знаменитом выступлении Ельцина на Пленуме ЦК это слово даже не упоминалось. Однако именно он утвердился в положении лидера демократических сил. Горбачев же стал восприниматься как их оппонент.

Ореол гонимого, мученика? В таком объяснении, которое я не раз слышал, есть резон. Но разве мало являлось перед нами мучеников, гонимых? Но что-то не видно было, чтобы за ними шли миллионы.

Ошибка Горбачева, неверный расчет? Но и это не ответ. Если интеллектуальный потенциал человека очевиден, то и сама ошибка предполагает какое-то обоснование.

Я вижу его в тех совершенно особых психологических механизмах взаимодействия между страной и руководством, народом и вождем, которые создает тоталитарная система. И обе стороны оказываются ее жертвой.

Наши вожди всегда придавали большое значение так называемому «знанию народа» — и никогда в полной мере не обладали им, несмотря на огромные объемы поступающей к ним по разным каналам информации. Они исходили из представления о населяющих страну людях как о материале, одушевленном, но не имеющем своей воли. Нечто вроде сырой глины, из которой

скульптор, владеющий особыми приемами обращения с нею, может вылепить все, что считает нужным. Этот глубоко укорененный во внутреннем мире посыл исключает возможность того, что в психологии называется сопереживанием. Полагаю, что заметить это в себе самом очень трудно. В сознании теснятся какие-то образы, картины, может поддерживаться внутренний диалог... На самом же деле, как я не раз убеждался, наши руководители обычно переносили «на народ» свои взаимоотношения, свое сопереживание с ближайшим окружением.

Горбачев не был и не мог быть исключением. Если бы он не усвоил психологию и навыки ваятеля, если бы отождествлял себя, сопереживая, с народом, его партийная карьера не могла бы даже начаться.

Помните, с каким негодованием отверг Горбачев обвинение в «определенном росте славословия в адрес генсека», с которым на октябрьском Пленуме выступил Ельцин? Увы, сам ход обсуждения, все речи и реплики подтвердили, что Ельцин сказал правду. Цитирую по стенограмме: «Мы даже удостоились того, что и Генеральный секретарь нашел возможность лично ознакомиться с проблемами этого края»; «я хочу сказать, Михаил Сергеевич, рабочий класс вас любит, он вам верит»; «это действительно наше счастье, что наш коллектив возглавляет...» Но это, видимо, было так привычно, что и не замечалось. Поэтому гнев Горбачева был искренним. Культа он не хотел, если подразумевать под этим репрессивную сталинскую систему, или бюрократическое реформаторство Хрущева, или идолопоклонство брежневской эпохи. Свой образ он строил строго от противного. Был подчеркнуто скромнен внешне, не позволял увешивать себя наградами. Не над — а рядом с нами. Первый среди равных.

И все же Ельцин попал тогда не в бровь, а в глаз. Культ был — хоть, может быть, особый, неузнаваемый, не похожий на то, что мы видели прежде. Сам понятийный аппарат, с помощью которого описывала себя система, его опорные слова: строить, вести, воспитывать — предполагали недостижимое превосходство авангарда над обычными людьми, а лидера — над авангардом. Он обладает каким-то особым знанием: иначе как можно вести, строить или перестраивать? Ему ведомо все: что нам следует делать, как нам жить и даже какими быть. Любое наше действие должно получить его благословение — хотя бы в виде цитаты в наших рассуждениях, должно быть освящено его присутствием — хотя бы символическим.

Что испытывает человек, мимоходом вспоминая, что в миллионах кабинетов висит миллион его портретов? Видя собствен-

ные изображения, плывущие в праздничные дни над шумно выражающими восторг толпами?

Горбачев много ездил по стране, введя в традицию импровизированные либо достаточно тонко организованные встречи с «простыми людьми». Нефтяники, шахтеры, металлурги, домохозяйки. Он вникал во все мелочи их повседневной жизни, отвечал на вопросы, спорил, убеждал, разъяснял. Нормальное общение людей, у которых есть взаимный интерес. Но благодаря сверхмощному пропагандистскому усилению эти встречи тоже становились особым культовым действием. Проходной факт приобретал несоразмерное ему значение. Каждое слово, каждая реплика разносились на всю страну, хотели вы или нет — завладевали вашим вниманием. Хотя, по справедливости, далеко не все заслуживало такой широкой трансляции.

Вполне возможно, что Горбачев относился к этим встречам как к работе, нужной не столько ему лично, сколько его делу. Но есть границы, вне которых человек не может контролировать себя. Ни он сам, ни те, кто окружал его плотной толпой, не были в эти моменты самими собой, не выходили за рамки некоего незаписанного сценария: имитация живого, непосредственного общения, да еще в таких дозах, создает для психики непереносимую нагрузку. Осознание огромности своей власти, которого вполне достаточно, чтобы подвергнуть ее тяжелейшему испытанию, получает дополнительную эмоциональную окраску. Самое реалистическое, трезвое, самокритичное представление о самом себе не в силах устоять перед таким массивированным воздействием.

Горбачев раньше многих других понял, что системе грозит полный крах. Но он, по всей видимости, преувеличивал ее жизнестойкость, крепость ее психологических опор. Власть всегда лицемерила перед народом. Это было в ее природе. Но и народ привык лицемерить перед властью, демонстрируя перед нею те чувства и настроения, которых на самом деле уже не испытывал. Это и было главным проявлением агонии режима. Действия Горбачева были психологически точны — применительно к тому народу, которого уже не существовало, но который продолжал жить в его сознании.

Бунт Ельцина, первоначально достаточно робкий, непоследовательный, — бунт против лиц, а не против явлений — попал в унисон истинному душевному состоянию множества людей, до этого, возможно, не осознавших, как сильны в них недовольство, возмущение, протест. Ельцин помог оппозиции — в широком смысле — осознать себя, сформироваться. Он стал для нее таким



же центром кристаллизации, каким в августе 91-го оказался для сил, восставших против путча.

Для всех очевидно, что в конфликте Горбачева с Ельциным, внешне разрешенном отставкой Президента СССР, но психологически едва ли исчерпанном, всегда присутствовали личные мотивы. Нет недостатка и в психологических версиях. Выражая мнение многих, Елена Георгиевна Боннэр писала, что Горбачева мучила простая ревность, — он не мог простить Ельцину любви народа. Это правдоподобное объяснение, но поверхностное. С истинной картиной душевной драмы соотносится так же, как выражение «сердце стучит» — с работой органов кровообращения.

Вернемся к событиям 1987 года. Почему Горбачев, примерно наказав Ельцина, сохранил ему политическую жизнь? Не выслал послом в Монголию, не вынудил вернуться прорабом на стройку? Ведь к этому, казалось, шло — и это было бы вполне в духе традиций.

Боялся народного гнева? Но не будем забегать вперед. Тогда Ельцину было еще далеко до того, чтобы стать Ельциным. Скорее всего его исчезновение мало бы кто заметил.

Оценил деловые качества, рассчитывал использовать впредь? Едва ли. К тому же, судя по эмоциональной реакции, слишком сильно был уязвлен. Ельцин задел какую-то крайне болезненную, слабо защищенную струнку в душе генсека.

Предчувствовал, что именно Ельцин, и не в таком уж отдаленном будущем, окажется его спасителем, вызовет из фтороского плена, защитит от морального, если не физического уничтожения? В таком предположении нет ничего нереального. Человеческая интуиция способна и не на такие прозрения. Но в данном случае этот вариант я исключаю. Психологический режим, в котором функционируют политические деятели, делает их нечувствительными к негромким подсказкам собственного внутреннего голоса.

Объяснение я вижу в особом отношении, которое сложилось у Горбачева к Ельцину, по-видимому, задолго до открытого столкновения. Психоанализ называет его амбивалентностью. В нем одновременно присутствуют несовместимые, казалось бы, влечения — любовь и нелюбовь, сильное притяжение и такое же непреодолимое отталкивание, потребность быть вместе и не видеть никогда, знак плюс и знак минус. Дьявольская смесь, поглощающая бездну душевной энергии.

Чтобы обосновать это предположение, придется сделать небольшое отступление.

Суммируя научные данные и прозрения великих мастеров слова, можно условно очертить два крайних типа, сложившихся в русском национальном характере. Различия между ними, говоря психоаналитическим языком, определяются тем, куда направлен и как реализуется основной энергетический заряд психики: либидо по Фрейду. На объект или на собственное Я.

Ключевая особенность первого типа — стихийность. Широта натуры. Бунтарское начало, порой принимающее форму склонности к кутежам, к разгулу. Иррациональность, неприятие плана и порядка. Трудно дается последовательность в поступках и действиях, основанная на интеллектуальной дисциплине. Фатализм. Много языческого, уходящего в Восток. Переменчивость состояний: то добр, то мрачен. Веселость мимолетная.

Второй тип: упорядоченность во всем, рациональность, потребность в завершенности. Примат принципа реальности.

Для первого типа характерна искренность, отвращение к фальши, жестокости. Люди такого склада легко приобщаются к догматическим учениям — но так же жестко и бескомпромиссно могут их отвергать. Марксизм не случайно нашел в России благоприятную основу: русское бессознательное близко к его концепциям. Готовность брать на себя ответственность, вера в свою миссию. Специфическое свойство: встряхиваться только в экстраемальных ситуациях.

Второй тип, как правило, тяготеет к грубой патетике при малой чувствительности: все уходит на себя — либо на самых близких, воспринимаемых как продолжение своего же Я. Недостаток уверенности в себе требует постоянных поисков ресурсов самооправдания. Вообще исключительное богатство вариантов психологической защиты: рационализация, позволяющая найти удовлетворительное объяснение любому своему поступку, вытеснение, когда память очищается от тягостных для психики фактов, проекция — перенесение на других людей всего, что возбуждает чувство недовольства и стыда в самом себе.

Расхождение многих признаков связано с различиями в бессознательном отношении к смерти. Страх смерти (социальной и физической) почти отсутствует у первого типа — и чрезвычайно силен у второго. Вообще ни у одного народа нет такого своеобразного отношения к смерти, как у русских. Поодиночке любой скажет: я не хочу, я боюсь. Но в массе, в толпе, исчезает или, во всяком случае, ослабевает инстинкт смерти, о котором так много писал Фрейд.

Второй тип европеизирован, космополитичен. Первому это не свойственно: люди, относящиеся к нему, не любят покидать

свою территорию, поскольку плохо адаптируются к чужой. Вообще легко привыкают к стереотипам.

Я уже говорил, да это и само бросается в глаза, что психологический портрет Ельцина очень близок к первому из этих двух обобщенных типов. Так же как индивидуальные характеристики Горбачева тяготеют ко второму.

В этих глубоких, в бессознательном лежащих различиях — природа взаимного тяготения и трудности, возникающие при сближении.

Я полагаю, что Ельцин с первых дней должен был привлекать и одновременно отталкивать Генерального секретаря. Даже внешне: ростом, статью, могучей физической силой. Очень многое в его натуре отвечает стихийно сложившемуся у нас представлению о русской душе: обращенность к миру, дух бунтарства, прямота, отказ от дешевых эффектов и актерства, одухотворенность национального чувства. Поддаваясь обаянию этих качеств, высоко их цена, Горбачев, очевидно, должен был напряженно искать их в себе самом. В придачу Ельцин на удивление сохранил свою индивидуальность. Возможно, это связано с тем, что он сравнительно поздно пришел в аппарат. Он успел повариться в иных жизненных котлах. Его не укатали крутые горки закулисных интриг.

Внутреннее состязание было неизбежно. Политический перевес Горбачева не допускал ни малейших сомнений, как реальный соперник Ельцин едва ли мог даже рассматриваться. Но подсознательно, скорее всего даже не признаваясь себе в этом, Горбачев отдавал ему первенство. Принять это было невозможно. Все более необходимо становилось показать, что это не так. Не себе, не окружающим — сопернику. Только ельцинское признание: ты — первый, ты — лучше могло усмирить эту душевную бурю. Но признание непременно добровольное. Исходя от человека поверженного, раздавленного, утратившего лицо, оно потеряло бы всякую силу.

Полагаю, что именно это решило судьбу Ельцина, которая в тот момент едва ли не целиком зависела от Горбачева.

Дальше все происходило на наших глазах. За Ельциным все прочнее утверждалась слава человека, который «говорит правду» — не потому, что видел и принимал ее лучше, чем Горбачев. Он был в оппозиции, а это всегда легче. Не связанный императивами официального положения, Ельцин мог более свободно и открыто ее высказывать. Политический соперник Горбачева все больше превращался в его второе Я, в его отдельную, обособившуюся в другом человеке, материализовавшуюся совесть.

Я не знаток дворцовых сплетен. Но, даже видя лишь малую часть событий, мы могли наблюдать, как периоды скрытого противостояния сменялись конфликтами, как сугубо личное соперничество втягивало в себя других людей — а порой своекорыстно использовалось ими. Точно определить, как и на какие именно политические события это влияло, не берусь. Но временами ясно чувствовалось, что, как в приключенческом романе, под наш государственный компас был положен этот топор.

Не такое уж это редкое явление — когда большие политики манипулируют обществом, решая какие-то свои личные психологические проблемы. Многие западные аналитики, например, отмечали в период войны в Персидском заливе некую «зацикленность» американского президента на личности Саддама Хусейна, явно выходящую за рамки политической конфронтации. Но в наших своеобразнейших политических условиях ставкой в этом интимном споре легко может оказаться судьба страны.

Сколько сил отнимала эта борьба у Горбачева? Какие черные минуты заставила его переживать? Порой, видимо, напряжение становилось сверхмерным, разрушающим. При всем его самообладании, умении держаться заданного образа он терял контроль над собой. Не одного меня, наверное, душила досада, когда Горбачев уговаривал российских депутатов не избирать Ельцина главой парламента (Полозкова, понимаете ли, он хотел подарить России); когда через несколько дней у трапа самолета, доставившего его в Вашингтон, он не сумел сдержать чувств перед микрофоном интервьюера, пожелавшего узнать его отношение к состоявшемуся-таки избранию Ельцина...

Судьба на наших глазах прочертила нечто вроде мертвой петли, вернув события в зеркальном отражении. Осенью 1987 года Горбачев не позволил Ельцину упасть, летом 1991-го они как бы поменялись местами. Что происходило в душе Горбачева, когда в Форосе, слушая западные станции, он узнал, что Ельцин готов лететь к нему на выручку?

Ельцин победил! Но прошло совсем немного времени — и ему на собственном опыте довелось убедиться, до какой степени не надежно чувство, которое он возбудил в народе, — эта искренняя, трогательная, несколько даже экзальтированная любовь. Сама природа этого чувства такова, что оно может мгновенно обернуться слепой, не знающей пощады ненавистью.

В этом — коварство судьбы лидеров харизматического типа.

От них ждут чуда! Сама эта аура обожания, окружающая их, свидетельствует об инфантильности массового сознания. Люди наделяют такого лидера неправдоподобно высокими свойствами,

связывают с ним все надежды и упования. Нет того понимания, которое приходит лишь на гораздо более высоком уровне политической и общей культуры: кумир не всемогущ и не всевластен, его самого ведут обстоятельства, которые хорошо если на одну десятую повинуются его разумению и воле.

Вот почему успех харизматических лидеров длится чаще всего недолго и заканчивается трагическим обрывом. Поддержание образа требует от них постоянного титанического напряжения, непрерывных действий, которые народ мог бы расценивать как подвиги, свершения, проявления героизма и энтузиазма.

Достаточно просто приостановиться, чтобы массовое сознание расценило это как предательство интересов народа, и имидж богоравного правителя рухнул мгновенно и непоправимо.

Каким же далеким прошлым кажутся мне теперь времена, когда за бросками политических качелей Горбачев — Ельцин, Ельцин — Горбачев все следили с захватывающим дух любопытством — и внутри страны, и за рубежом!

Есть много концепций преодоления экономических затруднений, кризиса власти, политической дестабилизации. Но пока даже и не намечен выход из психологического кризиса, переживаемого обществом, хотя по отношению ко многим явлениям, вызывающим тревогу, именно он первичен.

И в хронологическом плане, и по характеру событий, и по тому, что становилось доминантой в общественных настроениях, мы четко разделяем: вот начало и конец эпохи Горбачева, вот начало и конец эпохи Ельцина. Но сейчас мне все чаще кажется, что эти границы не более чем историческая условность.

Современники неблагодарны. Что хорошего можно услышать сейчас о Горбачеве? Что хорошего можно услышать о Ельцине? За все горести и тяготы жизни ответственность возлагается на них. А порой даже такое может возникнуть впечатление, что если бы не эти двое, то все у нас было бы в порядке.

Будущее, не сомневаюсь, исправит эту несправедливость. Боюсь только, что нашим потомкам трудно будет себе представить: как вообще можно было жить в такой стране, какой Россия была на протяжении семи десятков лет? Но уж если у них хватит на это воображения, то и уважение к памяти Горбачева и Ельцина будет поистине безмерно.

Каждому казалось, что он открывает новую страницу истории. Но это было их, как и нашей общей, иллюзией. Они всего лишь поставили точку на предыдущей — именно так, вдвоем, разделив пополам стоящую перед ними задачу. Отсюда и моя

уверенность в том, что историческая память соединит в одно целое две эти, такие разные, фигуры.

Задолго до событий, придававших зловещий отблеск эпохе, Зигмунд Фрейд писал: «Коммунисты полагают, что они нашли путь к освобождению от зла. Человек, несомненно, добр, он жаждет добра ближнему, но институт частной собственности испортил его природу... Если частная собственность будет уничтожена, если все имущество станет общим и всем людям будет дозволено им пользоваться, всякое недоброжелательство и вражда исчезнут среди людей... Я не могу исследовать вопрос: достигает ли цели и имеет ли преимущество отмена частной собственности. Но я могу установить, что психологическая предпосылка для такой отмены — безмерная иллюзия. С отменой частной собственности у человеческой агрессивной страсти отнимается одно из ее орудий, сильное, конечно, но отнюдь не сильнейшее».

И дальше: «...попытка создания новой коммунистической культуры в России находит в преследовании буржуев свое психологическое подкрепление. Можно лишь с тревогой задавать себе вопрос — что будут делать Советы, когда они уничтожат всех буржуев».

Время дало на этот вопрос исчерпывающий ответ. За буржуями последовали троцкисты-бухаринцы, кулаки и вредители, потом космополиты, евреи, врачи-убийцы — и так без конца. Я не помню даже короткого периода, чтобы мы жили без врага, внутреннего или внешнего, подтверждая тем самым фрейдовский тезис: «Всегда можно связать любовью большое количество людей, если только останутся и такие, на которых можно будет направлять агрессию».

Драматизм истории в том, что и сама Коммунистическая партия пала жертвой этой своей крупнейшей концептуальной ошибки. Ненависть, которую она стала возбуждать в народе, не может быть объяснена только рационально. Этот порыв яростного негативизма, смявший все усилия Горбачева сохранить партию как общественную структуру, связан с тем, что партия, всегда искусно направлявшая агрессию народа на всевозможных «врагов», сама стала в его глазах врагом — объектом слепого инстинкта.

Ельцин и Горбачев в разные сроки, при разных обстоятельствах, но, очевидно, одинаково мучительно и трудно переживали внутренний разрыв с системой, которая их родила. Действуя в Режиме своеобразной дружбы-вражды, они ее разрушили и — каждый по-своему — помогли народу хотя бы частично освободиться от ее пут. Но ни один, ни другой не смогли найти цемен-

тирующую идею, которая объединила бы людей и сделала психологически бессмысленными вспышки враждебности и злобы.

Должен, следовательно, вослед Горбачеву и Ельцину появиться еще некто, кто сумеет сделать этот шаг. Но уже сейчас видно, с какими он столкнется препятствиями.

## ЭТЮДЫ О ВЛАСТИ

Борьба за власть стала таким же новым и совершенно непривычным явлением в нашей жизни, как валютная биржа или платные туалеты. Точнее, борьба за власть, ведущаяся в открытых, легальных и даже специально афишируемых формах. Если вспомнить, до перестройки у нас была одна на всех власть — советская, всесильная, но безличная, и ни с ней, ни за нее бороться было нельзя. Первое рассматривалось как тяжкое государственное преступление, второе тоже как преступление, но скорее в сфере этики. То, что Черчилль называл схваткой бульдогов под ковром — ожесточенные, нередко кровопролитные драки наших владык, — так и оставалось под ковром, откуда наружу пробивались разве что глухие слухи. Сама фразеология — «выдвинуть», «оказать доверие», «поручить», «назначить» — начисто исключала открытую личную инициативу, обнажение усилий. Максимум, что позволялось человеку, — это стараться «проявить себя» до прихода на пост и «оправдать доверие» уже на посту. Притом исключительно в плоскости пользы дела, блага народа, решения государственных задач. В перечне допустимых личных устремлений значилось одно — «приносить пользу» (коллективу, учреждению, отрасли, городу, стране).

В частных разговорах люди системы были, конечно, откровеннее. Но и они, насколько я помню, редко высказывались в терминах власти или борьбы за власть. Могли сообщить, что такой-то «свалил» такого-то, что некто «привел своих людей», а людей предшественника убрал, — ближе, конечно, к делу, но все равно — мимо главного, кодовые обозначения вместо слов, точно выражающих суть дела.

Кадровая политика была строжайше регламентирована. Если сформулировать и собрать воедино все неписанные правила, по которым выстраивалась пирамида власти, получился бы, наверное, пухлый том. Существовал, к примеру, особый разряд ответственных должностей — не самых высоких, но все же заметных, занять которые можно было только поробовав какое-то время в аппарате ЦК-И будь человек хоть семи пядей во лбу — если в его послужном списке ЦК не значился, он не мог попасть в это кресло.

Я так подробно пишу о том, что всем достаточно хорошо известно, с единственной целью: активизировать память, чтобы лучше оценить новизну ситуации. Все табу разрушились. Все разговоры ведутся в открытую, публично. Даже с некоторым перекосом в другую сторону: ни о чем, кроме стремления к власти, борьбы за власть. «Польза дела» упоминается разве что в чисто ритуальных целях.

Мы теперь точно знаем, кто хочет быть российским президентом, знаем, что таких людей уже набирается порядочно, что одни согласны подождать, а другие сгорают от нетерпения. Их взаимоотношения, как, разумеется, и противоборство с действующей властью, развиваются в жанре пьесы в пьесе — если не в полном отрыве от всей остальной жизни страны, то только потому, что стать президентом можно лишь путем выборов, а для выборов нужны голоса. И мысль, которую когда-то высказал журналист Егор Яковлев, — что хорошо бы обнести высоким забором пространство вокруг Старой площади и Кремля, чтобы они там дрались в свое удовольствие, а нам дали спокойно заниматься делом, — эта мысль, уверен, регулярно посещает многих.

Отвлеченно рассуждая, власть — это инструмент, необходимый для того, чтобы что-то с его помощью сделать: провести реформы, например создать условия для благополучного саморазвития общества. Но в действительности получается так, что овладение этим инструментом, удержание его в руках поглощает столько сил, что на дело их уже не остается.

Один из видных политиков, имеющих в своем послужном списке работу в правительстве, произвел подсчет: 80% времени уходило у него на то, чтобы сохранить свои позиции, то есть распознавать ведущиеся против него интриги и развивать собственную контригру, и только 20% оставалось на то, чтобы выполнять свои служебные обязанности.

Одно время в ходу было такое выражение — «агрессивное большинство». Это звучало как приговор: агрессия плохо увязывается с идеалами созидания. Ну а меньшинство, оно что, не агрессивно? Тот, кому мы не симпатизируем, всегда кажется больше похожим на волка. Даже женщинами, которые шли на выборы с обещанием смягчить своим присутствием грубые мужские нравы, мало-помалу овладевала свирепая воинственность.

Может ли быть по-другому? Власть, и особенно в парламентском варианте, — это борьба. Для нее требуются воля, напор, Жесткость, умение наносить и отражать удары — весь букет качеств, которые порождаются агрессивностью и питают ее.

Но вот перед нами спорт. Психологически он очень близок



к политике, особенно те его виды, где противники сходятся напрямую. О спорте мне говорить легче — психология давно им занимается, и не только в теории, а в полевых условиях.

Работая со спортсменом, психолог не старается подавить или снизить его агрессивность. К тому, чего он добивается, больше всего подходит слово «окультуривать». Исключить вспышки слепой ярости, когда человек теряет самоконтроль — может ударить соперника, кинуться на судью. Есть особое понятие — дезадаптивная агрессия. Вот это русло действительно нужно перекрыть, иначе атлет утратит форму, дисквалифицируется, не сможет собраться и сделать из поражения трамплин для будущей победы.

Так случилось, что из нашей психологической культуры вообще выпал этот очень важный элемент — умение проигрывать. Даже стало молчаливо признаваться, что возненавидеть счастливого соперника, преисполниться жадой мести — естественно потому, что по-другому не может быть.

Но ведь это неправда! Можно перенести этот удар — а поражение в борьбе — это чудовищный удар, даже если повод и выигрыш ничтожны, — и без вспышек дезадаптивной агрессии, и без душевного упадка. Но для этого нужна особая психологическая техника, особый тренаж.

Почему мужчины редко плачут? Так устроены? Нет, этот психический аппарат у нас у всех одинаков. Но первые слова, которые слышит мальчик, — «не плачь, ты же не девчонка!» Я обратил внимание: герои западных фильмов тоже постоянно напоминают друг другу — «ты проиграл, Джек, но ты должен с этим справиться». Без акцента, как естественный элемент быта. У нас же сама эта коллизия — Я в ситуации поражения — как бы отрицалась, потому что не было никакого Я — только Мы. Личный проигрыш мог быть уделом только негодая, мерзавца, врага. Но ему и поделом — пусть мучается. А хорошие люди не имели морального права чувствовать себя на щите, потому что неважно было, чей верх — лишь бы выигрывало Общее Дело.

Мы оказались безоружными в ситуациях, которые нам преподносит сегодняшний день. То, что по внешним проявлениям принимаем за зависть, в действительности часто есть просто отчаянное, детское неумение превозмочь горечь поражения.

Изменение политической природы органов власти создало в них новый, непривычный и до сих пор не понятый психологический режим. Вспомним: на самых первых этапах работы первого, еще союзного парламента возникла необходимость создать комиссию по этике. Из этого ничего не вышло и выйти не могло. Комиссии поручалась роль суда, она должна была найти вино-

ватого и призвать к порядку, а про эксцессы, которыми она занималась, с одинаковым правом можно было сказать, что виноваты все или не виноват никто.

К тому же от имени каких этических законов мог бы вершиться этот суд? Прежних, по которым жили комитеты и советы? Они тут были уже неуместны. Новых, отражающих реальную ситуацию, в которой личность должна была действовать на несравненно более высоком уровне свободы? Но им еще только предстояло сложиться. Да и вообще не в этике, строго говоря, было дело. Одна за другой следовали целые серии локальных и всеобщих психологических конфликтов, не получивших разрешения. Они накапливались, застаревали, переходили в хроническую форму. Помните, поначалу и разработанный до мелочей парламентский регламент казался чем-то от лукавого, но, слава богу, нашлись знатоки, сумевшие внушить всем мысль о важности юридической процедуры. А вот людей, которые сумели бы так же доходчиво и авторитетно преподнести психологическую подоплеку исполнения регламента, не нашлось.

Идея компромисса, такая привлекательная на рациональном уровне, встречает непреодолимые препятствия в более глубоких психических инстанциях. В нашей ментальности мужчина — это тот, кто не уступает. Тот, кто уступает — не мужчина. Обратим внимание: самые жестокие и неутихающие конфликты — вплоть до кровопролития — полыхают в тех регионах, где культурально акцентируется мужское начало в человеке.

Даже с наших мест, на галерке политического театра, бывает хорошо видно, что на сцене идет совершенно не та пьеса, что объявлена. Личные проблемы заслоняют, а временами полностью вытесняют дело. Эта тенденция идет по нарастающей — что закономерно. В стрессовых ситуациях происходит регресс психики, она опускается на инфантильный, подростковый уровень. А иногда, прислушавшись внимательно, мы можем уловить в политических дискуссиях голос нашего очень далекого предка, который знал один способ обхождения с врагом — убить и съесть, чтобы взять себе его силу.

Опираясь на историю первого российского парламента, можно было бы провести научный семинар на тему: как неумение создать нормальный психологический режим приводит к личностной деградации. Время от времени нам показывают по телевизору кадры, снятые у Белого дома в октябрьские дни. Ясно зачем. Но я, сидя перед экраном в более спокойном, чем в октябре, расположении духа, нахожу, что более уместно, строго говоря, было бы поставить вопрос не о вине, а о вменяемости.

Лица, жесты, интонации, сами тексты (и смысл их, и вытолкнутые из душевных глубин слова) — все это очень точно попадает под диагностическое определение «измененное состояние сознания на фоне глубокого аффекта». Но ведь в принципе это здоровые люди, раньше они такими не были...

Вечный парадокс: приобретая огромную власть над другими, человек по капле утрачивает власть над самим собой.

Но почему так происходит?

Наркотики, наркомания, наркомафия... Корень у этих слов общий. Его феческое происхождение косвенно указывает, как давно тяготеет над человечеством это проклятие.

Механизм же действия наркотиков был открыт совсем недавно. Первыми были обнаружены рецепторы-клетки, вступающие в живое взаимодействие с молекулами наркотического вещества. Да так четко, так слаженно — как замок с подогнанным к нему ключом.

Поэтому в предположении, что сам организм должен вырабатывать нечто близкое по свойствам к наркотикам, наука утвердилась даже раньше, чем известному исследователю Ч. Ли удалось впервые выделить из гипофиза верблюда эндогенный, то есть собственный, ниоткуда извне не привнесенный, морфий — эндорфин.

Эндогенные наркотики, хоть им и поспешили дать многозначительные названия — «гормоны радости, гормоны счастья», — влияют не только на настроение. Они обеспечивают мышление, обучаемость, память, способность творить и противостоять стрессам.

От века считалось бесспорным, что человек думает головой. Но клетки, идентичные клеткам головного мозга и даже состоящие с ними в прямом родстве, есть, оказывается, и в желудке с кишечником, и в легких, и в коже. Вырабатываемые ими пептидные гормоны имеют прямое отношение к поведенческим реакциям, создают эмоциональный фон.

Фрейд писал о принципе удовольствия как об одной из ведущих сил во всем человеческом бытии. Многим его построения казались, да и теперь кажутся, чересчур умозрительными. Но с открытием биохимических регуляторов поведения теория психоанализа блистательно подтвердилась.

Простейший пример: белка собирает грибы на зиму. Понятно — инстинкт. Но зиждется он на том, что за каждый наколотый на ветку фибок следует немедленное вознаграждение — порцией удовольствия, за счет чувствительной дозы эндогенного наркотика.

То же и с нами. Чувство удовлетворения (в том числе и глу-

бокого), воодушевление, подъем, торжество, блаженство, кайф — можно по-разному ощущать и описывать эти состояния, но природа у них одна. В связи с какими-то событиями повышается содержание эндогенных наркотиков в крови.

В одном из наших опытов участвовало несколько человек, владеющих йогой. После комплекса упражнений они испытывали душевный подъем, первопричину которого показал анализ крови — в ней резко повысился уровень природного алкоголя. Если бы вместо зарядки испытуемые выпили хорошего портвейна (могу даже количество уточнить: один стакан), эффект был бы во многом тот же. Но сходство на этом и кончается. После вина наступает похмелье, если же пить регулярно, можно стать алкоголиком — деградировать физически и интеллектуально. А йога — наоборот: это всем известный путь к самосовершенствованию.

Откуда такое различие? Не вдаваясь в тонкости молекулярного строения, дозировки и гормонального баланса, можно сказать коротко: нельзя безнаказанно обманывать природу.

Сколько бы ни стоило в магазинах вино — это заведомо более простой и легкий путь к удовольствию. Даже в сравнении с зарядкой, не говорю уж о более сложных человеческих занятиях. А замысел природы в том и состоит, что удовольствие нужно зарабатывать. Как в случае с белкой — поступками и действиями, которые способствуют выживанию и развитию рода.

Употребляя алкоголь и наркотики, то есть хитростью выманивая у природы незаработанную награду, мы покушаемся на этот ее великий замысел. А этого она не прощает никому.

Когда фанатически преданных своему делу людей называют работоголиками, когда говорят о творческих запоях у художников, артистов, литераторов, — это не просто метафора. В принципе любая деятельность, и даже не только общественно полезная, стимулирует выработку эндогенных наркотиков, чем нас и увлекает.

Но основная масса человеческих занятий обеспечивается умеренными дозами этого естественного допинга, и большинство ими вполне довольствуется — спокойные, уравновешенные люди, которые с удовольствием приступают к работе и с не меньшим удовольствием оставляют ее по звонку.

Но есть деятельность иная, сопряженная с гигантскими, вулканоподобными выбросами гормонов, и есть, в подбор к ней, человеческие типы, способные, прежде всего биологически, существовать в таком непосильном для обычных смертных режиме. Одни ищут и находят себя в созидании — в искусстве, в изобре-

тательстве, теперь все чаще и в бизнесе. Других влекут профессии и занятия, поминутно ставящие человека «бездны мрачной на краю», — альпинизм, например, скалолазание или работа летчиков-испытателей. Сами названия этих видов деятельности окружены каким-то особым ореолом незаурядности, заманчивости — даже издали видно, что они позволяют переживать минуты высшего упоения и счастья, и это действительно так, и понятно, с чем это связано.

И вот тут мы вплотную подступаем к заявленной теме, потому что одно из самых высоких мест в этом ряду, если не высочайшее, занимает политика.

Проследите, как строится политическая карьера, и вы обнаружите все, что способно горячить кровь, и притом в огромных, великанских дозах. Простор для творческого самовыражения — и не на бумаге, не на холсте, а в материале самой жизни. Известность, признание — тоже как ни у кого: даже малые дети лепечут имена популярных деятелей. И бешеный накал борьбы, и азарт отчаянного риска... А плюс ко всему еще и власть — одна из самых загадочных психологических субстанций, которую называет наркотиком даже тот, кому и голову не приходит, насколько он прав.

Убойная сила этих дурманных настоев так велика, что затягивает и случайно хлебнувших их людей. Вот моя соседка. Все свободное время она проводит у телевизора и редкий вечер не забегает к нам, чтобы с горящими глазами сообщить последние политические новости и с наивностью недоросля их прокомментировать. При этом я ни разу не слышал, чтобы о ком-то из ведущих политиков она отзывалась уважительно: все у нее дураки, никто ни черта не смыслит. Ну, так и не смотрела бы в их сторону! Но нет, это именно такой способ получения удовольствия: согреваться иллюзией собственного превосходства, а всякая иллюзия нуждается в постоянной подпитке. «Вот до чего они нас довели!» Живется ей действительно нелегко, я не спорю, она одинокая и уже не очень молодая женщина, и профессию в свое время выбрала не из тех, с которыми сейчас легко пробиться. Разрешимы ли ее проблемы, я не знаю, но что запойное сидение перед телевизором их не сдвинет — в этом можно не сомневаться...

Нет, если уж что-то заслуживает в самом деле названия «опиум для народа», то это именно политика.

Чем выше поднимается политик по лестнице успеха, тем заметнее происходящие в нем перемены. Он много приобретает: кругозор расширяется, мышление становится более четким и

изошренным, мужает воля. Но и утрачивает многое. Это уже давно никого не удивляет. Так и говорят: власть портит.

Но почему? Вы задумывались когда-нибудь над этим?

Если мои наблюдения верны, это прежде всего работа гормонов. Есть, очевидно, какой-то предел, за которым и они в самой нешуточной форме проявляют свои наркотические, то есть одурманивающие, свойства.

Первая реакция психики на наркотик — снижение критики. От эйфории, от ощущений собственного величия, всемогущества, безграничности своих прав, которыми человек упивается на пике опьянения, невозможно, наверное, полностью вернуться назад, к трезвой и нелестливой самооценке. Соответственно накапливается и недоброжелательность к другим, недоверчивость, подозрительность: если я, такой прекрасный, не получаю тех рукоплесканий, которых достоин, то кто же вокруг меня, как не заклятые враги? Безличные факты получают имена, срастаясь в ознании с личностями неприятных или опасных людей. Действительность воспринимается превратно, оценивается с грубыми ошибками.

В этом же букете: обостренная обидчивость, уязвимость приводят к бессмысленной растрате сил. Человек все хуже держит удары.

Эффект привыкания: разрастание потребности. Доза, достаточная вчера, сегодня не действует. Нужно ее увеличивать — либо одыскивать более убойные снадобья.

Вытеснение на задворки сознания всего, что ранит, причинет неудовольствие, — свойство всеобщее. Но здесь оно доходит до полного самоослепления, до ухода в несуществующий, иллюзорный, виртуальный мир.

Психика регрессирует — но тоже по-особому, не на более примитивный, инфантильный уровень, как это бывает со всеми людьми в периоды стрессов. Наркотики уводят личность в сторону шизоидизации — когда исчезает ощущение единства с внешним миром, атрофируется способность к сопереживанию, гаснут живые чувства.

Узнаете? Однако портрет срисован вовсе не с политиков! Это сумма наблюдений, сделанных исключительно в ходе врачебной практики: ход развития болезни, характерные черты множества пациентов. Но сходство и в самом деле поразительное. Вплоть до самых мелких совпадений. Политикам — мы много раз наблюдали это — с трудом дается сотрудничество. Не хочется сливаться в «мы», даже когда это целесообразно и выгодно. Хочется выступать от собственного лица, единолично принимать решения...

Это удивительным образом перекликается со своеобразной жадностью, хорошо знакомой врачам. Не к деньгам, не к вещам: наши больные могут терять их, раздавать, разбрасывать без всяких сожалений. А вот заставить их поделиться своим зельем очень трудно, кто на него покушается, вызывают вспышки дикой злобы. Что, кстати, увековечено пословицей: «Дружба дружбой, а табачок врозь».

В политике нет и быть не может абсолютных трезвенников: всех раньше или позже прибирает к рукам сладкая отравка, у всех возникает непреодолимая тяга к ней, которая на языке врачебных диагнозов называется зависимостью. Сознание подобных вещей не фиксирует, сохраняется убеждение, что те или иные действия продиктованы рассудком: вот анализ, вот аргумент. Но во все расчеты незримо вплетается и бессознательный мотив — стремление вновь и вновь воспроизводить именно те ситуации, которые обещают максимум эйфорических переживаний.

Но что делать, если других энергетических источников для крупной политической деятельности природой не предусмотрено?

Вспомним еще об одном из самых замечательных по точности и выразительности фрейдовских образов — всадник на лошади. Всадник — сознание человека, лошадь — его бессознательное. Всадник видит дорогу, знает, куда хочет приехать. Ему кажется, что он крепко держит поводья. Но везет-то его лошадь, бессловесная, но своенравная, и всадник сплошь и рядом попадает туда, куда вовсе не предполагал... Говоря о политике, мы должны будем развить аналогию: всадник и его резвый скакун движутся не сами по себе — они впряжены в экипаж, где сидим мы все, вверившие этой паре свою судьбу.

Когда говорят, что при всем несовершенстве демократии лучшей формы общественного устройства человечество не придумало, — это верно и в том смысле, что успешность любого политика оказывается в прямой зависимости от устойчивости к дурманам власти. Сидящие в повозке бдительно следят за всадником. Если им кажется, что он не справляется с лошадию — а это сразу же становится заметно, повозку начинает трясти и заносить, — могут его строгим голосом одернуть, а то и заменить. Но и лошади, нужно заметить, подбираются и тренируются особо. Профессионализм политика, кроме всего прочего, означает, что на мелочи, на суетные глупости его эндокринная система не откликается. Чтобы она на полную мощь включилась, требуется что-то действительно фандиозное. Например — право войти в историю

и остаться там навеки человеком, сделавшим много полезного для страны и сограждан...

«А нужно ли нам все это знать? — слышу я недоуменный вопрос. — Клетки, гормоны — зачем лезть в такие дебри?»

Затем, отвечу, что этого требуют особенности нынешней жизни, в которой появилось новое, знакомое и еще не распознанное по-настоящему явление — политическая наркомания.

Никогда прежде мы с этим не сталкивались. Я даже провел специальную ревизию, перебрав в памяти всех крупных деятелей, с которыми сводила меня судьба. Первые по времени принадлежали еще к сталинской гвардии. Их сменили политики, поднявшиеся при Хрущеве, потом развернулась в лицах фантазмагорическая эпоха Брежнева... Разные механизмы власти, разная психология власти, и уж подавно — целая галерея характеров. Но политическая наркомания отсутствовала или не бросалась в глаза. Да, я думаю, и не могло быть по-другому в жестких иерархических структурах, свойственных тоталитарной системе.

Часто думают, что достаточно сделать подряд несколько инъекций морфия — и кончено, человек превращается в наркомана. Мой опыт говорит, что это не так. Наркотики действуют очень избирательно. Мне встречались большие таланты, которые принимали их годами, и ничего — плодотворно работали, из общества не выпадали. Какие-то отпечатки на психику это накладывало, но ее болезненного перерождения не наступало. Но есть люди с особой предрасположенностью, заболевающие сразу, тяжело и непоправимо. Неустойчивая, дефектная психика, слабая воля, закомплексованность, неспособность справиться с собой и своей жизнью делают их существование невыносимым. В наркотике они ищут — и на какие-то минуты действительно находят — иллюзию спасения.

То же самое, от слова до слова, можно сказать о политических наркоманах. Расскажу об одном из своих знакомых. До своего дебюта в политике он преподавал в каком-то скромном провинциальном учебном заведении, ненавидя все — и эту свою работу, и этот город, и окружавших его людей. Считал себя способным на большее, недооцененным, пытался что-то изменить, конфликтовал с начальством, посылал куда-то статьи, желая привлечь к себе внимание, но их не печатали... Маленький человек, болезненно переживающий несправедливость судьбы и бессильный ее переломить.

Но все чудесным образом преобразилось с наступлением новых времен. Появились новые каналы для изливания недовольства; вздорность, неустойчивость получили окраску принци-



пиального протеста, созвучного общим настроениям. Мой приятель много выступал, добился наконец смещения своего ректора и был замечен, выдвинулся, перебрался в Москву. В круг общепризнанных лидеров не вошел, но, если верить молве, приобрел огромный закулисный вес. Соответственно он себя и вел: как человек, которому принадлежит решающее слово в самых важных государственных делах.

Я видел, как он упивается ощущением собственной значительности и силы, и это настораживало: постоянное перевозбуждение, самозавод, неестественная говорливость — даже когда, кроме меня, других слушателей не было. А потом в карьере что-то надломилось, человек остался не у дел. Когда мы встретились недавно, передо мной было лицо наркомана — со специфической мимикой, со специфическим же блеском в глазах. Находиться с ним рядом было тяжело, слушать невыносимо — его речи казались чистым бредом.

Но ведь так бывает и при обычной наркомании, обыкновенная абстиненция, ломка при отсутствии привычных доз, и служит еда ли не самым главным агностическим показателем.

В специальной литературе описания политической наркомании отсутствуют, потому, я думаю, что в современном мире встречается она не часто.

Сколько существует политика, столько же теснятся вокруг нее потенциальные наркоманы, жаждущие упиться ее дурманами. Но в обществе с устоявшимися, неважно даже какими, традициями это остается на уровне мечты. Карьеры строятся годами. На следующую ступеньку поднимается только тот, кто сумел прожить себя в деле.

Зато на переломе эпох политика становится проходным двором: заходи, размещайся — был бы хорошо подвешен язык. Послужной список? Помилуйте, он может только помешать! А оценивать результат деятельности в текущей политической жизни — занятие почти безнадежное. Ничего нет проще, чем самозванцу сойти за серьезного политика: занять большой кабинет, рассадить по местам батальон секретарей, референтов, помощников, советников, экспертов — и останется только хорошенько отрепетировать перед зеркалом улыбку и жесты.

Но невидимый гамбургский счет ведется все равно, и происходит то же, что и со всеми наркотиками: природа мстит за нарушение своего замысла. Если нет реальной отдачи, удовольствие оказывается незаработанным. Мощная энергия гормонов не поглощается теми психическими структурами, питать которые она

предназначена, и вместо того, чтобы участвовать в созидании личности, начинает ее разрушать.

О защите от политической наркомании общество должно думать ничуть не меньше, чем от фармакологической, и я бы еще задумался, какая из них приносит больше зла.

Политический наркоман бесплоден. Если использовать наше подсказанное Фрейдом сравнение, никто на нем никуда не доедет: всадник сброшен, лошадь понесла, а до повозки — застрявшей на повороте, перевернувшейся, разбившейся — ей нет дела. Но он никогда не удовольствуется второстепенной ролью, фактом своего присутствия. Он будет давить на ситуацию, поворачивая ее в сторону максимального увеличения наркотических доз. А те, кто имел несчастье соприкоснуться с наркоманами, знают, как они бывают находчивы, изворотливы и упорны, как умеют обходить препятствия и делать всех вокруг рабами своего желания.

Наркомания по-своему заразна. Демагогия, сладкие обещания, угрозы, которыми так широко пользуются политические наркоманы, вымогая у толпы свой кайф, могут быть с полным правом уподоблены таблеткам и ампулам, передаваемым из рук в руки по расширяющемуся кругу.

Наркоманами часто манипулируют — их страсть делает их удобным, легким в обращении орудием в чужих, чаще недобрых руках. И это подходит. Хотя, подозреваю, раскрыть и обезвредить такие связи куда труднее, чем факты вульгарной коррупции.

Профессиональный политик внутренне всегда готов к проигрышу. Ему есть куда отступать, он уже знает, чем будет заниматься, где применит знания и опыт. Для политического же наркомана даже незначительная сдача позиций — это натуральная катастрофа. Подобно нашим больным, способным в состоянии абстиненции на любое преступление, он ни на миг не задумается, сталкивая в бездну всю страну, если ему покажется, что этой ценой он избежит предстоящих мучений...

Но я не хочу чувствовать себя игрушкой в руках наркоманов. И не хочу верить, что это наша судьба, от которой нам не убежать.

### **Глава 3**

## **ВЛАСТЬ ОТ ЛЮДЕЙ**

## **КОГО ВЫБРАЛА РОССИЯ?**

Одной из визитных карточек президента Путина стала затянувшаяся до неприличия пауза на пресс-конференции в Давосе, следовавшая за вопросом американской журналистки Труды Рубин: «Кто он, господин Путин?»

Вопрос, как все помнят, был обращен к видным российским политикам, пользующимся на Западе особыми симпатиями и доверием. На глазах изумленной публики они разыграли целый мини-спектакль в духе театра мимики и жеста. Сначала просто переглядывались, словно бы решая, кто возьмет слово. Потом на лицах появилось выражение неловкости, растерянности. Так выглядят обычно люди, захваченные врасплох и судорожно прикидывающие, как выкрутиться. «А мы и сами еще не поняли, кто такой Пугин» или «мы-то давно это поняли, но говорить об этом нельзя» — расшифровать немую сцену можно было и так и этак.

Одно было очевидно для всех — сидящие на сцене полностью доверяют сидящим в зале и уверены в такой же доверии с их стороны. Поэтому напряжения не возникло, скандальный по сути эпизод завершился взрывом всеобщего веселья, благодаря которому сразу приобрел характер розыгрыша. Но шутка получилась очень многозначительная, с большим внутренним подтекстом.

Зачем вообще нужны предвыборные кампании? Страстное увлечение изощренными технологиями психологического воздействия на граждан увело куда-то в тень первозданный смысл того, что происходит в эти шумные месяцы, когда каждый кан-

дидат, рискуя довести публику до шока, посылает ей целую лавину сигналов.

Любой выбор, касается он определения жизненного пути или накрытия стола для ужина в ресторане, предполагает полную осведомленность обо всех вариантах, предложенных к рассмотрению. Ситуации, вынуждающие принимать решение без получения информации — покупать kota в мешке, по-русски, — считаются заведомо проигрышными, и люди всеми силами стараются их избегать.

Поэтому предвыборные сценарии строятся всегда с таким расчетом, чтобы для вопросов типа «а кто он, собственно, такой» не осталось ни малейшего места. Насколько точна и достоверна подаваемая информация, с какими гарнирами и под какими соусами ее преподносят, — это уже другая сторона дела. Чтобы эти изыски подействовали, нужно убедить избирателей, что им не приходится делать выбор с завязанными глазами, что они знают о кандидате все. Кто он, откуда, что успел совершить в своей жизни, каковы его интеллектуальные, волевые, душевные и все прочие качества.

Даже когда на выборы выходят персонажи, чьи имена давно навязли у всех на зубах, все равно процедура знакомства начинается словно бы с чистого листа. Никто не боится пересолить, в энный раз разворачивая перед избирателями свою биографию, послужной список или рисуя будущее, которое конечно же станет гораздо лучше, чем настоящее, если этот кандидат победит.

Кому это нужно? На первый взгляд может показаться, что никому. Ну в самом деле, осталось ли что-нибудь такое, чего мы за столько лет не открыли для себя в политиках, входящих в первую «обойму», — в Зюганове, например, или в Явлинском?

Однако политики знают, что делают. Состав избирателей от выборов до выборов неизменно меняется, хотя бы потому, что каждый год его пополняет подросшая молодежь. И настроения в обществе тоже меняются, вместе с общим течением жизни, и, чтобы показывать себя на таком подвижном фоне, необходимо вносить коррективы и в собственный публичный образ.

А самое, может быть, главное — это вечно присущая людям Потребность в обновлении, которая всегда ищет выхода в такой своеобразной политической процедуре, как выборы. Как хочется Время от времени делать перестановку в квартире, так же хочется И видоизменить политический ландшафт. Грандиозное шоу под Названием «выборы» возбуждает общество именно потому, что создает иллюзию открытия незнакомой, незачитанной страницы Жизни. Пусть все будет, словно впервые. По-новому взглянем на

происходящее, по-новому оценим свои перспективы. И даже хорошо знакомым людям будем благодарны, если они дадут нам возможность посмотреть на себя свежим, незамыленным взглядом.

А уж в ситуации дебюта, когда первое знакомство происходит не «понарошку», а на самом деле, естественно ожидать от претендента на высокий пост особого рвения в раскрытии себя перед публикой. Ведь он должен, что называется, выполнить пятилетку за один год — в самые сжатые сроки восполнить абсолютный информационный дефицит. В этом — огромный минус положения «темной лошадки», как это обычно называют.

Но это положение имеет и очень большие плюсы. Во-первых жажда новизны получает самое полное, исчерпывающее удовлетворение. А во-вторых, отсутствие благоприятных для кандидата сведений — особенно в российских условиях — вполне может быть компенсировано тем, что и ничего плохого о нем никто не знает. Используя эти преимущества, «темным лошадкам» удастся иногда пробудить в душе избирателей чувство, которое не случайно называется одинаково и в интимной, и в политической жизни: любовь с первого взгляда. Но для этого нужно в буквальном смысле слова ворваться в каждый дом — напоминать о себе людям в будни и в выходные, затопить их потоком книг, брошюр и листовок, заполнить эфир, а теперь уже и Интернет.

По логике вещей, только такую стратегию и должен был избрать Владимир Путин, которому предстояло за считанные месяцы вынырнуть из полной неизвестности и не просто привлечь к себе внимание, заинтриговать, но стать центральной фигурой в массовом сознании, проще говоря — народным кумиром.

Но этот путь был для него изначально закрыт. Чтобы понять причины, нам вновь придется обратиться к сложной психологической партитуре выборов.

Критерии, по которым люди выстраивают свое отношение к кандидату, очень разнообразны. Одни стараются заглянуть ему в душу, понять, что он за человек, будто речь идет о новом родственнике, входящем в семью. Другие стараются прежде всего создать мнение о деловых качествах. Кто-то зачитывает до дыр программные документы, кто-то вовсе в них не заглядывает, полагаясь больше на свою интуицию. Но цель у этой мыслительной работы одна: мы хотим представить себе, что будет со страной и лично с нами, если этот кандидат — с нашей, разумеется, помощью — одержит победу. А для этого самый простой и самый испытанный способ — сравнение. Лучше будет нам или хуже? Выиграем мы или проиграем?

Сравнить определенную величину с неопределенной — хо-

рошо знакомую реальность сегодняшнего дня с туманным будущим — очень тяжело. Но эту головоломку можно упростить, что мы чаще всего и делаем, переводя сравнение на самый доступный для нас, конкретный человеческий уровень. Вот перед нами две фигуры: нынешний глава государства и претендент на этот пост, Что между ними общего, в чем различия? И на результатах этого нехитрого анализа строим все свои прогнозы.

Поэтому вся информация, какую мы стараемся получить о претенденте, стягивается к одному узловому вопросу: каково его отношение к человеку, олицетворяющему действующую власть. К его политике, к излюбленным методам действий, к его видению проблем, стоящих перед страной. И это первое, что старается четко обозначить каждый кандидат, вступая в предвыборную кампанию.

Набор возможных вариантов тут до смешного невелик. И все они прошли на наших глазах с тех пор, как появление в нашем быту этой важнейшей демократической процедуры заставило с особым интересом присматриваться к тому, как она проходит в других странах.

Самая простая схема — когда президент, канцлер или премьер-министр переизбирается на новый срок. Так было в 1996 году у нас и в Америке. Кандидат не просто прекрасно известен народу — его знают именно в том качестве, которое он хочет за собой сохранить, так что эффект неожиданности, новизны тут сводится к минимуму. Зато степень предсказуемости возрастает до стопроцентного уровня. За человека говорят его дела.

Повторное выдвижение возможно и с пропуском одного или нескольких президентских сроков. Так произошло недавно в Румынии. Ион Илиеску на прошлых выборах был отвергнут избирателями, которым захотелось развернуться «слева направо», а сейчас они решили эту проблему по принципу «старый друг лучше новых двух».

Гор, который навсегда останется в американской истории как человек, собравший большинство голосов, но так и не ставший президентом, демонстрирует еще одну схему. Конгрессмен, сенатор, вице-президент — все ступеньки им были пройдены, осталась одна, самая высокая. Гору пришлось немало потрудиться, чтобы публика не воспринимала его как дублера Клинтона, его «второе я», и говорят, что в этом он преуспел. Но и уйти далеко в сторону он не мог, выстраивать свой имидж на резких контрастах с привычным обликом предшественника в его положении второго лица в американской администрации было бы уж чересчур странно.

Самая напряженная интрига создается, когда на политический ринг выходят кандидаты оппозиции. Поединок Коштуницы с Милошевичем поднялся до высот почти трагических из-за отчаянного положения страны. Но и в стабильных, безбедно живущих странах сильна щекочет нервы открывающийся шанс пожить по-другому — не в целом, конечно, но хотя бы в частностях. Это мы видели, когда у могучего, имеющего величайшие заслуги перед народом Коля отнял победу Шредер, возможно, и не сильнейший, но совсем другой.

Все эти схемы предполагают наличие в политической элите особого, суперэлитарного слоя, куда попадают если и не самые выдающиеся, то, безусловно, самые раскрученные. Профессиональные пиарщики утверждают, что могут точно рассчитать, сколько времени и денег потребуется, чтобы ввести политика средней руки в этот достаточно узкий круг.

Есть, однако, еще один вариант — с той самой «темной лощадкой», которая возникает в самый решительный момент вроде бы ниоткуда. Его никто не знает. О нем ничего не слышали. Он не похож ни на кого — нарушает все правила, ломает все стереотипы приличного политического поведения. Отсутствие раскрученности из серьезного недостатка превращается в главный двигатель его успеха. Воображение избирателей, ничем не стесненное в отсутствие конкретных фактов, может дать себе полную волю. От кандидата требуется одно — точно угадать в общественном сознании самые болевые точки и нажать на них таким образом, чтобы вызвать мощную волну сопереживания. Именно такое чудо, хоть и в несколько усеченной версии — президентом ведь он так и не стал, — показал нам в свое время Жириновский.

с К какой же из этих категорий отнести Владимира Путина? В том-то и дело, что ни к какой. Странное дело: у него есть точки соприкосновения с каждой из них, но вместе с тем по каким-то существенным признакам он отовсюду выпадает. Потому мне и кажется уникальным его политический старт. Впору ради него одного завести новую колонку в классификационных таблицах.

Сенсационностью своего появления в самом центре политической сцены — буквально накануне подавляющее большинство в стране о нем слыхом не слыхивало, а из тех, кому знакомо было его имя, опять же подавляющему большинству оно мало о чем говорило — Путин вроде бы повторяет модель Жириновского. Но есть принципиально важное отличие. Жириновский появился извне. Он мог подавать себя как человек, не имеющий ничего общего с системой, ни за что в ее прошлом не отвечающий и даже обиженный ею. Это полностью развязывало ему руки. Он

был волен заходить как угодно далеко в отрицании, в критике, привлекая на свою сторону всех, кто тоже негодовал и чувствовал себя недооцененным.

Для Путина этот путь был закрыт. На протяжении всей своей жизни он был человеком системы. Маленьким, незаметным, ни на что не влияющим, но все равно он не мог говорить: это я, а это — они. А в последние год-два его положение в этом смысле вообще резко ухудшилось. Он занял в управленческой иерархии самое, пожалуй, невыгодное место для перехода из мира бюрократии в мир публичной политики — руководителя одной из крупнейших структур. То, что этой структурой была именно служба безопасности, являлось значительно меньшей бедой. Будь он руководителем самого нейтрального министерства или госкомитета, в принципе было бы то же самое: в нем видели бы большого начальника, который так высоко поставлен над народом, что вряд ли может глубоко разбираться в его жизни.

А в то же время на этом посту Путин пробыл слишком долго, чтобы воспользоваться хоть какими-нибудь преимуществами модели Гора — то есть известного руководителя со своей историей, репутацией, заслугами, с памятью о важных событиях, к которым он был в свое время причастен.

Благословение Ельцина практически выбивало из рук его преемника всякий ресурс оппозиционности, не говоря уже о том, что в течение четырех, самых ответственных месяцев Путин был напрямую подотчетен президенту и вольничать никак не мог. Правда, когда начиналась операция в Чечне, можно было уловить в его речах некий глухой намек: столько лет занимались непонятно чем, довели ситуацию до ручки, но теперь немножко терпения — и все пойдет, как надо. Однако даже слегка педалировать эту тему никак было нельзя, к тому же сам ход событий потребовал вскоре переключения на совсем другой ракурс. Когда обстоятельства потребовали очень громко заговорить о международном терроризме, собственные ошибки в решении «чеченского вопроса» естественным образом отодвинулись на задний план.

Признаюсь: мне было очень интересно, какой выход найдет Путин из этой, выражаясь ельцинским слогом, психологической загогулины. Какие-то сценарные идеи приходили мне в голову, Но все по зрелом размышлении оказывались неосуществимыми. Одни — из-за лимита времени, другие — потому что главным Действующим лицом в них предполагался человек с ярко выраженным актерским началом. Необычный, с ярким, заразительным темпераментом и вербальной одаренностью, хороший импровизатор.



Но у Путина, и это было видно с первой минуты, таких дарований нет. Жечь сердца — не его дело: ни глаголом, ни демонстрацией собственных бурных переживаний. Во время своих первых появлений на публике он держался скованно, принужденно, по его виду никак нельзя было понять, что это именно он находится в центре события — и того, что происходило в данный момент, и всего грандиозного, поистине исторического события, каким всегда в России бывает смена власти.

Ельцину не надо было подниматься ни на трибуну, ни на танк, чтобы мгновенно приковать к себе внимание. А Путин временами полностью сливался с фоном: скупой жест, неулыбчивое, без ярких мимических красок лицо, взгляд сосредоточенный, цепкий, но не ищущий встречи с другими глазами. По внешнему виду — типичный интроверт, «вещь в себе».

Как же, думал я, при такой феноменальной сдержанности сможет этот человек выполнить программу, которая во всем мире считается обязательной для предвыборной страды — ораторствовать перед тысячными толпами, десятками раздавать интервью, программные или исповедальные, позировать в завлекательных клипах? А если все это у него получится плохо, бледно, невыразительно, то каким образом удастся ему заполнить информационный вакуум, дать стране возможность себя рассмотреть — и как человека, и как политика, готового принять на себя ответственность за нашу общую судьбу?

Путин меня поразил. Оказавшись в беспрецедентной ситуации, он и повел себя нестандартно. Не стал маскировать нетривиальность своего положения, наоборот — сделал ее козырем. И вопреки всем дурным пророчествам и предсказаниям — победил.

Не уверен, что все согласятся со мной. Нет ведь единого мнения о том, как и благодаря чему Путин стал президентом. В официальную российскую историю вписан рассказ о человеке, которому достаточно было получить извне первый толчок, чтобы развернуть во всю ширь свои политические таланты. Конечно, ему помогали, на него работал целый штаб, по-другому просто не бывает, но все нити сходились в его руках, и все импульсы исходили от него же. Не все, однако, принимают этот рассказ за чистую монету. Не раз приходилось слышать и даже читать, что нет на самом деле такого человека, есть некий фантом, плод коллективной галлюцинации, умело и целенаправленно вызванной.

Миф о мифе, так назвал бы я эту версию. А есть еще одна — миф о заговоре. Согласно ему, все, что происходило в предвыборный период на политической сцене, было не более чем опе-

рацией прикрытия, а решающие события имели место даже не за кулисами, а где-то в глубоких трюмах под сценой, куда вообще не проникает свет.

Эта версия, естественно, не ставит под сомнение физическое существование Путина, но низводит его на роль простого исполнителя, а то и вообще безгласного статиста, от которого не требуется ничего, кроме точного следования полученным инструкциям. Сказали двигаться — он двигается, сказали остановиться — замирает.

Поначалу казалось, что я не продвинулся никуда в работе, пока не доберусь до того зерна правды, которое бывает заложено в любом мифе. Надо же понимать, что именно ты собрался исследовать! Фантом — очень интересный объект для изучения, в особенности когда его появление приводит к таким серьезным и далеко не призрачным последствиям. Иногда фантомный образ помогает раскрыть тайну индивидуальности человека, вокруг которого образовалось это виртуальное облако. Но тут, если верить мифу о мифе, не тот случай. Если уж кто и отразился в этом причудливом зеркале, то скорее всего тот (или те), кто придумал и организовал всю эту мистерию, а потом сидел за режиссерским пультом.

Но не так-то легко выбраться из паутины мифа. Читаю, например, в журнале интервью с Глебом Павловским. Это тоже человек-легенда. Если уж он не знает, как все было на самом деле, то этого не знает никто. На все вопросы журналиста он отвечает подробно и очень доверительно, его намерение очевидно — покончить со всеми кривотолками. Никаких заговоров не было, никто не пытался зомбировать российское население. Шел нормальный политический процесс. В течение последних двух лет президентская администрация напряженно работала над проектом под условным названием «конституционный уход Ельцина». Работа шла по плану, она включала в себя сотни и сотни различных совещаний, в нее были вовлечены не только люди, прошедшие проверку на лояльность Ельцину, но и его записные недоброжелатели.

Интервьюер называет Павловского автором ключевых идей этого проекта, но тот мягко отводит от себя такую честь. Из его рассказа следует, что тот план, который в итоге был воплощен в жизнь, не был и не мог быть плодом чьего-то персонального озарения. Скорее, он выстраивался по принципу муравейника, Когда мыслей так много и они проходят такой сложный путь трансформации, что под конец уже никто не помнит, кем была Притащена та или другая былинка.

Но даже в таких условиях все равно выделяются люди особо продуктивные, принесшие наибольшую пользу. Так в свое время было с Сахаровым, когда большой научный коллектив работал над созданием водородной бомбы, и точно так теперь произошло с Путиным, несмотря даже на то, что прошлое ему мешало. Выходя из спецслужб очень сложно было войти на равных в большую группу интеллектуалов, воодушевлявшихся либеральными и демократическими ценностями. Но он это испытание с блеском прошел и еще на очень раннем этапе естественным образом оказался одним из неформальных лидеров.

Павловский не говорит прямо, что этот зримый успех, признанный узким, но очень влиятельным кругом, и сыграл решающую роль в дальнейшей судьбе Путина. Но к такому выводу интервью подводит вплотную.

Итак, прочь сомнения? Если верить Павловскому, Путин никак не может быть каким-то говорящим роботом, которым манипулируют невидимые «кукловоды». Сахаров от политики никогда не согласится на такую жалкую роль, а главное, при наличии такого человека сама роль становится бессмысленной. Но вот беда — я не знаю, можно ли верить. Разве этот рассказ «кремлевского колдуна», как величает Павловского журналист, не может быть деталью того же самого плана тотальной мистификации?

И я решил смириться. Если правды все равно не узнать, есть только один выход: положить на собственное видение как на гипотезу, которую время, независимо ни от чьих желаний, непременно подвергнет проверке. А исхожу я из самых простых вещей. Мне интересен этот человек. Мне хочется его понять, хочется разгадать загадки, которые он нам задает, — не как политик, а именно как человек, которому приходится искать способы самореализации в политике. И я точно знаю, что всего этого наверняка не было бы, будь Путин подставным лицом, вызубрившим роль в чужой пьесе. Мы можем не догадываться о причинах, но такие люди не возбуждают любопытства, не заставляют за собой наблюдать.

Проект «конституционного ухода Ельцина» стал с какого-то момента одновременно и проектом «конституционного прихода Путина». Павловский в своем интервью ничего не сказал об этом, но все ясно и так. Нетрудно догадаться, с какой тщательностью прорабатывались все детали этого проекта и какой концентрацией умственных усилий это потребовало. Но нужно ли допытываться, какое место занимал Путин в этом процессе, был ли он главным генератором идей или своего рода заказчиком, а может быть,

вообще получил план в готовом виде? Никакой потребности в сведениях такого рода я не испытываю. Для меня существенно только то, что я видел своими глазами: он целиком принял на себя исполнение этого плана, стал его мотором, его живой душой и при этом был абсолютно органичен. От кого бы ни исходили замыслы и идеи — он их принял и сделал частью своего существа. Конечно, колдуны и волшебники пиара потрудились на славу, никто не может этого отрицать. Но «делать белое черным» им не понадобилось.

У летчиков-испытателей есть испытанное правило: «Если не знаешь, что делать, — не делай ничего». Это действительно самый надежный принцип, но следовать ему чрезвычайно трудно, в особенности когда вы попадаете в тиски стресса. У будущего нашего президента это получилось. Как я понимаю, он трезво оценил свои возможности и шансы в сфере публичной политики, где был абсолютным новичком, и понял, что ему нужна особая стратегия — необычная, экстравагантная, вызывающая, на грани, а порой и за гранью допустимого. Суть ее заключалась в том, что никакой стратегии у него как будто и не было.

Вид был такой, что ему вообще некогда подумать о предстоящем — как ему заинтересовать избирателей, как им понравиться. Он даже словно бы не отдавал себе отчета в том, с каким вниманием весь, без преувеличения, мир следит за каждым его шагом. Ему, слава богу, было чем заняться, возглавляя правительство, а потом исполняя обязанности президента страны. Вот этим Путин и занимался. Работал, изредка отдыхал, совершил, никого заранее не предупреждая, несколько молниеносных бросков в разные точки — не в режиме предвыборного турне, а подчеркнуто по делу.

Ну а если рядом постоянно стояли телекамеры, если целые батальоны репортеров и обозревателей транслировали и комментировали каждый поворот в этой повседневной хронике, то это, извините, вопрос не к нему. Общество хочет знать, чем занимаются первые лица в государстве — куда выезжают, с кем встречаются, какие важные документы подписывают. Пресса обязана удовлетворять этот интерес, и закон, а теперь уже и обычай не позволяют ей в том препятствовать.

Это был гениальный по точности ход, позволивший Путину подняться высоко над всеми возможными конкурентами. Он их, кстати, жестоко унизил, сказав однажды, что ему претит самореклама в одном ряду с «Тампаксами» и «Сникерсами» — а все Другие соискатели президентской должности, выходило, именно дамским прокладкам и детским лакомствам себя, бедных, упо-

добляли. Но что еще им оставалось делать? Они были вынуждены отыгрывать от начала до конца весь предвыборный спектакль с положенным количеством актов, картин и интермедий. И только позиция Путина — позиция назначенца, казавшаяся поначалу такой невыгодной, обрекавшей его на неуспех — дала ему огромное преимущество, позволив вообще не включаться в эту игру.

Как я себе представляю, самым трудным номером публичной программы для Путина могли стать открытые дискуссии с оппонентами.

Этот жанр, как никакой другой, требует опыта, долгой психологической тренировки, в которой оттачиваются реакция, остроумие и способность к экспромтам. Когда-нибудь, быть может, Владимир Владимирович и обучится искусству словесного фехтования, но пока это явно не его родная стихия. Заметить это могли все, кто в канун 2001 года видел телетрансляцию торжественного акта вручения государственных наград в Кремле.

Известно, как чинно и благостно проходят такие церемонии. Строгий придворный этикет обязывает даже в случае внезапных сбоев делать вид, что никто ничего не заметил. Но в этот раз произошло неслыханное. Одним из награждаемых был мэр Москвы, которого, как мне объяснили, сильно задело несоответствие врученного ему ордена его месту в государстве и бесспорным заслугам. Вместо положенных слов благодарности за высокую честь Лужков бросил президенту достаточно ядовитый упрек. Путин решил поднять перчатку и попытался ответить Лужкову в тон. Но вышло это у него не слишком складно: грубо, прямолинейно, угрожающе. Вряд ли он внутренне нацелил себя именно на это. Но лучше не получилось. Если рассматривать обмен колкими репликами как некий спортивный поединок, счет явно получился один — ноль в пользу Лужкова.

А ведь то же самое могло случиться и на предвыборных теледебатах. Риск был огромный. Кто бы ни оказался по другую от него сторону барьера — Зюганов, Явлинский, Жириновский, — все они полемисты несравненно более яркие и опытные. Хотя, сказать по правде, и им до вершин далеко. Куда увереннее чувствуют они себя, выступая с сольными номерами перед своей испытанной, сочувствующей аудиторией.

Но как отказаться от словесной дуэли, если вызов будет брошен открыто? Это — безусловное свидетельство слабости претендента. Почему, в самом деле, он не хочет скрестить с соперниками мечи в интеллектуальном поединке? Не уверен в себе? Боится их превосходства? Знает, что придется столкнуться с неприятными или даже опасными вопросами, на которые не смо-

жет ни ответить, ни не отвечать? Для политика, публичный имидж которого только-только начинает складываться, любое из этих подозрений крайне неприятно.

Судите сами, насколько полезен оказался для Путина демонстративный отказ от борьбы. Даже проигрышные шаги усиливали его позицию. У кого времени избыток, тот может тратить его на что угодно. А при исполнении обязанностей президента на счету каждая минута. Да и зачем нужны эти ристалища народу, если все, что он хочет узнать, и так перед ним, как на ладони?

И этот посыл был воспринят именно так, как предполагалось в расчетах. «Молодец, правильно делает», — слышал я от многих людей, с кем случалось в те дни беседовать. Десять лет с нами происходит бог знает что, теперь надо дело делать, а не разговоры разговаривать. Даже явное нежелание Путина подписывать с обществом «протокол о намерениях» — он ведь так и не предъявил до выборов программу будущих действий — интерпретировалось в положительном для него ключе, как свидетельство особой серьезности и ответственности. Смотрите, как достойно он себя ведет: не суетится, не мельтешит перед глазами, не заискивает, не раздает пустопорожних обещаний.

Не будем забывать еще об одном экстраординарном обстоятельстве: президентская кампания по срокам практически слилась с выборами в Думу. Такого обычно никогда не делают, справедливо считая, что это противоречит законам — не государственным, разумеется, а психологическим. Не только непосредственные участники борьбы, но и вся активная часть общества, выступающая в смешанной роли болельщиков и судей, вкладывает в нее весь запас психической энергии. Сколько времени требуется на ее восстановление, сказать трудно, но наверняка больше двух-трех месяцев.

Пресс-конференция в Давосе, о которой я упомянул, приобрела широкую известность главным образом из-за молчания, последовавшего на прямой и недвусмысленный вопрос американской журналистки. Но ведь ничуть не меньшей сенсацией было и то, что такой вопрос был задан — и он никому не показался неуместным. В принципе задать его мог любой из присутствующих. «Кто есть мистер Путин» — для всех оставалось загадкой.

На полном безрыбье западная политическая аналитика взяла на вооружение сразу три варианта — трех мистеров Путиных, совершенно различных.

Один мистер Путин был своего рода троянским конем, посланным в современное политическое пространство силами разоружившегося КГБ. Сосредоточив в своих руках высшую

власть, он должен был возродить самые жесткие традиции советских времен.

Другой мистер Путин был полной противоположностью этому. Он шел к своему президентству как реформатор, намеренный завершить процесс превращения России в свободную страну, который был начат Ельциным, но затем им же заведен в тупик.

Оба этих мистера хотели разного, но в принципе собирались все в стране круто изменить. А третий в корне отличался от них обоих, и именно тем, что ничего не нацеливался менять. Он представлял интересы тех общественных сил, которые хотят консервировать установившиеся в стране порядки. Это они его рассмотрели и благословили, они сделали все, чтобы вручить ему власть.

Нечто похожее происходило и внутри страны. Аналитики Института социологического анализа опубликовали результаты исследования, проведенного буквально впритык к выборам. От обычного рейтингового зондажа оно отличалось тем, что опрашиваемые не столько сообщали о своем отношении к Путину, сколько выдавали свой прогноз — что он будет делать, став президентом. Оказалось, что российские избиратели, так же как и западные аналитики, видят перед собой несколько разных кандидатов в президенты.

Самым массовым в наших условиях оказался образ мистера Путина-два, только, разумеется, без приставки «мистер». Большинство участников исследования выразили уверенность, что в области реформ новый президент пойдет по стопам прежнего. Для значительной части опрошенных это был стимул голосовать за Путина, для других, наоборот, мотив для отказа в поддержке.

Однако в массовом сознании откристаллизовались и другие образы, никак не уживающиеся ни с реформами, ни с демократией. Правда, диктатором сталинского типа видят Путина совсем немногие, скорее это российский Пиночет, который окончательно раскрепостит экономику, но в политической области закрутит все гайки.

И ведь ни одно из этих предположений не было голословным, вот что самое интересное. Высказывая свою точку зрения, каждый мог ее чем-то подтвердить — цитатой или примером из практики. Все портреты, такие несхожие, оказывались списанными с натуры. И никакой возможности понять, какой же настоящий.

Редкостный феномен! Политиков часто упрекают в том, что их деятельность расходится с широковещательными предвыборными декларациями. У них это в порядке вещей. Но уклончи-

вость и неопределенность в период кандидатства, когда не только обывателям, но и многим профессиональным политикам и экспертам несомненный фаворит предстоящих выборов кажется «черным ящиком», человеком в маске, загадочным мистером Икс? Такого, похоже, мир еще не видел.

Даже о том, почему так получилось, можно было только гадать. Говорили, что это вполне осознанная линия поведения. Путин не хотел, чтобы к нему подходили со стандартными идеологическими мерками. Они устарели, общество уже выросло из этих партийных рамок, да и чисто прагматически — электоральные подсчеты показывали, что ни один из четко определившихся флангов не мог обеспечить большинство голосов. «Своим» нужно было стать для всех — из такого расчета и посылались во все стороны сигналы.

Если ставка делалась именно на это, то и здесь Путину сильно помогла его предельно лаконичная, малоформатная стратегия. Узкое пространство само вынуждает делать строго необходимое количество движений. Будь все поставлено так, как у Буша с Гором, даже в более скромных, по нашей бедности, масштабах, — сколько пришлось бы провести встреч, на какое множество вопросов ответить, сколько сложных и каверзных ситуаций откомментировать! В скольких мизансценах, выразительных и самоигральных, поучаствовать!

Как бы тщательно ни готовились такие публичные акции, невозможно исключить момент неожиданности, тут уж точно — человек предполагает, а Бог располагает. Надо и вправду быть роботом, чтобы в таких условиях держать под контролем свое поведение, ни в чем не отклоняясь от намеченной линии. Конечно, Путину, имея в виду его профессиональную школу, было бы проще выдержать этот искус, чем многим другим. Никакие психологические ловушки, я думаю, не заставили бы его проговориться или выдать чувства, которые он положил для себя скрывать.

Но как бы хорошо человек ни владел собой, он не может перекрыть те каналы, по которым обмен информацией между людьми идет на бессознательном уровне. При непродолжительном общении такие сигналы не доходят до сознания. Зато когда контакты становятся многочисленны и интенсивны, эти мимолетные впечатления начинают мало-помалу суммироваться, сцепляться, сгущаться. Проникая внутрь «черного ящика», они Постепенно заполняют его объем и в конце концов взрывают Изнутри.



Предвидел Путин такую опасность или нет, но избежать ее он сумел. И не только в страдные месяцы кануна выборов.

В декабре 2000 года только ленивые не занялись подведением его итогов, уповая на то, что такой анализ приоткроет перед нами тайну будущего. Как обычно у нас бывает: сколько голов, столько набирается и умов. Но на этот раз мнения показались мне на удивление схожими.

Все, не сговариваясь, назвали последний год XX века Годом Путина. Все так или иначе пояснили, какой вкладывают в эту формулу смысл. Он не равнозначен признанию того факта, что Путин стал президентом России. Ельцин тоже был президентом, однако очень многое из того, что происходило в жизни, не было связано с ним или даже совершалось вопреки его воле. Путин же сумел стать не только главным, но и единственным ньюсмейкером в российской действительности. Слова такие пока не произносятся, но речь фактически идет о том, что сегодня он — хозяин России. Насколько умелый и насколько удачливый — этого мы пока еще сказать не можем. Но уже сложилось общее убеждение, что ни по доброй воле, ни по принуждению этих своих хозяйских функций Путин ни с кем делить не будет.

Страна сегодня может двигаться только в том направлении, какое будет ей предложено Путиным. Так, по крайней мере, представляется всем, кто берется рассуждать на сакраментальную тему будущего России. Оно станет таким, как захочет президент.

При Ельцине такого ощущения не было. Ельцин мог хотеть чего угодно, но ведь видно было, что перед ним стеной стоит непримиримая оппозиция, сделавшая своим бастионом парламент, что согласование решений с губернаторами становится порой неразрешимой проблемой, а обладатели крупнейших состояний не случайно получили прозвище олигархов, поскольку им действительно удалось образовать неофициальный, нелегитимный, но вполне реальный и могущественный центр власти.

Эту сложную, неустойчивую конструкцию, полученную из рук в руки от Ельцина, Путин за считанные месяцы разрушил. Ни оппозиция, ни региональные бароны, ни бывшие олигархи, ныне смиренные представители крупного бизнеса, не являются больше силой, способной навязать президенту нечто свое, не сопдающее с его планами.

Как удалось этого добиться? Многое происходило на наших глазах: реформа Совета Федерации, изменение правового статуса губернаторов, укрощение финансовых тузов, которым отчетливо дали понять, что их богатство было слишком легко добыто, а потому так же легко может улетучиться. Было ли предпринято

что-нибудь еще, не ставшее достоянием гласности, — этого я не знаю. Но твердо уверен в одном: это вовсе не были какие-то специальные ноу-хау нового президента или его советников, до которых Ельцин, при всем его опыте и политической интуиции, не способен был додуматься.

Другое, мне кажется, мешало нашему царю Борису. Никогда, даже в самые золотые его времена, народ не проявлял безоглядной готовности идти за ним в огонь и воду. Часть общества его поддерживала, зато другая — проклинала. Можно вспомнить поименно, кто отшатнулся от Ельцина после начала шоковой терапии, кто стал его врагом после трагических событий 1993 года, кто не простил начала войны в Чечне. Второй президентский срок стал возможен только потому, что достаточное число избирателей поверили — Ельцин является наименьшим из зол.

Путин на этом фоне выглядит настоящим триумфатором. К концу года все попытки проанализировать, что на самом деле стояло за его ошеломляющим успехом, приобрели чисто академический характер. Рейтинг президента не просто рекордно высок: он еще и сверхъестественно устойчив.

Послушать экспертов — Путин постоянно допускает ошибки, да и судьба не особо ему благоволит. Одной трагедии «Курска» с лихвой хватило бы, чтобы, как писали в те дни газеты, авторитет президента упокоился на дне студеного Баренцева моря. Но ничего подобного не случилось.

Кривые популярности Ельцина напоминали температурный листок лихорадящего больного. Ельцин отвечал за все — и за то, в чем и вправду был виноват, и за то, к чему вовсе был непричастен. Путин может делать что угодно, может не делать вообще ничего — отношение к нему не охладевает ни на градус.

Невольно приходят на память события десятилетней давности, тот особый настрой массового сознания, который я тогда назвал «ожиданием Избавителя». Получается, что этот страстный призыв был, наконец, услышан. Россия обрела своего Моисея! Он оказался совсем не таким, каким рисовало его воображение. Ни величественного облика, ни громовых, зажигательных речей, ни умения воодушевлять огромные толпы. И появился он как-то слишком уж тихо, прозаически, без всяких знамений. Но зачем настоящему Моисею эти театральные эффекты? Главное для него — это чувство выпавшей ему миссии, вера в свои силы и способность увлечь этой верой народ. Зачатки этого комплекса в Путине угадываются.

Одно смущает. Библейский Моисей был не только вождем,

но и пророком. Он видел будущее и делился со своим народом тем, что открывалось ему в общении с Богом.

Не в полном объеме, правда. Были важные подробности, которые предводитель евреев от них утаил. Он не сказал, сколько времени придется идти, не произнес вслух страшного зарока, касающегося судьбы тех, кто родился в рабстве. Нельзя упускать из виду еще одну примечательную деталь. Предание упорно подчеркивает, что Моисей был косноязычен. Его слова доходили до народа через брата Аарона — переводчика, а одновременно и толкователя всех высказываний.

И все же никак нельзя сказать, что люди пустились в путь с закрытыми глазами. По крайней мере, как выглядит обетованная земля и что ожидает там пришельцев, все ясно могли себе представить еще на территории Египта. Потому, собственно, и пошли. Не так ли?

Наша ситуация в этом пункте разительно отличается от библейской. С тем же единодушием, с каким все СМИ присвоили 2000 году имя Путина, было отмечено, что и о самом герое, и о его планах мы по-прежнему знаем только то, что ничего не знаем.

Конечно, объем наличной информации за год значительно вырос. Но ни сам президент, ни многочисленные толкователи его слов и действий не подают никаких знаков, необходимых для ее точной и недвусмысленной интерпретации.

Любой президент, явившийся на смену Ельцину, должен был заняться срочным ремонтом государственной машины, которая плохо слушалась руля и постоянно угрожала водителю и пассажирам неприятными сюрпризами. Эта грань деятельности Путина понятна всем. То, что мы увидели за год, внушает уверенность, что он справится с разболтавшимися механизмами и слишком много времени ему на это не понадобится. Но куда он двинется потом? Назад, туда, где Россия уже побывала? Или вперед, к новому, свободному состоянию, никогда ею прежде не испытанному? А может быть, никакого движения вообще не предусмотрено, обетованной землей будет объявлено то место, где мы находимся сейчас, а надежность машины должна будет послужить всего лишь предотвращению кризисов?

Ни один из трех мистеров Путиных, образовавшихся в общественном мнении накануне выборов, не одержал решительной победы над двумя другими. И ни один не отступил под натиском более убедительных версий.

Создается, однако, впечатление, что странной и неестественной эта ситуация кажется лишь тончайшему слою интеллекту-

альной элиты общества — мыслящим политикам, аналитикам, экспертам. Народ воспринимает ее совершенно спокойно.

Как это можно объяснить? Горькие слова на этот счет я тоже нашел в одной из предновогодних публикаций. Там сказано, что народ в России поддерживает власть без всяких предварительных условий: просто потому, что она власть. Был олицетворением власти Горбачев — кричали «ура» Горбачеву. Появился Ельцин — и это верноподданническое чувство переадресовалось ему. Теперь пришла очередь Путина — вот и весь бином Ньютона. В подтверждение этой далеко не новой мысли процитирован один из бывших ельцинских, ныне путинских приближенных: «Мы даже сами не осознавали, каким огромным ресурсом власть обладает просто по определению! Да если бы нужно было, мы еще десять Путиных могли сменить на посту премьера и всех спокойно «раскрутить» в преемники — никто бы не пикнул! Просто не надо было сомневаться в силе власти».

Такая логика представляется мне слишком уж топорной. Чтобы принять ее, нужно забыть о том, как стал президентом Ельцин, — вопреки очевидному для всех сопротивлению Горбачева, нужно забыть о проблемах с популярностью самого Ельцина, которые — это мое врачебное мнение — слишком рано подорвали его могучий, на сто лет рассчитанный организм.

«Огромный ресурс» у российской власти, о котором говорит кремлевский царедворец, действительно существует. Благодаря ему власть может безнаказанно совершать ошибки, решать свои проблемы за счет граждан, обманывать и делать еще многое другое, за что в других странах ей пришлось бы жестоко поплатиться. Но это вовсе не ресурс слепой любви и нерассуждающего доверия, а в сегодняшних условиях — даже не проявление хрестоматийной российской покорности и векового терпения.

Общаться с государством на равных, а при случае и требовать его к ответу способно только гражданское общество — с четким взаимодействием групп интересов, с разветвленными структурами, со стихийной, но по сути самой надежной системой выдвижения лидеров от низового до самого высокого уровня. А в России власть и по сию пору имеет дело с населением аморфным, разобщенным, придавленным трудностями повседневного быта и раздираемым собственными внутренними противоречиями.

Однако не случайно даже те, кто в глубине души продолжают считать эту огромную человеческую массу полностью управляемой, несамостоятельной, ведомой — быдлом, называя вещи своими именами, — признают, что сегодня уже невозможно навязать ей правителя, как это было всего лишь пару десятилетий

назад с любыми представителями партийной или советской номенклатуры. Самые отъявленные циники признают, что нужную фигуру необходимо «раскрутить», то есть создать убедительный образ, соответствующий массовым пожеланиям и надеждам.

Может ли этот образ быть расплывчатым, неопределенным? Едва ли. Любая недосказанность в ситуации выбора сразу же внушает людям огромное недоверие ко всему предприятию. Остается, следовательно, предположить, что все вопросы, на которые от Путина не поступает прямых ответов, кажутся первостепенными лишь тому скромнейшему меньшинству, которое подходит к политике с профессиональных позиций. А для того большинства, которое руководствуется обычными, житейскими представлениями о добре и зле, своего рода внутренним зрением, никаких загадок нет. Либо оно сумело по-своему определиться в том, какой из трех Путиных настоящий, либо вообще не стало этой проблемой озадачиваться, поскольку она для него — вовсе не ключевая. Есть нечто неизмеримо более важное, что было увидено или угадано в Путине, и до сих пор он не дал повода усомниться в том, что угадано было верно.

И самому президенту, судя по всему, дело представляется именно так. Он ясно продемонстрировал это, когда шел спор о возвращении старого советского гимна. Помните, с какой великоколепной уверенностью сказал он, защищая позицию поклонников музыки Александрова и одновременно свою собственную: «Я и народ»? Не думаю, чтобы он мог прибегнуть к этой горделивой формуле, если бы не был полностью уверен в ее истинности.

Как и все, что связано с новым российским президентом, этот его глубинный союз с народом тоже складывался и развивался очень необычно.

## **ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ**

Во многих архаических культурах таинство принятия верховной власти мыслилось как более высокая и значительная форма другой священной процедуры — вступления в брак. В русской традиции даже символика в обоих случаях совпадала, и слова употреблялись одинаковые. Венец, венчаться. И государь венчается на царство, и супруги венчаются, вступая в совместную жизнь.

Потребность сопроводить священным обрядом переход в брачное состояние сохраняется и поныне. Из государственной жизни такие ритуалы пришлось удалить. Венчание предполагает пожизненность взаимных обязательств и становится неумест-

ным, когда власть вручается на строго оговоренный законом срок. Однако мы все почувствовали бы какую-то пустоту, незавершенность, если бы глава государства приступил к своим обязанностям так же буднично и обыденно, как мы приходим на новую работу — с такого-то числа, согласно приказу. Поэтому в светской церемонии инаугурации, принятия присяги, в том, как она обставляется, какие пробуждает чувства, нетрудно заметить множество сакральных знаков, превращающих эту процедуру, никакого практического смысла не имеющую, в настоящий обряд.

Разматывая дальше клубок этих аналогий, мы дойдем до психологических механизмов, которые лежат в основе обоих союзов — союза двоих, мужчины и женщины, и союза одного человека с миллионами, то есть лидера с народом. Они в обоих случаях если и не абсолютно одинаковы, то во многом схожи.

При всех изменениях, какие произошли в понимании жизни под влиянием сексуальной революции, благословенными по-прежнему считаются браки, которым предшествует длительное знакомство. Будущие супруги должны раскрыться друг перед другом, узнать, кто есть кто, убедиться, что мыслят одинаково и хорошо понимают друг друга. Иначе быть беде.

Однако и за скороспелыми свадьбами, когда эта обязательная прелюдия пропускается или комкается, не всегда стоит легкомыслие или чудачество. Бывают особые душевные состояния, которые даже самых серьезных, положительных людей подталкивают к нарушению веками освященного порядка.

В переводе на язык любви наша политическая ситуация, связанная с приходом нового президента, напоминала бы, очевидно, сюжет мыльной оперы. Помолвка, предшествующая знакомству. Любовь, опережающая узнавание. Для полноты картины следовало бы еще добавить, что невесте вовсе не угрожала опасность остаться одинокой. Были и другие претенденты на ее руку и сердце, и она самым серьезным образом размышляла, кого из них предпочесть.

Если верить Сергею Доренко, Путин говорил ему, что внезапный поворот в своей судьбе считает случайным. Это может относиться к чему угодно, но только не к вспышке вызванных Им эмоций. Ничего случайного в психике не бывает.

Первая из наиболее важных предпосылок народной любви к Путину к нему самому никакого отношения не имеет. Страна Устала от Ельцина, терпела его, стиснув зубы, просто потому, что не видела способа от него избавиться. Когда оппозиция пыталась Провести в Думе решение о начале процедуры импичмента, ей

не хватило голосов. Но в те же дни в обществе сложилось настроение, которое социологи называли «народным импичментом». Почти две трети граждан высказывали твердое мнение, что президент должен добровольно подать в отставку. А когда в самом конце года он объявил о своем уходе, только 4% опрошенных сказали, что это вызвало у них сожаление.

Аналитики отмечали, что общественное мнение приписывает президенту персональную вину за все неудачи и беды, переживаемые людьми. Список, естественно, получался огромный — от денег, сгоравших в череде кризисов, начиная с 1992 года, до разгула криминальной стихии. Я же подметил еще более тонкое психологическое явление: нарастающая нелюбовь к Ельцину заставляла людей с особым нажимом говорить о плохом и отрицать даже безусловно хорошее. Не может быть ничего положительного, никаких успехов, никаких сдвигов к лучшему, когда в Кремле сидит такой президент!

Особенно тяжелы были годы окончательного заката, когда последние силы Ельцина съедала болезнь. Даже государственные мужи, обязанные поддерживать если не личный, то хотя бы статусный авторитет носителя верховной власти, усвоили в разговорах о президенте особый многозначительный тон — ну что, мол, от него еще ожидать. Не могу вспомнить ни одного президентского решения этого периода, которое было бы поддержано общественным мнением. Все тут же перетолковывалось в дурную сторону или, того хуже, приписывалось хищным проискам пресловутой «Семьи».

Уже после отставки, в январе 2000 года, ВЦИОМ провел прощальный, итоговый опрос. Что хорошего принесли годы правления Ельцина и что принесли они плохого?

С «плохим» — все понятно. Экономический кризис, ухудшение условий жизни, безработица, чеченская война, распад СССР, казнокрадство, неуверенность в завтрашнем дне — все это реальные приметы ельцинского десятилетия, и они навсегда останутся впечатанными в народную память, так же как, например, пожар Москвы в 1812 году. Но сам по себе пожар не вспоминается, а только как часть другого, величайшего события в национальной истории, как дорогая, но необходимая плата за спасение чести страны, за избавление от рабства, поэтому ужасное бедствие предстает потомкам в ореоле высокой жертвенности и героизма.

А в отношении к тяготам и страданиям последних лет черный цвет практически господствует. Не было у нас никаких приобретений, никакого высшего смысла потери не имели! Нас заставили заплатить собственной шкурой неизвестно за что. Почти поло-

вина опрошенных твердо высказалась в том смысле, что вообще ничего хорошего годы правления Ельцина не принесли.

А как же демократия, политические свободы? Разрушение тоталитарной системы? Исчезновение дефицита, карточек, очередей? Свобода действий для энергичных людей? Все эти подсказки в опросном бланке были, но вызвали они поразительно вялый отклик. Даже демократия не считается абсолютным нашим завоеванием. Что в ней ценного, если, судя по этому опросу, ее приветствует меньше четверти российских граждан!

Но именно эти цифры содержат в себе подсказку — как следует интерпретировать открывшуюся глазам картину. Когда те же вопросы задаются в иной редакции, безотносительно к имени Ельцина, — какой вы видите будущую Россию, в стране с каким государственным устройством хотите жить и т. п. — мнения распределяются совсем по-другому. Поэтому было бы большой ошибкой считать это голосование зеркалом политических настроений российского общества. Перед нами иной феномен, разобратся в котором можно только с позиций психоанализа: классический, хрестоматийный эксцесс отцеубийства.

Ельцин не ушел вовремя! Пусть даже на то были важные причины, не оставлявшие ему возможности выбора: для коллективного бессознательного все эти обстоятельства, все стратегические и конъюнктурные расчеты — пустой звук. Существенно только то, что время пришло: старый отец сохранил свои позиции до момента, когда подросли сыновья. Когда они ощутили свою силу, накопили достаточный заряд злобного протеста и агрессии. И то им пришлось потерпеть, потомиться в раздражающем нервы ожидании, пока у них не появился достойный их замысла предводитель, лидер атаки — один из них!

В этом символическом качестве Путин был распознан, узнан и признан немедленно — на уровне простейшего, чувственного восприятия. Он мог говорить что угодно, мог вообще молчать — вполне хватило бы лицемерия его молодости и здоровья.

В течение нескольких лет утренний приезд президента на работу подавался информационными каналами как актуальная политическая новость, и баловали нас ею далеко не каждый день. Каким же огромным удовольствием было после этого наблюдать, в какой прекрасной форме держится его вероятный преемник, — как стремительны его передвижения, как лихо катается он на горных лыжах, какой высокий темп задает своей жизни.

Нелюбовь к свергнутому отцу водружает для сына высокий пьедестал — любое проявление толкуется в пользу молодого как знак его безусловного превосходства над старым.



При очевидной скудости живых деталей, из которых воображение могло лепить образ нового героя, каждый штрих шел в дело, каждая подробность поведения приобретала значение Поступка, в котором личность выражает себя полностью.

Вспоминаю, какой колоссальный резонанс получило появление Путина на похоронах Собчака, едва ли не затмившее в массовом сознании сам факт ухода из жизни этого яркого человека. Ну никак не хотелось людям толковать этот жест приземленно, как исполнение элементарного человеческого долга. Ни в коем случае! Это был настоящий подвиг дружбы и верности! Особенно в наши дни, когда все думают прежде всего о собственной выгоде. А уж для Путина демонстрировать свою преданность было не просто невыгодно, но даже и небезопасно.

Кто же не знал, что Собчака травили, что у него были могущественные враги. Если даже предположить, что и. о. президента был для них недостижим, то все равно серьезный риск оставался для предвыборных планов. Собчак был одной из тех крупных знаковых фигур, отношение к которым служит лакмусовой бумажкой. Ассоциировать себя с ним значило дразнить дракона в лице тех избирателей, которые вместо «демократы» говорят «дерьмократы».

Путин же ни с чем не посчитался, не унизил себя никакими расчетами — ни мелочными, ни стратегическими. Как же не подвиг? Но оценить его в полной мере опять-таки помогало прямое сравнение с Ельциным, которому часто ставилась в вину та легкость, с какой он расставался с близкими, как считалось — безоговорочно преданными ему людьми. Многим в те дни пришла на память история с Коржаковым — не как событие политической жизни, а как эпизод личных отношений двух людей, в котором бездушность и своекорыстие возобладали над обязательствами дружбы.

Великолепную по выразительности таблицу опубликовал тот же ВЦИОМ, попросивший своих респондентов нарисовать два портрета — Ельцина и Путина. Контраст получился — как на старинной рекламе «Кушает «Геркулес» — не кушает «Геркулес».

Только опытность в политической и хозяйственной деятельности хоть как-то возвышает Бориса Николаевича над Владимиром Владимировичем. Во всем остальном с высоты, на которую возведен большой и сильный Путин, почти не видным становится маленький и неумелый Ельцин.

Молодой президент имеет трехкратное и даже четырехкратное преимущество по всем позициям, характеризующим его как

политика: по четкости и последовательности политической линии, по профессиональным и интеллектуальным качествам, по стремлению к порядку и законности, по государственному подходу к решению проблем, по готовности защищать интересы простых людей.

Еще более выдающимися выглядят в этом сравнении свойства личности Путина, которые тоже заметно отражаются на судьбе страны. По сдержанности и рассудительности он превосходит Ельцина почти в семь раз, по честности и порядочности — в четыре с лишним раза, по умению связно излагать свои мысли — и вовсе в одиннадцать раз. Путин активнее, энергичнее, мужественнее, бескорыстнее, культурнее, образованнее, он даже более открыт и доступен! Больше всего сразил меня пункт, касающийся личного обаяния. Ельцин, чью магическую выразительность признавали всегда даже его заклятые враги, даже в этом, оказывается, не может тягаться со своим символическим сыном!

С Ельциным мы прожили огромный кусок нашей жизни. Каждый, наверное, мог бы составить целую книгу из своих впечатлений о нем. С Путиным съедены только первые щепотки из необходимого для постижения человека пуда соли. Естественно было ожидать, что составление его портрета окажется для участников опроса неизмеримо более трудной задачей. Так нет же! Вместе с теми, кто не находит у Ельцина ни одного из перечисленных достоинств, доля затруднившихся ответить составила какое-то фантастическое число — 60%! А вот у Путина аналогичный показатель равен всего 16%.

Предложив сравнить эти две фигуры, организаторы исследования невольно включили бессознательные механизмы, побуждающие людей хотя бы в такой условной, знаковой форме проиграть еще раз вечную драму отцеубийства. Мы расправляемся со старым предводителем — хотя бы эмоционально, выплескивая свое к нему крайнее неуважение и подчеркивая свой энтузиазм по отношению к тому, кто занял его место. Такой разительный контраст — это тоже способ унизить, причинить душевную боль.

Достается попутно и всем другим низвергнутым отцам. Перед мной еще одна яркая социологическая таблица — с оценками по пятибалльной шкале всех российских лидеров XX века. Здесь все, чьи лица мы видели в составе арбатской матрешки, но еще и с Николаем II и Юрием Андроповым в придачу. Путин — абсолютный чемпион в этом перечне. Лишь по лидерским качествам, и то ненамного, он уступает Ленину и Сталину, а по человеческим вообще уверенно обгоняет всех. А вот Ельцин — абсолютный аутсайдер, по обоим позициям. Слабее и хуже его в

нашей истории не было, оказывается, никого. Не слишком далеко ушел от него Горбачев, но и к нему проявлено чуть больше тепла и уважения. Хрущев и Брежнев — тоже далеко не фавориты, в среднем они еле-еле вытягивают на троечку, но и они дают Ельцину фору в целых полбалла!

Увидев эти данные, я сразу предположил, что без этого давящего на подкорку фактора реакция общественного мнения на Путина должна оказаться более спокойной и объективной. Так и получилось.

«Что Вас привлекает в В. Путине?» Доминирующая позиция — энергичность, решительность, волевые качества. Таков ответ примерно половины опрошенных. На уровне 20% — достоинства, близкие по характеру: способность навести порядок в стране, проводимая политика в Чечне, несколько шире — качества настоящего лидера. А дальше в таблице обозначается резкий спад. И принципиальность, вместе с честностью, порядочностью и бескорыстием, и политическую дальновидность, и сакраментальное понимание нужд простых людей числят за Путиным меньше, чем каждый десятый.

Такая прохладность в оценках легко объяснима. Люди не то что отказывают президенту в этих качествах — у них просто не было случая проверить и убедиться. Трезвость проявлена даже в теме, ставшей одной из самых болезненных на изломе ельцинской эпохи, — к теме «серых кардиналов», фактических, хотя и необъявленных правителей страны. Могу себе представить, с каким мстительным удовольствием подчеркнули бы участники опроса пункт анкеты о проведении новым президентом политики, независимой от окружения Б. Ельцина! Но — на нет и суда нет: польстить своим ответом Путину решились из них всего 2%.

Социологический инструментарий слишком прямолинеен и жестковат, чтобы с его помощью выносить суждения о тонких эмоциональных переливах. Но общее представление о происходящем в этой области составить можно, создав своего рода стереоскопический эффект за счет совмещения результатов разных исследований.

Такая возможность у меня есть. Беру данные опроса, в ходе которого людям было предложено выбрать слово, наиболее подходящее для выражения их чувств к президенту. Два крайних, ярко окрашенных полюса — «восхищение» и «антипатия» — оказались почти никем не занятыми. 3%, 2% — величины малозаметные. Не много нашлось и людей, которым Путин безразличен. Отношение подавляющего большинства можно охарактеризовать

как спокойно-благожелательное, хотя и с заметной примесью настороженности. Самой востребованной оказалась наиболее аморфная формулировка: «не могу сказать о нем ничего плохого».

А вот материал, не имеющий прямого отношения к Путину, разве что собран он был в январе 2000 года, когда это имя было у всех на языке. Социологи центра РОМИР попытались выяснить, каким россияне видят или, точнее, хотели бы видеть своего президента. Ключевой вопрос был поставлен в форме «от обратного»: с какими недостатками лидера страны люди согласны примириться и какие, следовательно, для них категорически неприемлемы.

Удивительную картину рисует этот опрос! Несмотря ни на какие соображения реальности, в душе наших граждан продолжает жить идеальный, очищенный от всяких недостатков и изъянов образ отца нации. Почти каждый четвертый из числа респондентов проявил абсолютный максимализм, отказавшись уступить хотя бы в одном пункте. Эти люди не проявили снисходительности даже к внешним и физическим данным гипотетического президента. Он должен быть красив, обаятелен, достаточно молод и здоров, свободен от вредных привычек.

К слову сказать, и более рассудительные участники исследования проявили повышенную чувствительность к внешнему облику лидера. Правда, степень требовательности тут не такая высокая, как по отношению к свойствам личности и деловым качествам, но все равно 60% ответов прозвучали очень определенно: человек с неприятной внешностью для нас неприемлем! Это наталкивает на мысль, что «сырье» для построения этого виртуального образа черпается не в историческом опыте, а скорее в обширном банке художественных впечатлений. Искусство, в особенности кинематограф, дали нам последовательное воспитание: сокровища души по-настоящему воспринимаются только в эстетизированной, облагороженной оболочке.

Если же говорить о критериях, с которыми граждане подходят к человеческой сути лидера, то они вплотную приближаются к потолку. 96 процентов участников опроса убеждены, что президент не может быть эгоистом. Еще более нетерпимое отношение к некомпетентности и нерешительности. И самое категорическое неприятие встречает непорядочность — качество, которое в условиях политической жизни труднее всего поддается диагностике. Тем не менее лишь один человек из ста готов простить главе государства поступки, несовместимые с мерками порядочности.

Респонденты часто проецируют на президента свои собствен-

ные политические убеждения. Коммунистам хочется, чтобы он был коммунистом, либералы настаивают на его либеральной ориентации, есть даже монархисты, хоть их теперь в России совсем мало, которые согласны видеть в главе России только своего единомышленника. Самую представительную группу составляют сейчас те, для кого проблемы идеологического размежевания не актуальны. Достаточно широко распространена и такая точка зрения: лидер страны вообще не должен примыкать ни к одному из существующих в обществе политических течений, ему надлежит быть своим для всех. Но все эти пожелания выглядят как второстепенные, дополнительные по сравнению с предельно жестким подходом к личности президента.

Мне кажется, что во время заполнения этой социологической анкеты на мгновение актуализировалась мечта о добром и справедливом царе, притаившаяся где-то в самых глубоких пластах души народа.

Преданность этой мечте сама по себе не является признаком наивности или чрезмерного идеализма. Будь вопрос поставлен по-другому, отвечавшие, я уверен, продемонстрировали бы полное понимание того, что их эталонные запросы нежизненны. Нельзя требовать от людей совершенства, даже если это президенты! Поэтому в практических делах, например, при голосовании, планка опускается: избиратели очень даже мирятся с недостатками кандидатов, заранее отпускают им всевозможные грехи.

Но социологи спрашивали не об этом. Они апеллировали не к здравому смыслу, не к фажданскому опыту респондентов, а к их эмоциям. И получили соответствующий ответ.

Эта информация помогает проникнуть во внутренний мир участников первого эксперимента, подбиравших слова для выражения своих чувств к только что избранному президенту. Они ничего не преуменьшили и не преувеличили. Для их эмоциональной реакции самое точное название — сдержанная, выжидательная. Негативные оттенки почти не улавливаются, но нет и особой теплоты. Это кажется вполне естественным, когда вспоминаешь, какому суровейшему экзамену подвергает всех действующих политиков немеркнущая российская мечта. С таких позиций даже «не могу сказать ничего плохого» звучит как достаточно весомый комплимент.

Придется, однако, внести некоторые коррективы в нашу первоначальную романтическую метафору. Помолвка, предшествующая знакомству, действительно была. Но о любви, опередившей сложный этап узнавания, я бы говорить поостерегся. Анализ, который мы только что провели, подсказывает, что хоть невеста

в конце концов действительно согласилась пойти под венец, толкнула ее на это вовсе не внезапно вспыхнувшая влюбленность.

Правда, предпосылки для этого существовали, и комментаторы, вспоминая по этому случаю Пушкина («Ты в сновиденьях мне являлся, Незримый, ты мне был уж мил»), толковавшие о «женском типе ожиданий» и о «вечно бабьем», по Бердяеву, в душе России, — комментаторы эти были не так уж и не правы. И все же для женщины, охваченной романтическими переживаниями, наша невеста показала себя слишком хладнокровной и трезвомыслящей.

Она не занялась самовнушением, приписывая своему избраннику свойства, милые ее душе, не стала делать сама перед собой вид, что знает его лучше, чем это есть в действительности. Эйфорический период, если он и был, продолжался не слишком долго — до тех пор, пока каждое новое свидание приносило какие-то открытия и сюрпризы. Но вскоре стало понятно, что ничего неожиданного, будоражащего больше не будет. И уже к моменту голосования главенствующий мотив половины избирателей Путина отдавал даже некоторой обреченностью: так, мол, сложилось, другого выбора у страны нет.

Этот момент можно было оттянуть, если бы избирательная кампания Путина велась более эффектно и изобретательно. Но будущий президент, как известно, этого принципиально избегал. Мне запомнились его слова о том, что он вовсе не считает счастьем для политика пылкую любовь народа, поскольку от нее до ненависти — даже не шаг, как говорят об обычной любви, а меньше шага.

Однако, как подсказывает житейский опыт, романтическая подоплека не так уж и обязательна при заключении брака, да и не служит она надежной гарантией его длительности. В основе огромного количества супружеских союзов лежит расчет, серьезный или пустячный, осознанный или неосознаваемый. Брак способен решить множество самых разных жизненных проблем — материальных, статусных, бытовых, а еще больше — психологических.

О чем говорит поведение нашей невесты? Проблем у нее немало, одна острее другой. Да что там, она попросту несчастна. Понадеяться, что ее нареченный поможет ей справиться со всеми, едва ли она могла: для этого их знакомство было слишком поверхностным. Но ведь достаточно было и того, что брак обещал снять хотя бы одно из этих мучительных затруднений. Какое

именно — я и попытаюсь разгадать. Пока же у меня есть только подсказки.

Проблема, о которой идет речь, очень серьезна, это нечто такое, что действительно затрагивает базовые условия существования. На такое предположение наталкивает хотя бы состав голосовавших за Путина, напоминающий своей пестротой библейский ковчег. Кто хоть раз присутствовал на широких политических дискуссиях, знает, что российские коммунисты ни о чем не способны договориться с российскими либералами. Их разделяет настоящая ментальная пропасть. Ради Путина тем не менее достаточно большое количество коммунистов изменили Зюганову, а многие либералы бестрепетно отвернулись от Явлинского. Для электоратов этих двух политиков характерен высокий идейный дух. Больше половины в каждом утверждают, что голосуют не столько за личность, сколько за программу, за воплощенные в ней высшие ценности. А среди тех, кто обеспечил победу Путину, лишь немногим оказалась важна его программа, не все даже поинтересовались, есть ли она у него вообще.

В самом деле, сравнение с Ноевым ковчегом оказывается очень уместным. Если существа разных пород забывают о своей врожденной несовместимости и начинают искать поддержки друг в друге, причина должна быть чрезвычайно важной и всеобщей.

Год назад еще можно было сомневаться: не произошло ли ошибки, не обманывается ли невеста в своих ожиданиях, не принимает ли она кукушку за ясного сокола? А может, с ней вообще сыграли злую шутку, запутали, заморочили, внушили ложные надежды или попросту подпоили? Но сейчас появился решающий аргумент — время. Обман, да и самообман не могут длиться долго. Даже приворотные зелья имеют ограниченный срок действия. Отсюда моя вторая подсказка: ожидания сбылись. Брак обеспечил то, на что невеста рассчитывала.

Многих это приводит в недоумение: что же он мог обеспечить, этот брак, если практически ничего не изменилось? Жизнь не стала ни лучше, ни веселее, новых кардинальных решений президентская власть не принимает, кризис чуть ослабил свою хватку, но и это не потому, что экономика начала выздоравливать, всего лишь навсегда увеличился приток нефтедолларов. Как сильно занимает аналитическую мысль этот вопрос, я понял по тем же публикациям, подводящим итог Году Путина. С поразительной синхронностью все они сформулировали, словно бы проштемпелевали, один и тот же вывод: президенту был выдан кредит доверия, но срок выплаты еще не истек. Однако, как говорится, еще не вечер.

Меня такое объяснение не удовлетворяет. Во-первых, при выдаче кредита никакие сроки не назывались, чтобы теперь кротко их соблюдать. А во-вторых, характер кредитора, каким он мне представляется, вовсе не располагает к такому долговому пустому ожиданию. Он очень даже нетерпелив! Год для него — срок немыслимый. До действий, возможно, дело бы и не дошло — есть у него такая особенность, мы с вами о ней уже говорили, — но уж эмоциональное состояние у него давно бы поменялось, и это сразу бы отразилось на президентских рейтингах, валом пошли бы ядовитые анекдоты, а тех, у кого сложилась репутация противников президента, затопила бы горячая волна сочувствия — независимо ни от чего.

Вот почему и складывается у меня впечатление, что речь идет вовсе не о кредите или не только о нем. Похоже, что исполнения желаний не пришлось откладывать на неопределенное будущее. В чем-то очень важном они сбылись уже сейчас, за минувший год, а возможно, и раньше. При таком условии стабильность эмоционального фона выглядит вполне оправданной.

Третья же существенная подсказка вытекает из того, что откуда мы ушли с новым президентом, там же находимся и сейчас. Он работал, как проклятый, похудел, кожа на лице обтянулась. Три месяца, признался он в конце лета, состарили его на десять лет. Но все силы ушли у него на одно — на починку и переналадку государственной машины. А места своей стоянки она до сих пор так и не покинула. Поэтому кажется маловероятным, что та жгучая проблема, решение которой связалось в умах с приходом Путина, вещественна и материальна. Она не должна входить в привычный перечень язв российской жизни, типа нищеты, преступности, коррупции. Единственно возможное для нее место — область душевных переживаний, область психологии. Там ее и надо, следовательно, искать.

Для начала не грех воспользоваться чужими наработками.

Убедительно звучит, к примеру, версия, которую выдвигает Глеб Павловский. Да и кому, как не «кремлевскому колдуну», держать руку на пульсе общества?

Еще за год до выборов, раньше, чем страна узнала о Путине, говорит Павловский, в народе окончательно возобладало мнение, что дальше жить без государства нельзя. Это настроение шло из глубины, от самой земли, и кто бы ни встал ему поперек, был бы сметен. Путин не был инициатором этого процесса. Он лишь его катализировал и четко обозначил свое место и свою роль в его логическом развитии и завершении.

Жажда «сильной руки» — так определяет Павловский глав-



ную проблему массового сознания. Россия попробовала свободу на вкус, и свобода оказалась ей не нужна. Она смертельно затосковала по тем временам, когда все нити управления общественной и частной жизнью государство держало в своем железном кулаке. Не буду сейчас вдаваться в подробности, но симптомы такие в последние ельцинские годы действительно появились.

Суженый, являвшийся в сновидениях нашей невесте, был как бы апостолом этой государственнической идеи. Он представлялся ей сильным, энергичным и решительным. И когда именно такого человека, с первого взгляда показавшегося сильным, энергичным и решительным, она увидела перед собой, когда именно на таком языке он с ней заговорил, заветные слова: «Это Он!» — вырвались у нее сами собой. Она даже интересоваться не стала, что он собой представляет помимо этого.

Все как будто бы сходится. Остановка только за тем, чтобы объяснить, что скрывается в оболочке этого влечения к сильному государству. Нет у людей такой психологической потребности и быть не может. Государство — инструмент, это действительно машина, нужная для достижения определенных целей, и ничего больше. От него исходит то, что противно человеческой природе, — насилие, принуждение, ограничение свобод.

Можно создавать, что это необходимо. Можно относиться к государству с уважением, даже с почтением, если оно того, конечно, заслуживает. Можно дисциплинированно подчиняться всем его повелениям — и испытывать радость, ощущая себя добропорядочным гражданином. Но не может оно быть объектом любви и задушевных мечтаний, это было бы противоестественно. Поэтому я готов признать, что Павловский прав, явление, о котором он говорит, действительно существует, но ведь он ничего не объяснил.

Какая нужда заставляет людей призывать на свою голову эту жесткую, а возможно, и жестокую, негибкую, неповоротливую громаду? Неутоленная потребность в безопасности? Поиск спасения от гнетущих страхов? Или перед нами массовый приступ мазохизма?

Предлагает свою версию и профессор Юрий Левада, руководитель ВЦИОМа, большой социологический авторитет, к мнению которого я неизменно прислушиваюсь. Как и всегда, его выводы покоятся на глубоком, высокопрофессиональном анализе, и выводы эти очень тревожны.

Первоначальный успех Путина в качестве премьер-министра и преемника президентской власти был бы крайне проблематичен без той воинственной, агрессивной, в социально-психологи-

ческом смысле, мобилизации, какую вызвало начало новой чеченской войны.

Сплотившись против общей опасности — зримой, повсеместной, никто ведь не знал, чей дом, в каком городе может быть взорван следующим, — общество надолго пришло в напряженное, экстремальное, крайне воинственное состояние, какого не переживало уже очень давно. И это настроение оказалось очень устойчивым, накал ненависти и жажды мести сохранялся даже тогда, когда его прямой возбудитель, страх, заметно пошел на спад.

Круги пошли очень широко. От бандитов и боевиков — ко всем чеченцам, независимо от пола и возраста. От чеченцев — ко всем кавказцам. От кавказцев — ко всем «иноверцам» и «инородцам». Консолидация общества всегда активизирует патриотическое начало в человеке. Но когда консолидация происходит «на крови», к святости патриотических чувств всегда добавляется изрядная примесь самых темных инстинктов.

Соображения гуманности и справедливости, размышления о том, можно ли было другими средствами разрешить чеченский конфликт, отодвинулись куда-то в тень. Ужасающе высокий процент опрошиваемых в исследованиях общественного мнения высказывался в том смысле, что раненых боевиков не следует лечить, что расправляться с пленными можно без суда, что разрушенные селения не нужно восстанавливать. Во всех группах населения большинство выразило уверенность, что государство, применяя свою боевую мощь для наведения порядка, демонстрирует тем самым свою силу. Тех, кто счел это признаком слабости государства, оказалось в тех же группах вдвое-втрое меньше.

Особенно опасный симптом социолог усматривает в том, что на ущерб, нанесенный войной, не последовало естественной болевой реакции. Для миллионов людей война стала событием по ту сторону телевизионного экрана. Они сопереживали смертям и увечьям, но как-то отстраненно, условно — как зрители, которые плачут вместе с героями спектакля, а потом поднимаются и уходят домой. С настроением общей агрессивной воинственности плохо вязалось явное нежелание мужского большинства лично поучаствовать в боевых действиях. Милитаристский угар, охвативший общество, стал странной смесью мрачного возбуждения и депрессивности.

Левада оставляет без рассмотрения предысторию этих событий: так они сложились или так были сложены, во вполне понятных, чисто служебных целях? Это не имеет особого значения, говорит он. Для меня сейчас — тоже. Для меня важно то, что

именно Чечня стала дебютом Путина в публичной политике, продиктовала темы первых его диалогов с обществом, определила их тон и пафос.

«Раздавить гадину» и «замочить бандитов в сортире» были первыми крылатыми фразами, навечно прилепившимися к его имиджу. С этими словами, с демонстрацией абсолютной решимости и исчерпывающего знания, что и как нужно делать, с не допускающей никаких сомнений уверенностью в том, что так все и будет сделано, он стал необходим для формирования «агрессивной» мобилизованности, которую засекли социологи в массовом сознании. Война требует не только генералов, но и вождей, которые объединяют в едином порыве всех — и тех, кто участвует в боевых действиях, и остающихся от них в стороне.

Эта концепция уточняет и конкретизирует то явление, которое в общем виде обозначил Павловский. По крайней мере, становится понятна природа загадочного влечения к сильному государству. Воинственное настроение требует выхода, реализации. У нас есть враг, он чрезвычайно опасен, он заслуживает наказания, его необходимо победить. Отсюда и потребность в сильном государстве — без него воевать никак нельзя — и в лидере особого типа, несущем не мир, но меч. Такой лидер был угадан в Путине, который сумел выразить это поистине экстремальное настроение в слове и в деле, в политических и военных решениях.

Откуда же такая сильная, такая массовая вспышка агрессивности? Социолог и это объясняет очень убедительно, показывает, что стало поворотным моментом. Обострение ситуации на Северном Кавказе, потом серия чудовищных терактов. Создалась особая гремучая смесь — из двух наиболее располагающих к агрессии состояний: гнева и страха. Все помнят, каким был шок после взрывов в Москве и других городах. Миллионы людей лишились сна, службы психологической помощи работали с запредельной нагрузкой. По утрам боялись слушать новости: кто следующий?

Наш президент, таким образом, оказывается человеком, выявившимся не только в нужном месте, но и в нужное время. Случись ему дебютировать на месяц или два раньше, еще неизвестно, как он был бы встречен.

Но тут у меня возникает желание возразить. Вспомним, как складывался 1999 год с самого начала. Югославия, Косово... Разве не появились в тот период явные признаки той самой агрессивной мобилизованности, которую Левада связывает с Чечней? Такие же точно всплески ненависти и мести, может быть, в чуть меньших масштабах. Как забрасывали тухлыми яйца-

ми американское посольство, как толпились у военкоматов добровольцы, какой непримиримой яростью дышали выступления военных...

А ведь страха тогда не было. Если он и появлялся, то только в связи с угрозой конфронтации с НАТО, которая моментами казалась вполне реальной. Значит, воинственность имела какие-то иные психологические корни? Да и был ли вообще Балканский кризис ее прямой причиной? Хорошо помню, что еще в то время я стал склоняться к мысли, что это совсем не так. Преследования сербов, о братстве с которыми мы как-то уж слишком внезапно вспомнили, бомбардировки Белграда скорее стали поводом, позволившим оформить и выплеснуть наружу давно копившийся агрессивный заряд.

И вот еще одно подтверждение. Немотивированная по своей сути агрессия — верный признак регрессии психики на более низкий, более примитивный уровень. Югославская драма сложна чрезвычайно. В ней не было ни одной полностью правой и целиком виноватой стороны. Во всем, что случилось, требовалось разбираться и разбираться. Чтобы найти справедливое решение, требовалась огромная мудрость, которой, как выяснилось, не обладает никто из самых видных современных политиков. А российское массовое сознание — при хваленной его чуткости к чужому горю — оказалось не способно эту сложность уловить. Все грани проблемы, не предполагавшие мгновенной агрессивной реакции, были попросту отсечены. Осталась грубая, почти что первобытная схема: на наших родственников и соседей напал разбойник — пойдем и расправимся с ним.

Еще тогда мне показалось очень важным найти источник этих настроений. Я перебирал в памяти своих больных, испытывавших подобные состояния, искал связи между отдельными случаями. Возникла не одна гипотеза, но от них приходилось отказываться, потому что они не удовлетворяли главному условию — всеобщности. Ну к примеру: катастрофа, постигшая Советский Союз, для многих людей стала незаживающей раной. Но ведь далеко не для всех. Значительная часть общества воспринимает ее вполне спокойно. Достаточно распространенным стал за последние годы известный комплекс неудачника, включающий в себя крайнее озлобление. Но есть и сколько угодно победителей, переживающих подъем и настоящую эйфорию успеха.

И только после долгих поисков я нашел наконец ключевое слово, которое показалось мне достаточно универсальным. Слово это — унижение.

В течение десяти лет все, что мы о себе слышали, да и сами

говорили, было невыносимо тяжело для национального самолюбия. Мы — хуже всех. Дикая, нецивилизованная страна. Мы не умеем работать, не знаем, как жить, наши мозги замусорены кучей заплесневелых предрассудков. Все смотрят на нас свысока, поучают, ставят нам отметки за поведение. Какой бы эпизод ни обсуждался, непременно следовала присказка: «А вот на Западе...» или «А вот в развитых странах...»

Обойтись без этого вала критики и самокритики было, наверное, нельзя. Если страна решила себя переделать, нужно было очень сильно ополчиться против всего, что мешает ей нормально жить. Но любой психолог вам скажет, как аккуратно надо действовать в подобных случаях. Ни в коем случае нельзя перегибать палку, нельзя допускать, чтобы недовольство собой, ничем не компенсируемое, переросло в болезненное самоуничтожение. Тогда вся наша работа идет насмарку. И агрессия — это первое, чем отвечает перегретая чрезмерным нажимом психика на попытки вновь и вновь надавить на больное место.

Давно говорю я о том, что реформы не получили никакого психологического обеспечения. Сейчас перед нами — естественный и закономерный результат.

Агрессивные импульсы инстинктивны. Но в том же направлении — защититься от унижения — работает и сознание. Человек вспоминает все пережитые им ситуации, питавшие его гордость, и старается воспроизвести их в новых условиях.

А у России есть многое, что она может по этому случаю воскресить в памяти. Знатоки политической истории утверждают, что начиная по крайней мере с Петра Великого, Россия постоянно находилась в состоянии догоняющей модернизации — ей приходилось напрягать все силы, преодолевая отрыв от других, прежде всего европейских, стран продолжая при этом смотреть на них снизу вверх. Невыносимо тяжелое состояние для психики! И только военные победы возвращали ей самоуважение вместе с горделивым чувством: мы сильнее всех. Все нас боятся. И ведь точно! Пробежите мысленно восемнадцатый век, девятнадцатый, двадцатый — все важнейшие события отечественной истории встраиваются в этот универсальный алгоритм.

И Путин, обратите внимание, говорит о том же! «У нас было много тяжелого, трагического — но разве не было у нас блестящих военных побед?»

Вот на какой болевой точке поймал он Россию, а Россия поймала его! И в этом они — единое целое. Муки унижения и страстное, всепоглощающее стремление избавиться от них — доминанта в личности нашего президента, внутренний генератор

всех его поступков, включая и согласие занять этот пост. В любом другом качестве он должен был бы смотреть, как решают эту проблему другие. Теперь он может приняться за дело сам.

Отсюда, мне кажется, и терпимость общественного мнения к отсутствию заметных перемен в жизни страны. Президент уже нам помогает выпрямиться и поверить в себя! Мы, к примеру, не очень хорошо понимаем, зачем ему понадобилось ехать в Северную Корею. Но уже то прекрасно, что это было сделано в пику тем, отличникам и удачникам, сравнение с которыми нас постоянно унижает. Пусть знают! Посидите несколько вечеров у телевизора — и вы насчитаете множество таких сеансов точной и действенной психотерапии.

Это открывает перед нами две дороги в будущее. Путин может и дальше использовать тот же ресурс агрессивной мобилизации, только достаточно быстро ему придется от риторики, от символических движений и поз перейти к реальным действиям: вернуть страну в состояние военной крепости. Ему сейчас многие приписывают такие намерения, хотя мне почему-то это кажется не слишком вероятным. А может попытаться компенсировать унижение за счет тех жизненных сил, которыми так богата Россия, никогда не имевшая возможности раскрыть их в полную мощь.

Какой путь выберет Путин — в огромной степени зависит от того, какой он человек, какова структура его личности.

К этому я и собираюсь сейчас перейти.

## **ЖЕЛЕЗНАЯ СТРЕЛА**

Завидую журналистам, которые, судя по их уверенному тону, научились читать в душе Владимира Путина как в открытой книге. Они разобрались в его характере, поняли его мотивы, постигли его намерения. Полного согласия между ними на этот счет нет, но это их ничуть не смущает. Сакраментальный вопрос «Кто есть мистер Путин?» утратил для них актуальность. Если порой он и всплывает, то лишь в иронической тональности, как общеизвестный исторический анекдот.

На чем основана такая уверенность? Главным образом — на сроках знакомства. Считается, что времени прошло предостаточно, и не пустого. Концентрация событий была не чрезмерно высокой, но и не слабой. Ее вполне хватило, чтобы создать для первых шагов президента выразительный, драматургически насыщенный фон. У нас было немало возможностей рассмотреть, Как действует Путин в разных обстоятельствах — благоприятных Для него и невыгодных, ожидаемых и сваливающихся на него как

снег на голову. Отсюда и ощущение, что никаких загадок больше не осталось: ко всем найден ключ. Человек раскрылся, продемонстрировал свой характер, свой почерк, свой стиль.

Скажу сразу же: у меня такой ясности нет и в помине. Я даже не могу присоединиться ни к кому из тех, кто высказывает разноречивые мнения. Конечно, у меня тоже есть глаза и уши, но того, чем они меня пока что снабжают, слишком мало для более или менее основательных выводов. В оправдание могу сказать, что большинство участников коллективной работы по распознаванию характера нового президента и его планов на ближайшее будущее слишком глубоко копать не пытаются. Круг вопросов, находящихся в центре их внимания, достаточно ограничен, и ответы на них они нашли уже давно — сразу же после президентских выборов, а возможно, и раньше.

Речь, в сущности, идет об одном: что несет Путин России, какой она станет при его правлении? Тут есть некоторая заминка. При явной своей нелюбви к развернутым, подробным программным заявлениям президент имеет полное право сказать, что он очень внятно, и не один раз, с народом по этому поводу объяснился.

Путь России — это путь демократического развития. Государство должно обеспечить максимальную экономическую свободу для граждан и корпораций. Привычной формуле «сильная власть» он предпочитает другую — «власть эффективная». Все должны быть равны перед законом. И далее, по всем пунктам, — четкое и последовательное описание той модели общественного устройства, которая справедливо считается высшим на сегодняшний день достижением европейской цивилизации.

Так говорит Путин. Но эти слова ему как бы не засчитываются, поскольку в иной и более выразительной форме — на языке действий — от него часто исходят совсем другие сигналы. Их-то и берут за основу. И вот как чаще всего комментируется этот явный конфликт между словом и делом. Круто разворачиваться в обратную сторону, реставрировать советские порядки Путин не собирается. Но и начатое при Ельцине движение к демократии западного типа продолжено не будет. Место назначения нашей страны — где-то посередине. Мы движемся к контролируемой, «фасадной» демократии, суть которой очень проста. Это хорошо нам знакомая жесткая авторитарная власть, но в оболочке — или даже совсем цинично, под маской — правового государства.

Именно так, например, выглядят стратегические замыслы молодого президента в интерпретации немецкого журналиста Михаэля Тумана, шефа московского бюро еженедельника «Die

Ziet». Путин, пишет этот внимательный наблюдатель в своей шумевшей статье, активно реформирует систему власти, добиваясь полного контроля над всеми уровнями политики. Появление в Думе фракции партии «Единство» — некоего клона КПСС, только уже без прежней идеологии, — сделало парламент не только предсказуемым, как у нас говорят, «вменяемым», но и управляемым. Не менее послушным станет и Совет Федерации после того, как при помощи нескольких точных законодательных мер удалось стреножить губернаторскую вольницу.

Такой же камуфляжный характер приобретает и российская правовая система. В отличие от западных стандартов, на которые она, по видимости, равняется, диктатура закона подчинена политике. Генеральная прокуратура, действуя как своеобразный правовой отдел Кремля, заводит дела и прекращает их в зависимости от складывающейся политической конъюнктуры.

Путин выступает против смертной казни, а убийства мирных жителей в Чечне остаются безнаказанными. На уровне деклараций превозносится свобода слова, а под этот аккомпанемент прекращает существование самый свободный и, бесспорно, лучший из всех телеканалов, НТВ. И это закономерно. В условиях фасадной демократии независимость СМИ неуместна и нежелательна. Примерно так же обстоит дело и с такой безусловной демократической ценностью, как политический и всякий иной плюрализм. Нигде не сказано, что есть намерение его отменить или ограничить, а между тем секретные службы опутывают страну электронными средствами контроля.

Эта логическая цепочка встречается едва ли не у большинства российских и зарубежных аналитиков, занимавшихся подведением итогов первого путинского года. Расхождения наметились лишь в понимании того, что за этим стоит и что из этого следует.

Туман хочет убедить своих читателей, что вылупляющаяся из скорлупы ельцинизма система Путина — это единственное, на что может рассчитывать Россия, по крайней мере сейчас. Ничего иного нельзя соорудить в том пространстве, где находится наша страна, — между европейскими ценностями и евразийскими традициями. Массы устали от демократии и хотят только порядка. Западу, однако, все это ничем не угрожает, он может смотреть на Россию без страха. Приоритет приоритетов для Путина — желание вернуть России статус великой державы. Чтобы достичь этой цели, необходим экономический успех, а чтобы добиться Успеха, надо укреплять дружбу и взаимное доверие с лидерами Мировой экономики.

Так рассуждает Михаэль Туман, и так же, по его убеждению,



рассуждает и Путин, понимающий, что холодная война, в каких бы то ни было формах, похоронит все его самые заветные мечты.

Есть, однако, и другая точка зрения. Никакой фатальной предопределенности в действиях российской власти нет. Новый президент был волен выбирать, куда вести страну — направо или налево, вперед или назад. Вот он и сделал свой выбор в пользу диктатуры, разве что без ее самых людоедских излишеств. Хотя и здесь ничего нельзя сказать наверняка, поскольку каждая политическая система развивается по своим незыблемым законам.

В январских номерах двух авторитетных американских журналов эта мысль была не только высказана, но и достаточно ярко проиллюстрирована. Примечательно, что в обоих случаях не только был избран один и тот же изобразительный прием, коллаж, но и лежащий в его основе ассоциативный ряд практически повторился. Для первой картинке выбран один из главных символов большевизма — монументальная фигура Ленина с простертой рукой, на второй лицо Путина обрамляют царские регалии. Мораль ясна: вот к чему стремится российский президент, вот каким он себя видит.

Но чтобы стать настоящим тираном, одного желания мало. Обладает ли Путин той экстраординарной внутренней мощью, всепокрушающей решимостью и волей, без которых нечего и пытаться скрутить страну в бараний рог? Это, пожалуй, главное, если не единственное, что занимает большинство пишущих о президенте авторов.

Оба американских художника, авторы журнальных шаржей, откровенно насмешничают. Располагая, надо думать, богатым набором фотографий Путина, они подобрали для монтажа такие, чтобы рядом с грозными или величественными образами прошлого лицо выглядело нарочито простоватым, несерьезным, даже каким-то беспомощным. Давно не было случая вспомнить щедринскую «Историю города Глупова», а тут будто на ухо кто-то прошептал: «От него кровопролитиев ожидали, а он чижики съел».

Да и вообще мне известен только один человек, уверенный в том, что Путин наделен этими качествами с избытком. Это Ельцин. Его часто ловили на том, что его бессознательно влечет к людям, в которых он видит свое внешнее подобие — таким добрым молодцам: рослым, крупным, громогласным, с широкими размашистыми движениями. Таким, как, например, Шумейко или Аксененко. Но, видимо, всякий раз богатырская статья оказывалась обманчивой, за ней не было того, что искал Ельцин, —

и нашел, наконец, в Путине, у которого во внешнем облике нет ничего молодецкого: ни роста, ни косой сажени в плечах.

В одном из редких теперь телеинтервью Борис Николаевич, с отеческой гордостью говоря о своем преемнике, употребил оригинальную формулу: «У него внутри — железная стрела». На первый взгляд эта метафора кажется странной, даже неуклюжей. Предназначение стрелы — поражать цель в полете, если она попадает внутрь человека — дело плохо. Но если не придирааться, действительно создается экспрессивный, емкий образ: сила, помноженная на негибкость и целеустремленность.

Но это мнение, что называется, повисло в воздухе. Из тех штрихов, которые акцентируются в многочисленных комментариях, исподволь вырисовывается совсем другой персонаж. Ничего железного в его характере не просматривается, обычный человек, которому свойственно и колебаться, и тянуть с решениями, и отступить под давлением превосходящих сил.

Чтобы далеко не ходить за примером: внес в Думу проект поправок в уголовное законодательство — и сам же через несколько дней их отозвал. По своему характеру эти поправки были поистине эпохальными. Речь шла о том, чтобы решения, касающиеся ареста и обыска, были переданы из компетенции прокуратуры в компетенцию суда, то есть о реализации одного из самых важных принципов демократической правовой системы. Но восстали «силовики» — прошел слух, что они чуть не в полном составе явились в Кремль и пригрозили своей отставкой. И президент спасовал.

Поступки такого рода сами напрашиваются на то, чтобы использовать их в качестве психологического теста. Сделал человек решительный шаг — и тут же отступил. Знал, какой урон наносит этим своей только еще складывающейся репутации — и все-таки поддался нажиму, как принято теперь говорить, прогнулся. Вывод очевиден: сильные люди так себя не ведут.

Но какова степень надежности этого теста?

И сразу же я вспоминаю о том, как мало мне, в сущности, известно. Я не присутствовал при встрече президента с силовыми министрами, если даже слепо принять на веру, что она и в самом деле произошла и на ней все решилось. Я не слышал, какие аргументы выдвинули противники этих самых законодательных поправок. Значит, ничего не могу сказать и о мотивах, заставивших Путина сдать позиции. А ведь вся соль проблемы — именно в этом. Разве не встречаются в жизни такие ситуации, когда честное отступление требует куда больше мужества и силы, чем тупое упорство во имя «сохранения лица»?

Такая обманчивая ясность вообще представляется мне знаковой для Путина. Первое впечатление — абсолютной прозрачности. Кажется, что в этом человеке все как на ладони. Но чем больше смотришь, тем лучше начинаешь понимать, что это всего лишь иллюзия. По крайней мере, сейчас мне кажется, что год назад в моих представлениях о будущем президенте было больше определенности.

К такому же мнению приходят многие.

«Путинизм излучает приглушенный свет, в котором контуры становятся расплывчатыми», — сказано в статье Михаэля Тумана, о которой я уже говорил.

А вот еще более примечательное высказывание — я слышал его от женщины-скульптора, работавшей над фигурой президента для музея восковых фигур в Санкт-Петербурге. Путина, сказала она, чрезвычайно трудно лепить, потому что в его облике «есть что-то неуловимое». Опытный мастер бодро принимается за работу — и попадает впросак: портрет, во всех чертах и черточках полностью соответствующий оригиналу, в целом оказывается совсем на него не похож. Выходит, в этом неуловимом и заключается то, что мы называем зерном индивидуальности.

Когда я читаю, что пишут о президенте люди хорошо информированные, имеющие возможность наблюдать за ним с близкого расстояния, это невольно убеждает. Но при этом я все время чувствую — что-то, чрезвычайно существенное, не досказывается, остается «за кадром». И знаете, почему это происходит? Очень уж необычного человека определила нам судьба в президенты.

\* \* \*

Впервые я понял это, работая с текстом книги «От первого лица», которая была в срочном порядке издана к президентским выборам.

Путин не написал, а наговорил эту книгу. Ничего необычного в этом нет. Такова вполне стандартная технология создания произведений этого жанра. Просто в иных случаях о ней стыдливо умалчивается, а здесь сыграно в открытую. У книги есть подзаголовок — «Разговоры с Владимиром Путиным». Авторами книги названы трое журналистов, записавших ответы будущего президента. На последней странице обложки помещена фотография, наглядно иллюстрирующая рабочий процесс: все четыре собеседника в живом общении. Даже форма вопросов-ответов почти везде сохранена.

Специфическим целям психоанализа, конечно, гораздо боль-

ше отвечают собственноручно написанные сочинения, хотя бы самые несовершенные с точки зрения литературного вкуса. Ведь рукой движет не только рассудок, но и бессознательные силы души, в особенности когда человек повествует о чем-то лично его волнующем, например о самом себе. Но и добросовестно выполненная запись устного рассказа может оказаться достаточно содержательной. Чаще всего не составляет труда определить, что идет от самого человека, а что добавилось при переносе живой речи на бумагу.

Книга Путина оказалась в этом смысле уникальной. В ней есть история семьи, есть полный набор биографических сведений, и они не только изложены в хронологической последовательности, но и снабжены подробным комментарием, раскрывающим внутренний мир героя: о чем он мечтал, к чему стремился, как реагировал на происходящее. Есть, разумеется, большой раздел, в котором будущий президент выносит на суд читателей свое политическое кредо и дает представление о своих намерениях. Короче говоря, есть все.

Нет только одного — личности рассказчика.

Конечно, какое-то представление о том, что это за человек, после прочтения книги остается. Но оно сложилось бы и в том случае, если бы всю эту информацию мы получили из какого-нибудь неодоушевленного банка данных. Элементы характеристики заключены в самих событиях — и только в них. Вот как вел себя человек, когда со всей своей семьей чуть не сгорел в собственной даче. Вот о чем он думал, увольняясь из органов. Вот как складывались его отношения с друзьями. И так далее, и так далее — множество эпизодов и фактов, рисующих характер действующего лица. Но обычно в таких рассказах о себе, помимо фактуры, есть еще и особые краски, благодаря которым создается психологический автопортрет, мы, сами того не замечая, улавливаем их благодаря интонации, случайно вырвавшимся словечкам, внезапно возникшим ассоциациям. В этом рассказе такие краски отсутствуют.

Если эта книга у вас под рукой, попробуйте сравнить куски, наговоренные Путиным, с включенными в текст рассказами о нем. Школьная учительница, близкий друг, жена, дочери, секретарь. Они, в сущности, делают то же самое, что и он: делятся воспоминаниями, о чем-то попутно рассуждают. Но получается это у них совершенно по-другому. Это фигуры второго плана, задача на них возложена вспомогательная, они не могут занимать много места, быть чересчур многословными. И все равно каждый

из записанных за этими людьми абзацев передает что-то, идущее из самой глубины их души. Они самовыражаются, не думая об этом специально, просто в силу естественной потребности, присущей большинству людей.

Название — «От первого лица» — дано этой книге словно в насмешку. Оно оправдано только в одном-единственном смысле: в ней нет ничего, о чем Путину не хотелось бы распространяться на весь свет. По словам авторов, эти границы сложились не сами собой. «И он, и мы были терпеливы и терпимы, — пишут они в лаконичном предисловии. — Он — когда мы задавали неудобные вопросы или попросту лезли в душу. Мы — когда он опаздывал или просил выключить диктофон: «Это очень личное». При этом нет никаких оснований упрекать Путина в скрытности или, упаси Бог, в лукавстве. Наоборот, заданные им рамки оказались достаточно широкими, а местами он бывает поразительно откровенен. Но даже для интимных признаний исключения не делается. И в эти моменты в общении участвует только рациональная сфера психики, одна, как мы это обычно называем, голова. А то, что, в противовес голове, именуется сердцем, остается полностью закрытым.

Можно подумать, что все дело в непривычной для Путина ситуации: он не только проводил долгие часы в разговорах с мало-знакомыми людьми, но и знал, что каждое сказанное слово будет затем растиражировано в сотнях тысяч экземпляров. Но нет. Судя по описаниям, другим он никогда не бывает.

Однажды, рассказывает секретарь, Марина Ентальцева, в приемную позвонила жена Путина с горестным известием: ветеринарам не удалось спасти их собаку, которая выскочила на дорогу и попала под машину. Сам факт такого звонка посреди рабочего дня говорит о том, какое место занимала эта собака в жизни хозяев и как тяжело должны они переживать ее гибель.

И вот как описывает дальнейшее Ентальцева:

«Захожу в кабинет к Владимиру Владимировичу и говорю: «Вы знаете... такая ситуация... Малыш погиб». Смотрю, а у него на лице ноль эмоций. Я так удивилась отсутствию какой-либо реакции, что не удержалась и спросила: «Вам что, уже об этом кто-то сказал?» А он спокойно: «Нет, вы первая мне об этом говорите». И тут я поняла, что ляпнула что-то не то».

Этот эпизод может показаться не слишком показательным. И собака, даже самая любимая, — это все-таки не более чем собака. И работа в Смольном — а рассказ относится к этому периоду — это занятие, излишней чувствительности не способст-

вовавшее. Сергей Ролдугин, ближайший его друг с юношеских лет, говорит с сожалением, что, уйдя с головой в дела мэрии, Путин сильно изменился, «как-то высох в смысле души», стал прагматиком. Но у нас есть возможность перепроверить себя на другом биографическом материале. Перенестись в другую пору, рассмотреть один из самых волнующих моментов в человеческой жизни — объяснение в любви, предложение руки и сердца.

Все люди делают это по-своему, но вспомните себя или доверьтесь наблюдениям хороших романистов: прежде чем услышать волшебные слова, женщина всегда догадывается о том, что они вот-вот прозвучат. По выражению лица, по необычному блеску глаз, по напряженному звучанию голоса, да мало ли по чему еще она улавливает, какие эмоции владеют сейчас мужчиной. Путин же, как следует из рассказа Людмилы Александровны, был в эти минуты настолько непроницаем, что объяснение в любви она приняла... за прощальный монолог. Произносимые слова? Они одинаково годились для обоих случаев. Будущий супруг говорил о том, что характер у него не очень удобный. Он молчун, иногда бывает резким, может невзначай обидеть. Это может означать: «Ты заслуживаешь лучшего мужа, поэтому давай расстанемся». Или наоборот: «Мы будем счастливы, если ты готова принять меня таким, каков я есть». Но обычно ошибиться бывает трудно, истинный смысл распознается мгновенно благодаря той эмоциональной ауре, которая непроизвольно создается вокруг нас в момент сильного душевного напряжения.

Можно не сомневаться — именно в таком состоянии был Путин, переживавший одно из величайших событий своей жизни. Но внешне оно настолько никак не проявилось, что даже любящая женщина, которая целых три года ждала решения своей судьбы, ничего не могла уловить. Такая абсолютная закрытость — и сама по себе феномен достаточно редкий. В моей профессиональной «коллекции» есть лишь несколько таких людей, но даже им, пожалуй, в этом смысле до Путина далеко. При этом у всех, кого я знаю, темперамент скорее холодноватый. Чувства приглушены. Генераторы психической энергии работают на малых оборотах. А наш президент совсем не таков. Недаром один английский журналист, близко видевший его в общении с Тони Блэром, написал, что за подчеркнутым спокойствием Путина скрывается «пугающая страстность». И вот это сочетание внутреннего огня с непроницаемостью представляется мне поистине уникальным.

Приходилось слышать, что сдержанность Путина — результат профессиональной выучки. Работа была у человека такая, она

заставила его натренировать весь свой психический аппарат только «на вход» и никак не на «выход» — чтобы контролировать каждый свой мускул, каждую модуляцию голоса, даже выражение глаз. Другими словами, предполагается, что перед нами — своего рода маска, надетая сознательно, чтобы скрыть другое, настоящее лицо.

Эта версия кажется убедительной, поскольку совпадает с расхожим представлением о «бойцах невидимого фронта». Но ведь на самом деле они все — сужу хотя бы по собственным близким знакомым — люди совершенно разные, и хоть принадлежность к их специфическому ведомству накладывает на личность определенный отпечаток, эти свои индивидуальные отличия они сохраняют.

К тому же закрытость, по тамошним стандартам, вовсе не считается достоинством. Об этом прямо сказано в приведенных в книге воспоминаниях полковника в отставке Михаила Фролова, под руководством которого Путин, под именем товарища Платова, проходил учебу в нынешней Академии внешней разведки: «Некоторые отрицательные качества я тогда в его характеристике назвал. Мне казалось, что он человек несколько замкнутый, необщительный». Почему эти черты характера были засчитаны товарищу Платову в минус? Возможно, потому, что для замкнутых людей проблема — войти в контакт, возбудить к себе доверие, а разведчику такие трудности ни к чему.

Если уж говорить о маске, которую выбрал себе Путин для постоянного ношения, то скорее так можно назвать хорошо усвоенную им коммуникабельность, непринужденность в поведении. Он очень успешно их демонстрирует в любой обстановке. И на встречах «восьмерки», среди сильнейших мира сего. И за скромным застольем в деревенском доме, где на него смотрят, как на бога, сошедшего с небес. Но это не настоящее его лицо. Он, по его собственному определению, молчун, то есть человек, который весь в себе. У него нет душевной необходимости делиться, изливать переживания.

Почему я так уверенно об этом говорю? А вы послушайте, что говорит на сей счет Марина Ентальцева. «Меня всегда удивляло, что он совершенно спокойно общается с людьми очень высокого уровня, с иностранными делегациями. Обычно же, когда разговариваешь с большими начальниками, возникает какое-то чувство стеснения, неловкости... Я даже была потом удивлена, когда его супруга как-то сказала мне, что Владимир Владимирович по натуре достаточно стеснительный человек и

ему пришлось очень долго работать над собой, чтобы, по крайней мере, казаться таким непринужденным в общении с людьми».

Стеснительным или, по-другому, застенчивым людям и вправду не позавидуешь. Им трудно не только добиваться успеха, но и просто нормально функционировать. Приступ застенчивости — это своего рода шок, тяжелая вегето-сосудистая реакция. Мы видим ее внешние проявления: человек краснеет или, наоборот, бледнеет, но при этом такие же сосудистые сбои происходят и внутри черепной коробки. Возникает психологический дискомфорт, мысли разбегаются, язык перестает подчиняться. Сущее мучение!

Но что вызывает такой шок? Часто его провоцируют различные комплексы, прежде всего — комплекс самоуничижения. Я такой маленький, жалкий рядом с этими большими, значительными людьми... К Путину, мне кажется, это не относится. А вот в общении у него — у молчуна — и в самом деле могли быть трудности. Ведь вступая с человеком в контакт, мы открываемся перед ним и его заставляем раскрываться нам навстречу, буквально вымогаем реакцию, будь то ответное выражение симпатии или ответ на скрытый вызов. И если он органически неспособен принять участие в такой игре, это и в самом деле может вызвать у него настоящий стресс.

Когда жизненные затруднения принимают вид хронической беды, то один из решающих вопросов для распознавания характера — какова реакция на нее. И вот тут проходит водораздел между силой и слабостью личности. Слабые люди возлагают всю ответственность на внешний мир. Он жесток, он бездушен, он несправедлив, — и отгораживаются от него или начинают ему мстить. А люди сильные, что называется, начинают с себя. Мир ни при чем, если мне трудно, то это моя проблема, — значит, я должен собраться с силами и ее решить.

Мы знаем, что Путин выбрал для себя именно этот, наисложнейший вариант. Но как далеко удалось ему продвинуться в самовоспитании? Сумел ли он изменить свою натуру или всего лишь научился ее маскировать, «казаться непринужденным», как говорит Ентальцева?

Этот сюжет относится к сфере чистой психологии. Но все эти психологические тонкости могут производить самые неожиданные эффекты и в политической сфере. Многих, например,стораживает, что в окружении нового президента едва ли не преобладают выходцы из спецслужб. Из этого делаются очень далеко идущие выводы, считается даже, что он тем самым расписывается в своих истинных, то есть авторитарных, устремлениях. Но ведь



объяснение может лежать совсем в другой области. Для закрытого человека процесс сближения с другими людьми сложен, он занимает много времени, действительно требуется съесть совместного пуд соли. Но зато уж связи, если они в конце концов образуются, отличаются необычайной прочностью.

И кстати: что заставило Путина в юности выбрать профессию разведчика? В книге он сам подробно все объясняет. Юношеский романтизм, влияние героических фильмов и книг — это все понятно. Но я зацепился за одну фразу: «Больше всего меня поражало, как малыми силами, буквально силами одного человека, можно достичь того, чего не могли сделать целые армии». Прежде всего, конечно, обращает на себя внимание слово «достичь»: кем попало в будущей жизни этот мальчик явно себя не видел, и «целые армии» тоже, наверное, мерещились ему не случайно. Но ведь возникало почему-то в фантазиях, как он ведет за собой эти армии! Особая привлекательность работы разведчика — «так, во всяком случае, я это понимал», — заключалась в том, что он действует в одиночку. То есть в условиях, идеальных для «замкнутых и необщительных».

Так часто бывает в жизни, инстинкт диктует нам выбор, сообразуясь с такими нашими свойствами, в которых, возможно, мы и сами плохо отдаем себе отчет...

\* \* \*

Недавно по какому-то случаю, прямо к Путину не относящемуся, показали по телевидению кусок старой кинохроники. Год, если не ошибаюсь, 1991-й. Ленинград. Митинг на Дворцовой площади. Трибуна. Выступает Собчак, говорит что-то резкое, на высочайшем градусе ораторского вдохновения. Возможно, дает отповедь гекачепистам. Потом незаметное движение камеры — и рядом с Собчаком возникает лицо Путина.

Я не очень хорошо владею языком придворного этикета, который демократическая Россия целиком переняла от коммунистической, но знаю, что расположение фигур даже на трибуне вольного митинга не может быть случайным. Кто какой реальный вес имеет, такое и место занимает относительно первого лица, стоящего, естественно, в центре. Путин притиснут к Собчаку вплотную, практически они составляют одно целое. Достаточно это увидеть, чтобы понять, насколько значительным лицом был Путин в питерской элите. Но странное ощущение: он словно бы хочет скрыться за спиной Собчака. Почему? От кого? Зачем вообще в таком случае было подниматься на трибуну?

К счастью, в тот же вечер эту пленку прокрутили еще один раз. И тут я все понял. Суть мизансцены не в том, что Путин прячется, а в том, что его оттесняют, прямо-таки оттирают из зоны наилучшей видимости другие люди. Им хочется быть на виду, хочется, чтобы их заметили, оценили, как высоко они стоят. А для Путина это никакого значения не имеет.

Книга «От первого лица» тоже является в этом смысле поразительным документом. Нигде, ни в одной строке, ни в одном пассаже вы не ощущаете желания произвести на вас впечатление. Ни удивить, ни растрогать, ни ужаснуть, ни вызвать уважение, ни даже разозлить. С какими чувствами вы будете читать его рассказ, возникнут ли вообще у вас какие-нибудь чувства — никакой роли для этого человека не играет.

Само собой напрашивается сравнение с тем, как пишет свои автобиографические сочинения Жириновский. Небо и земля! У книг Владимира Вольфовича тоже задачи чисто политические, он не для того их издает, чтобы исповедаться перед публикой, но уж раз появляется такая возможность — как же ее упустить! Мы должны плакать над горькой участью маленького мальчика, живущего в нищете и забросе, ненавидеть его врагов, сострадать, восхищаться тем, что даже в таких ужасных условиях он не дал себе пропасть и сумел вырасти большим человеком.

Как можно понять, детство Путина было ничуть не более благополучным. Но у него нет и в помине этой пронзительной, разрывающей душу жалости к самому себе и нет желания во что бы то ни стало вызвать ее в читателе. Он даже в деталях скуп чрезвычайно — понадобилось свидетельство школьной учительницы, чтобы мы зримо представили себе этот ужасный, трущобный быт: жуткое парадное, лестница, по которой опасно ходить, коммуналка без всяких удобств, страшный туалет, холодный и жуткий, вместо кухни — квадратный, темный коридор без окон... Единственный штрих, упоминаемый самим Путиным, — нападение крысы: как она преследовала его в этом убогом парадном, где было ее царство, и как он от нее чудом спасся. Но и этот эпизод рассказан нам вовсе не для того, чтобы мы расчувствовались. Он важен, поскольку помог сделать на всю жизнь ценнейший практический, а возможно, и философский вывод — никого нельзя загонять в угол.

Большинству людей доставляет удовольствие, когда они рассказывают о себе, а их внимательно слушают. В иных случаях оно даже принимает характер самолюбования, самоупоения, которыми в других обстоятельствах эти люди совсем не грешат. Наше прошлое — огромная, бесконечно дорогая для каждого

часть его внутреннего мира, погрузиться в него — это и пережить заново самые волнующие моменты, и продемонстрировать себя и убедиться в том, что окружающие в этом тебя поддерживают.

У меня сложилось впечатление, что и эта потребность Путину незнакома. Он в точном смысле слова работал. Понимал, для чего это нужно, что от него требуется, и строго этим установкам следовал. Не капризничал, не мешал своим партнерам, журналистам, уважая их профессиональные запросы. Пересиливал себя если встрече предшествовал долгий и выматывающий рабочий день. Только один раз, говорят авторы, уже сильно за полночь, дал понять, что хочет прервать затянувшееся бдение, и то смотрите, в какой аккуратной форме: «Ну что, все спросили или болтаем еще?»

Старался быть предельно точным — в этом тоже проявлялась добросовестность. Не на все вопросы отвечал с лету, иногда подолгу раздумывал, но находил в конце концов верный вариант. Так было и в том случае, когда в разговоре оказалась затронута тема предательства, одна из самых болезненных в человеческом общежитии. Предавали ли вас? Путин долго молчал и решил все-таки сказать «нет», но потом уточнил: «Друзья не предавали».

Наверное, как всякая хорошо, честно выполняемая работа, все это приносило Путину удовлетворение. Но не то, что можно было бы назвать кайфом. Ни разу этот особый огонек в нем не зажегся. Полное отсутствие демонстративности! Могу поручиться — это очень редкая человеческая особенность. Детский период нарциссизма, неизбежный и необходимый в развитии личности, в положенные сроки завершается, но в подавляющем большинстве случаев все-таки оставляет в психике следы. Иногда они бросаются в глаза, становясь одной из доминирующих черт в психическом складе, иногда держатся в пределах некой нормы. Путин же, мне кажется, недобирает даже до этой нормы. Судя по тому, что мы наблюдаем, он не получает удовольствия от звуков собственного голоса, не «заводится» от аплодисментов и не посылает в публику никаких пассов, чтобы их спровоцировать.

Только два раза я видел на его лице признаки настоящего упоения моментом. Мне даже стало немного неловко, что я за этим словно бы подсматриваю, и так оно, вероятно, и было. Первый случай — когда он садился в кабину сверхзвукового самолета, второй — когда был в гостях на подводной лодке. По замыслу, очевидно, это было чисто предвыборное шоу, предназначенное исключительно для демонстрации, и Путин на это согласился, так же как и на подготовку книги, — раз надо, так надо. Но когда он соприкоснулся с этой мощной военной техникой, владевшей

его воображением еще в детстве, погрузился в эту атмосферу, да еще и переоделся в специальный костюм, — что-то такое в нем проснулось, ожил мальчишка, каким он был когда-то. Но это было «очень личное», и стоящие на изготовке телекамеры тут были совершенно ни при чем.

Вернемся к лаконичной фразе Путина, донесенной до нас Сергеем Доренко: о том, что президентом он стал случайно. Я тоже в этом уверен, хотя, возможно, вкладывая в это несколько иной смысл. Я не имею в виду фантастические по скорости и крутизне карьерные взлеты, хотя равных себе они не имеют. Рассказать подобное в художественном фильме — и все скажут: так не бывает. Люди годами роют землю, ведут отчаянную борьбу, и то путь вверх растягивается на десятилетия. А тут цепь счастливых приключений, совершающихся, как по мановению волшебной палочки. Случайно встретился с Собчаком и случайно же с ним расстался, случайно оказался в Москве...

Но я сейчас говорю о другом. Случайностью высшего порядка можно считать уже то, что жизнь занесла Путина на поприще большой политики. У людей с подобным складом личности — я назвал бы его компьютерным — влечения к этой деятельности обычно не возникает. У них нет харизмы — как особого душевного механизма, который позволяет властвовать над душами, а с другой стороны — получать от этой власти наивысшее из возможных удовлетворение.

Обратите внимание: на всем протяжении своей жизни Путин никогда не был лидером. В этом его первое и решающее отличие от всех предшественников, царивших до него в Кремле. Горбачев шел по привычным схемам комсомольского выдвижения, Ельцин водил товарищей в рискованные походы, Сталин создавал криминальные группы — не они выбирали свою главенствующую роль, а она их выбирала, как наиболее приспособленных. А Путин, с его компьютерным нутром, приспособлен к другому: решать задачи, в том числе, возможно, и психологические.

Отсутствие харизматической составляющей в психических структурах вовсе не означает, что человек подобен роботу, нечувствителен к успеху или не может пользоваться признанием как руководитель. Компьютерная личность может обладать дьявольским честолюбием и совершать невозможное ради победы. Но все это проходит, если сравнивать ее с «харизматиками», по другим приходно-расходным статьям душевного бюджета. Минимум от стихии, от инстинкта — максимум от доведенной до высшей виртуозности работы мыслительного аппарата, от экстраординарного объема активной памяти, от умения фокусировать все

психические ресурсы в одной точке. По-своему это не так уж далеко от образа железной стрелы.

Удивительное признание сделал Путин в интервью, которое он давал одновременно «Независимой газете», ОРТ и РТР: «Я бы хотел, чтобы граждане меня воспринимали как человека, которого наняли на работу. Наняли на работу для исполнения определенных профессиональных, функциональных обязанностей на определенный срок, воспринимали как человека, с которым заключили трудовой договор на четыре года».

Было бы только справедливо, если бы эти слова вызвали хотя бы такой же резонанс, как и пассаж о дубине, которой государство бьет слушников — всего один раз, но зато по голове. Но реакции не было вообще. Видимо, в силу установившегося мнения: демократические идеи — а представление о том, что государственный аппарат работает на общество по найму, является одним из ключевых в демократической парадигме, — Путину служат чем-то вроде дымовой завесы, и принимать их в расчет попросту наивно.

А между тем очень знаменательным выглядит полное совпадение модели верховной власти, выдвигаемой этим человеком, с его психологическими особенностями. Всем нам хочется того, что наиболее для нас органично. Для компьютерной личности естественно такое функциональное, технологическое воззрение на жизнь, в том числе и на собственную. Я работал разведчиком, потом работал в городской администрации, теперь работаю президентом. Функции поменялись, масштаб ответственности вырос неизмеримо, но суть все та же. Президентство — такая же работа, как и любая другая, и никаким ореолом божественного помазания оно не окружено.

Давайте же оценим по достоинству: никогда еще в России такого не было. Не только у коммунистических вождей, но даже у Горбачева, даже у Ельцина не было и не могло быть такого самоощущения — я работаю президентом. Для них возможно было только одно — быть, являться президентом, во всей грандиозности этого фантомного самоимиджа.

Пока что, мне кажется, Путин это свое намерение полностью подтверждает. В течение первого года он больше всего был занят тем, что осматривал, обследовал и пытался опробовать в деле государственную машину, которая досталась ему в наследство. Определял самые разболтанные узлы, строил планы предстоящего ремонта. Это закономерно. Человек, который хочет успешно работать, в первую очередь старается удостовериться в том, что рабочие инструменты его не подведут.

Не дает мне покоя фраза скульптора о том, что в чертах Путина есть что-то неуловимое. Что же именно?

В затруднительных случаях я нередко прибегаю к методике Сикорского. Его теория построена на необъяснимой, но безусловно существующей связи между человеческим-и животным миром. Если человек внешне похож на какого-то зверя, то скорее всего и в характере у него присутствуют черты, которые ассоциируются с этим представителем фауны. На этой странной закономерности, кстати, основан и тысячелетиями существующий жанр басни. Когда мы расшифровываем басенные аллегории, то за Лисами, Медведями, Зайцами четко представляем себе и людей определенного внешнего и внутреннего склада.

Я долго искал: на кого же похож Путин? Разительного, бьющего в глаза подобия выявить я не смог. Зато обнаружилась одна редкая особенность. Согласно Сикорскому, у большинства людей наблюдается некое единство — лицо, фигура, пластика соответствуют одному общему образу. Путину же это не свойственно: образ, навешиваемый им, раздваивается. Простудировав все тома Брема, я остановился на том, что чертами лица он больше всего напоминает верблюда. Но все остальное, включая манеру двигаться, ничего общего с этим животным не имеет. Напрашивается сравнение с каким-нибудь лесным хищником, не очень крупным, но достаточно грозным. Первой приходит мне в голову рысь.

Оба они, и рысь, и верблюд, в чем-то уникальны. К обоим подходит человеческое слово — чемпион.

Верблюд не знает себе равных в выносливости и неприхотливости. Растения, которыми он питается, для других живых существ несъедобны. Степень обезвоживания, которую он способен переносить, для всех других смертельна. Арабы говорят, что у Аллаха, когда он создал венец творения — человека, остались неиспользованными два комка глины. Из одного он вылепил верблюда, из другого — финиковую пальму. Обычный верблюд может нести половину собственного веса, а самые сильные — столько же, сколько весят сами: 700 килограммов. Он неутомим. Своим ровным, размеренным шагом он может, не останавливаясь и ни на что не отвлекаясь, преодолеть до 80 километров за сутки. Знаменитая поговорка «Собаки лают, а караван идет своей дорогой» подразумевает прежде всего эту особенность верблюда.

А что же рысь? В семействе кошачьих, к которому она относится, есть много великолепных персон. Лев, царь зверей, тигр, леопард. Рысь, конечно, далеко не так эффектна (тут мне вспом-

нилось, что Людмила Путина, описывая свое первое впечатление, назвала своего будущего мужа «невзрачным»). Никто не назовет рысь царницей. Нет в ней демонстративной львиной величавости. К тому же она относится к категории исчезающих видов — в Европе, к примеру, рысей почти не осталось. Но описывая нрав этого животного, натуралисты используют такие слова: смелость, дерзость, упорство. Если не побояться излишнего «очеловечения», можно сказать, что рысь не переносит неудач. Если первая атака срывается, она не отступает, проходит день, другой — она продолжает преследовать свою жертву. Есть кошки, славящиеся быстрым бегом. Есть другие породы, рекордсмены в перемещении по вертикали. Рысь замечательна тем, что она и очень быстро бежит, и очень ловко лазает. Если обстоятельства требуют, ее маршруты измеряются десятками километров.

Пока что мне известна только одна характерная черта Путина, которую можно напрямую связать с этими описаниями. Он фантастически работоспособен. Люди, которые мне об этом говорили, сами живут в перенасыщенном графике, трудятся чуть ли не в три смены, дома почти не бывают, так что подобными вещами их не удивишь. Но даже их поражает интенсивность, с какой работает президент. Обозначать руководящую деятельность даже на несравненно более низком уровне не слишком изнурительно, требуется лишь определенный навык. Наверняка и у Путина бывают такие моменты, в его положении они неизбежны — когда он должен всего лишь олицетворять верховную власть. Но мне-то рассказывали о встречах, к которым он серьезно готовился, и проводил он их с огромным напряжением. При этом, когда они происходили, утром или поздним вечером, роли не играло. Компьютерные устройства в его мозгу функционируют с предельной нагрузкой независимо от времени суток и накопленного утомления.

Говорят, что он очень хорошо умеет слушать. Это большая редкость. Возможно, тут сказывается и профессиональная выучка — человек ведь специализировался на получении и переработке информации. От кого-то я слышал: временами его взгляд начинает «уплывать», но это означает не рассеянность внимания — наоборот, он полностью сконцентрирован на том, что слышит. Очень хорошо умеет держать паузу — это все мы могли заметить, и не раз.

Получается, что образ верблюда привиделся мне не напрасно. Но как быть с рысью? Это свирепый и беспощадный хищник, неутомимый, а в то же время чрезвычайно терпеливый в дости-

жении своих охотничьих целей. Какие аналогии встают за этим — можно, я думаю, подробно не объяснять. Но ничего феноменального в этом нет, в современном мире предостаточно политических ястребов. А вот сочетание двух разных, в чем-то даже противоположных начал и вправду представляется мне диковинным. И это, между прочим, тоже находит подтверждение. Путин то и дело дает нам почувствовать свою двойственность. Это истолковывается самым привычным образом: лицо и маска, сущность и камуфляж, натура и декорация. И никто, пожалуй, до сих пор не задался вопросом: а что, если и то, и другое — настоящее?

Россия, думаю я, еще нескоро научится правильно понимать своего президента. Но смело можно предсказать, что и до этого времени скучно никому не будет. Как выразился знаменитый Ларри Кинг, король телевизионных интервью, камера Путина любит. А я очень доверяю интуиции старых профессионалов.



## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Авторханов Абдурахман Генадович — историк и писатель, автор курса лекций по радио «История культа личности в СССР».

Аджубей Алексей Иванович (1924—1993) — журналист, в 50—60-е годы — главный редактор газет «Комсомольская правда» и «Известия», зять Н.С. Хрущева.

Аджубей Рада Никитична (родилась в 1929) — журналист, с 1956 года — редактор ежемесячного журнала «Наука и жизнь», дочь Н. С. Хрущева, жена А. Аджубея.

Аксененко Николай Емельянович (родился в 1949) — министр путей сообщения РФ (1997).

Александров Александр Васильевич (1883—1946) — русский композитор, автор музыки гимна СССР и России (1943, 2000).

Аллилуева Светлана Иосифовна (родилась в 1926) — литературовед, переводчик, дочь Сталина.

Андропов Юрий Владимирович (1914—1984) — генерал армии, Председатель КГБ СССР (1967—1982), Генеральный секретарь ЦК КПСС (1982-1984).

Барон Мюнхгаузен — литературный герой произведений немецкого писателя Э. Распэ.

Бедный Демьян (настоящая фамилия Придворов Ефим Алексеевич) (1883—1945) — русский писатель.

Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — русский философ, публицист.

Берия Лаврентий Павлович (1899—1953) — народный комиссар внутренних дел (с 1938), в 50-е годы — министр внутренних дел СССР.

Блэр Энтони (родился в 1953) — Премьер-министр Великобритании с 1997 года.

Боннэр Елена Георгиевна (родилась в 1923) — врач-педиатр, публицист, общественный деятель, жена Сахарова А. Д.

Брежнев Леонид Ильич (1906—1982) — Председатель Президиума Верховного Совета СССР (1960—1964, 1977—1982), Генеральный секретарь ЦК КПСС (1964—1982).

Брем Альфред Э. (1829—1884) — немецкий зоолог, автор известной книги «Жизнь животных».

Булганин Николай Александрович (1895—1960) — советский государственный и партийный деятель.

Буллит Уильям — друг и соавтор З. Фрейда, первый посол США в СССР (1933—1936), соавтор З. Фрейда по работе «Томас Вудро Вильсон. 28-й Президент США. Психологическое исследование».

Буш Джордж Герберт Уокер (старший) (родился в 1924) — 41-й Президент США (1989-1993).

Буш Джордж Уокер (младший) (родился в 1949) — 43-й Президент США (с 2000).

Варга Евгений Самуилович (1879—1964) — советский экономист, академик АН СССР.

Вебер Макс (1864—1920) — немецкий социолог, историк, экономист и юрист.

Вознесенский Андрей Андреевич (родился в 1933) — русский поэт.

Волкогонов Дмитрий Антонович (1928—1995) — доктор исторических и философских наук, генерал-полковник.

Ворошилов Климент Ефремович (1881—1969) — маршал Советского Союза, известный партийный, государственный и военный деятель.

Вудро Вильсон Томас (1856—1924) — 28-й Президент США (1913—1921), лауреат Нобелевской премии мира (1920).

Гайдар Егор Тимурович (родился в 1956) — доктор экономических наук, министр экономики и первый заместитель Председателя Правительства РФ (1993—1994).

Гитлер (настоящая фамилия Шикльгрубер) Адольф (1889—1945) — лидер германской фашистской (национал-социалистской) партии, глава германского фашистского государства (1933—1945).

Гладстон Уильям Юарт (1809—1898) — английский государственный деятель.

Гор Альберт (родился в 1948) — вице-президент США (1993—2000), кандидат на президентских выборах 2000 года от Демократической партии.

Горбачева Раиса Максимовна (1934—2000) — кандидат философских наук, жена Горбачева М. С.

Горбачев Михаил Сергеевич (родился в 1931) — Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985—1991) — первый и последний Президент СССР (1990—1991), лауреат Нобелевской премии мира (1990).

Грозный Иван IV Васильевич (1530—1584) — великий князь (с 1533), первый русский царь (с 1547).

Гроф Станислав (родился в 1931) — американский ученый, философ-антрополог, один из видных представителей трансперсональной психологии, автор работы «За пределами мозга».

Да Винчи Леонардо (1452—1519) — величайший итальянский художник эпохи Возрождения, выдающийся ученый, мыслитель и инженер.

Дали Сальвадор (1904—1989) — испанский живописец, сюрреалист.

Дарвин Чарлз Роберт (1809—1882) — английский ученый-эволюционист.

Дон Кихот — герой романа «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ламанчский» испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведра.

Доренко Сергей Леонидович (родился в 1959) — тележурналист, ведущий информационных программ Центрального телевидения и телерадиокомпании «Останкино»

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — русский писатель.

Ельцин Борис Николаевич (родился в 1931) — первый Президент Российской Федерации (1991—1999).

Ежов Николай Иванович (1895—1940) — секретарь ЦК ВКП (б) в 1935—1939 годах, один из главных исполнителей массовых репрессий.

Желябов Андрей Иванович (1851—1881) — русский революционер, народник, один из руководителей «Народной воли».

Жириновский Владимир Вольфович (родился в 1946) — с 1990 года лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР), заместитель председателя Государственной думы РФ, автор работы «Последний бросок на Юг».

Зиновьев (настоящая фамилия Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883—1936) — политический и государственный деятель Советской Республики, ближайший соратник Ленина.

Зюганов Геннадий Андреевич (родился в 1944) — доктор философских наук, председатель ЦК КПРФ с 1995 года, лидер фракции коммунистов в Государственной думе РФ.

Илиеску Ион (родился в 1930) — Президент Румынии (1990—1996).

Иваненко Сергей Викторович (родился в 1959) — кандидат экономических наук, заместитель руководителя фракции «Яблоко» в Государственной думе РФ.

Каменев (настоящая фамилия Розенфельд) Лев Борисович (1883—1936) — политический и государственный деятель Советской Республики, ближайший помощник Ленина.

Кеннеди Джон Фицджеральд (1917—1963) — 35-й Президент США (1961—1963), был убит в Далласе.

Кинг Ларри — актер, популярный американский телеведущий CNN.

Кириченко Николай Карлович (родился в 1923) — коммунист, советский партийный и государственный деятель.

Клемансо Жорж Бенжамин (1841—1929) — Премьер-министр Франции (1906-1909, 1917-1920).

Клинтон Билл (Уильям Джефферсон Клинтон) (родился в 1946) - 42-й Президент США (1993-2000).

Колесников Борис Павлович (1909—1980) — советский геоботаник и лесовед.

Коль Гельмут (родился в 1930 г.) — Федеральный канцлер Германии (1982—1998).

Коржаков Александр Васильевич (родился в 1950) — генерал-лейтенант запаса, начальник Службы безопасности Президента РФ (1991-1996).

Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) — русский писатель, общественный деятель, автор писем к Луначарскому (1922), отражающих критику революционного террора в России после 1917 года.

Коштуница Воислав (родился в 1944) — Президент Югославии с 2000 года.

Крупская Надежда Константиновна (1869—1939) — жена и соратник Ленина.

Левада Юрий Александрович (родился в 1930) — доктор философских наук, профессор, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 1997 года.

Ленин (настоящая фамилия Ульянов) Владимир Ильич (1870—1924) — создатель и руководитель Советского Социалистического государства (1917—1922).

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — русский поэт.

Ли Чао Хао (Li Choh Nao) — известный американский ученый.

Ллойд Джордж Дэвид (1863—1945) — Премьер-министр Великобритании (1916—1922).

Ломброзо Чезаре (1835—1909) — итальянский судебный психиатр и антрополог.

Лорх Александр Георгиевич (1889—1980) — российский селекционер.

Лужков Юрий Михайлович (родился в 1936) — с 1991 года Председатель правительства г. Москвы, с 1996 г. — мэр города Москвы.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933) — народный комиссар просвещения СССР (1917—1929).

Лысенко Трофим Денисович (1898—1976) — советский биолог и агроном.

Люксембург Роза (1871—1919) — деятель международного рабочего движения, один из основателей Коммунистической партии Германии.

Маленков Георгий Максимович (1902—1988) — член Президиума Политбюро ЦК ВКП (б), КПСС (1946-1957).

Манн Томас (1875—1955) — немецкий писатель.

Маркс Карл (1818—1883) — основоположник научного коммунизма.

Микоян Анастас Иванович (1895—1978) — советский государственный и политический деятель.

Милошевич Слободан (родился в 1941) — Президент Сербии (1986—1997), президент Союзной республики Югославии (1997—2000).

Молотов (настоящая фамилия Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890—1986) — советский политический деятель.

Надсон Семен Яковлевич (1887—1962) — русский поэт.

Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — первый консул Французской Республики (1799—1804), император Франции (1804—1814, март—июнь 1815).

Неизвестный Эрнст Иосифович (родился в 1925) — русский скульптор и график.

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1878) — русский поэт, критик, издатель.

Немцов Борис Ефимович (родился в 1959) — кандидат физико-математических наук, первый вице-премьер Правительства РФ (1997—1998), руководитель фракции «Союз правых сил» в Государственной думе РФ.

Николай II (1868—1918) — последний российский император (1894-1917).

Ньютон Исаак (1643—1727) — английский физик, механик астроном и математик.

Орландо Витторио Эмануэле (1860—1952) — Премьер-министр Италии (1917-1919).

Оруэлл Джордж (Эрик Блэр) (1903—1950) — английский писатель.

Павлов Валентин Сергеевич (родился в 1937) — министр финансов СССР (1989—1991), премьер-министр СССР (1991), в августе 1991 года вошел в состав Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП).

Павловский Глеб Олегович (родился в 1951) — с 1993 года главный редактор журнала «Век XX и мир», создатель русско-европейского журналистского обозрения «Среда» (1995).

Пастернак Борис Леонидович (1890—1960) — русский писатель.

Петр I Великий (1672—1725) — с 1682 года русский царь, а с 1721 года император Государства Российского.

Пиночет Угарте Аугусто (родился в 1915) — генерал, Президент Чили (1974-1989).

Полозков Иван Кузьмич (родился в 1935) — первый секретарь ЦК Компартии РСФСР (1990-1991).

Примаков Евгений Максимович (родился в 1929) — доктор экономических наук, профессор, академик РАН, Председатель Правительства Российской Федерации (РФ) (1998), руководитель фракции «Отечество — Вся Россия» в Государственной думе РФ.

Прияшников Дмитрий Николаевич (1865—1948) — советский ученый, основатель научной школы агрохимии.

Пуго Борис Карлович (1937—1991) — генерал-полковник, первый секретарь ЦК Компартии Латвии (1984—1988), в 1991 году член Совета Безопасности СССР, в августе 1991 года входил в состав ГКЧП.

Путин Владимир Владимирович (родился в 1952) — Президент Российской Федерации (с 2000).

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — русский поэт.

Радзинский Эдвард Станиславович (родился в 1936) — русский драматург, историк.

Рейган Рональд Уилсон (родился в 1911) — 40-й Президент США.

Ромен Роллан (1866—1944) — французский писатель, искусствовед, общественный деятель.

Ромм Михаил Ильич (1901—1971) — русский кинорежиссер, народный артист СССР.

Руцкой Александр Владимирович (родился в 1947) — кандидат экономических наук, генерал-майор в отставке, вице-президент РФ (1991—1993), губернатор Курской области (1996—2000).

Саддам Хусейн (родился в 1937) — маршал, Президент Иракской Республики, генеральный секретарь Партии арабского социалистического возрождения (с 1979).

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (известен под псевдонимом Н. Щедрин) (1826—1889) — русский писатель.

Сахаров Андрей Дмитриевич (1921—1989) — ученый, физик, лауреат Нобелевской премии мира (1975).

Свердлов Яков Михайлович (1885—1919) — государственный и политический деятель Советской Республики.

Семичастный Владимир Ефимович (родился в 1924) — Председатель КГБ при Совете Министров СССР (1961—1967).

Сикорский Иван Алексеевич (1842—1919) — русский психиатр, психолог, педагог, автор работ «Всеобщая психология с физиологией в иллюстрированном изложении».

Скуратов Юрий Ильич (родился в 1952) — доктор юридических наук, профессор, Генеральный прокурор Российской Федерации (РФ), 1995-1999 годы.

Собчак Анатолий Александрович (1937—2000) — доктор юридических наук, профессор, мэр г. Санкт-Петербурга (1991—1996).

Солженицын Александр Исаевич (родился в 1918) — писатель, публицист, общественный деятель, действительный член РАН (1997), лауреат Нобелевской премии по литературе (1970).



Сталин (настоящая фамилия Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879—1953) — генеральный секретарь ЦК КПСС (1922—1953).

Степашин Сергей Вадимович (родился в 1952) — доктор юридических наук, премьер-министр России (с 19 мая по 9 августа 1999 года).

Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911) — русский государственный деятель.

Стрелянный Анатолий Иванович (родился в 1939) — русский писатель.

Твен Марк (настоящая фамилия Самюэл Ленгхорн Клеменс) (1835—1910) — знаменитый американский писатель, юморист.

Тито (Броз Тито) Иосип (1892—1980) — Президент Югославии (1953-1980).

Троцкий (настоящая фамилия Бронштейн) Лев Давидович (1879—1940) — революционер, политический и государственный деятель Советской Республики, друг и соратник Ленина.

Тэтчер Маргарет (родилась в 1925) — Премьер-министр Великобритании (1979—1990).

Ференци Шандор (1873—1933) — венгерский психоаналитик, близкий соратник З. Фрейда.

Фефер Ицик (Исаак Соломонович) (1900—1952) — советский поэт.

Фигнер Вера Николаевна (1852—1942) — русская революционерка, писательница.

Фрейд Анна (1895—1982) — младшая из шести детей З. Фрейда. Стала пионером детского психоанализа.

Фрейд Зигмунд (1856—1939) — венский психиатр, доктор медицины, основатель научного направления о бессознательных механизмах психики человека (психоанализ).

Фромм Эрих (1900—1980) — немецко-американский философ, гуманист, психоаналитик.

Фрунзе Михаил Васильевич (1885—1925) — герой Гражданской войны, советский государственный и партийный деятель.

Хазанов Геннадий Викторович (родился в 1945) — народный артист РФ, художественный руководитель Московского театра эстрады.

Хрущев Никита Сергеевич (1894—1971) — первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета министров СССР (1953—1964).

Цвейг Стефан (1881—1942) — австрийский писатель.

Чапаев Василий Иванович (1887—1919) — легендарный герой гражданской войны.

Черкасов Николай Константинович (1903—1966) — народный артист СССР.

Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (1874—1965) — Премьер-министр Великобритании (1940—1945, 1951—1955), лауреат Нобелевской премии по литературе (1953).

Чуковский Корней Иванович (1882—1969) — доктор филологических наук, русский писатель, переводчик.

Шатров (настоящая фамилия Маршак) Михаил Филиппович (родился в 1932) — драматург.

Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861) — украинский поэт, художник.

Шепилов Дмитрий Тимофеевич (1905—1995) — министр иностранных дел СССР (1956—1957).

Шредер Герхард (родился в 1944) — Федеральный канцлер Германии с 1998 года.

Шумейко Владимир Филиппович (родился в 1945) — доктор экономических наук, председатель Совета Федерации (1994—1996).

Щорс Николай Александрович (1895—1919) — легендарный герой Гражданской войны.

Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898—1948) — доктор искусствоведения, режиссер, художник.

Эйнштейн Альберт (1879—1955) — великий немецкий физик.

Эйхе Роберт Индрикович (1890—1940) — первый секретарь Западно-Сибирского крайкома ВКП (б) в 1929 году.

Энгельс Фридрих (1820—1895) — один из основоположников научного коммунизма, друг и соратник Карла Маркса.

Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967) — русский писатель.

Юденич Николай Николаевич (1862—1933) — глава контрреволюции в России во времена Гражданской войны 1918—1920 годов.

Юрьев Василий Яковлевич (1879—1962) — советский селекционер-растениевод.

Явлинский Григорий Алексеевич (родился в 1952) — кандидат экономических наук, руководитель фракции «Яблоко» в Государственной думе РФ.

Яковлев Егор Владимирович (родился в 1930) — член Союза писателей, Союза журналистов и Союза кинематографистов.

Янаев Геннадий Иванович (родился в 1937) — кандидат исторических наук, вице-президент СССР (1990—1991), в 1991 году член Совета Безопасности СССР, в августе 1991 года возглавил ГКЧП.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

И вожди, и призраки. <i>А. Бовин</i> . . . . .	5
--	---

В царстве снов и теней ( <i>Вместо предисловия</i> ). . . . .	8
---	---

### Глава 1 ВЛАСТЬ ОТ БОГА

Тайна харизмы. . . . .	28
Маленький Томми, 28-й президент США. . . . .	33
Человек-загадка. . . . .	51
Тот, кого никто не любит. . . . .	51
Фантом. . . . .	63
Чудо второго рождения. . . . .	72
Эпитафия. . . . .	77

### Глава 2 РУИНЫ ДУШЕВНОГО МИРА

Неизгладимый след . . . . .	81
Зачем нужны псевдонимы. . . . .	88
Сталин на посту. . . . .	95
Невидимая клетка. . . . .	100
Лицо и маска. . . . .	106
Культ мертвого бога. . . . .	115
«Вождь думает за нас». . . . .	121
Последний коммунист. . . . .	127
Скучные люди. . . . .	162
Закат. . . . .	162
Агония системы. . . . .	169

Двое на качелях. . . . .	176
Первый и последний. . . . .	176
Царь Борис. . . . .	193
Взгляд из будущего. . . . .	197
Этюды о власти. . . . .	206

### Глава 3 ВЛАСТЬ ОТ ЛЮДЕЙ

Кого выбрала Россия?. . . . .	218
Пришел, увидел, победил. . . . .	236
Железная стрела. . . . .	253
Указатель имен. . . . .	272

## CONTENTS

And Leaders, and Ghosts by A. G. Bovin . . . . .	5
In the realm of dreams and shadows ( <i>By way of introduction</i> ) . . . .	8

### *Chapter 1* **POWER BY GOD**

The mystery of charisma. . . . .	28
Little Tommy, the 28-th President of the USA. . . . .	33
Mystery-man. . . . .	51
The one who is loved by nobody. . . . .	51
Fantom. . . . .	63
Miracle of rebirth. . . . .	72
Epitaph. . . . .	77

### *Chapter 2* **RUINS OF INNER WORLD**

Lasting trace. . . . .	81
Nicknames. Why do we need them?. . . . .	88
Stalin is at his post. . . . .	95
The invisible cage. . . . .	100
Face and mask. . . . .	106
The cult of the dead idol.....	115
«The leader thinks for us». . . . .	121
The last communist. . . . .	127
Boring people. . . . .	162
Decline. . . . .	162
System's agony. . . . .	169

Two men in a swing . . . . .	.176
The first and the last . . . . .	.176
Tzar Boris. . . . .	.193
A look from the future. . . . .	.197
Sketches on power. . . . .	206

### *Chapter 3* POWER BY THE PEOPLE

Who has Russia chosen?. . . . .	218
Veni, vidi, vici . . . . .	236
The iron arrow. . . . .	253
 List of names. . . . .	 272

**АРОН ИСААКОВИЧ БЕЛКИН**

## **ВОЖДИ ИЛИ ПРИЗРАКИ**

Художественный редактор *Т. М. Долгова*

Технический редактор *Н. В. Сидорова*

Корректор *Е. П. Новикова*

Подписано в печать 28.05.01.

Формат 60 х 90 1/16. Гарнитура «Тайме».

Печ. л. 18,00. Заказ №416"

ООО «Издательство «Олимп».

Изд. лиц. ЛР № 065910 от 18.05.98.

123007, Москва, а/я 92

E-mail: [olimpus@dol.ru](mailto:olimpus@dol.ru)

ISBN 5-8195-0601-4



9 785819 506011



**Арон Белкин** — известный врач, ученый и популяризатор науки.

Основоположник Российской школы психиатрической эндокринологии (МНИИпсихиатрии МЗ РФ), Президент Русского Психоаналитического Общества, главный редактор журнала «Психоаналитический вестник». Последние годы занимается вопросами прикладного психоанализа. Этой теме посвящено большинство его книг — «Почему мы такие?», «Судьба и власть», «Эпоха Жириновского», «Запах денег», «Третий пол или судьбы пасынков Природы».

**Aron Belkin** — is a famous doctor, scientist and science popularizer.

He is the founder of a Russian school of Psychiatric endocrinology (Moscow Research Institute of Psychiatry under the RF Ministry of Public Health), the President of the Russian Psychoanalytical Society, editor-in-chief of «The Psychoanalytical Bulletin». Lately Professor Belkin has been engaged in practical psychoanalysis. Most of his books «Why are we as we are?», «Fate and Power» «The epoch of Girinovs'ky», «The smell of Money», «The third sex or life-stories of Nature stepchildren» are devoted to this problem.